

Повести и рассказы. Фёдор Сологуб

Рассказы из сборника «Тени»

Червяк

I

Ванда, смуглая и рослая девочка лет двенадцати, вернулась из гимназии румяная с мороза и веселая. Шумно бегала она по комнатам, задевая и толкая подруг. Они опасливо унимали ее, но и сами заражались ее веселостью и бегали за нею. Они, однако, робко останавливались, когда мимо них проходила Анна Григорьевна Рубонослова, учительница, у которой девочки жили на квартире. Анна Григорьевна сердито ворчала, хлопотливо перебегая из кухни в столовую и обратно. Она была недовольна и тем, что обед еще не готов, а Владимир Иванович, муж Анны Григорьевны, должен сейчас вернуться из должности, и тем, что Ванда шалила.

– Нет, – досадливо говорила Анна Григорьевна, – последний год держу вас. И в гимназии–то вы мне надоели до смерти, да и тут с вами возись. Нет, будет с меня, намаялась.

Зеленоватое лицо Анны Григорьевны принимало злое выражение, желтые клыки ее выставлялись из-под верхней губы, и она мимоходом больно щипала Ванду за руку. Ванда ненадолго стихала – девочки боялись Анны Григорьевны, – но скоро снова комнаты дома Рубонословых оглашались смехом и гулкой беготней.

У Рубонословых был собственный дом, деревянный, одноэтажный, который они недавно построили и которым очень гордились. Владимир Иваныч служил в губернском правлении, Анна Григорьевна – в женской гимназии. Детей у них не было, и потому, может быть, Анна Григорьевна часто имела злой и раздраженный вид. Она любила щипаться. Ей было кого щипать: Рубоносовы держали на квартире каждый год несколько гимназисток, из приезжих, и у них жила сестра Анны Григорьевны, Женя, девочка лет тринадцати, маленькая и худенькая, с костлявыми плечами и большими холодными губами бледно-малинового цвета, похожая на старшую сестру, как молодая лягушка бывает похожа на старую. Нынче, кроме Жени, у Рубонословых жили еще четыре девочки: Ванда Тамулевич, дочь лесничего в одном из далеких уездов Лубянской губернии, веселая девочка с большими глазами, втайне тосковавшая по родине и всегда к концу зимы (она жила у Рубонословых третий год) заметно хиревшая от этого, Катя Рамнева, самая старшая и смышленная из девочек, смешливая, черноглазая Саша Епифанова и ленивая русоволосая красавица Дуня Хвастуновская, обе лет по тринадцати.

У Ванды была причина веселиться: она сегодня получила «пятерку» по самому трудному для нее предмету. Ванде всегда трудно и скучно было готовить те уроки, которые надо было брать памятью. Случалось часто, что во время заучивания неинтересных вещей мысли ее разбегались и мечта уносила ее в таинственно-тихие, оснеженные леса, где, бывало, несли ее с отцом легкие санки, где наклонялись над нею толстые от снега ветви сумрачно-молчаливых елей, где бодрый морозный воздух вливался в грудь такими веселыми, такими острыми струями. Ванда мечтала, часы летели, урок оставался невыученным, – и утром наскоро прочитывала его Ванда и отвечала, если спрашивали, кой-как, на «тройку».

Но вчера был удачный вечер: Ванда ни разу не вспомнила далеких лесов своей родины. Сегодня она ответила урок батюшке слово в слово по книге: отец законоучитель придерживался старого способа, как его самого обучали лет сорок назад. Батюшка ее похвалил, назвал «молодец-девка» и поставил ей пять.

Вот почему теперь Ванда буйно носилась по комнатам, дразнила угрюмого пса Нерона, который, впрочем, со снисходительной важностью относился к ее шаловливым выходкам, хохотала и тормошила подруг. От быстрых движений у нее захватило дыхание, но радость поднимала ее и заставляла бесноваться. С разбегу Ванда налетела на суетливую служанку Маланью и выбила у нее из рук тарелку, но ловко подхватила ее на лету.

– О, чтоб тебя, оглашенная! – сердито окрикнула ее Маланья.

– Ванда, перестанешь ли шалить! – прикрикнула на нее и Анна Григорьевна, – разобьешь еще что-нибудь.

– Не разобью, – весело крикнула Ванда, – я ловкая.

Она завертелась на каблуках, махнула руками, зацепила любимую чашку Владимира Ивановича, которая стояла на краю обеденного стола, – и замерла от ужаса: послышался звон разбитого фарфора, беспощадно-ясный и веселый, по полу покатались разноцветные осколки разбитой чашки. Ванда стояла над черепками, прижимая руки к груди; ее черные бойкие глаза от испуга приняли безумное выражение, и смуглые полные щеки внезапно побледнели. Девочки притихли и столпились вокруг Ванды, пугливо разглядывая осколки.

– Вот и дошалилась! – наставительно сказала Женя.

– Задаст тебе Владимир Иваныч, – заметила Катя.

Саше Епифановой вдруг сделалось смешно; она фыркнула и закрыла рот рукою, как делала всегда, чтоб не очень рассмеяться. Анна Григорьевна, заслышавши звон, прибежала из кухни, восклицая:

– Что здесь такое?

Девочки молчали. Ванда затрепетала. Анна Григорьевна увидела черепки.

– Этого только не хватало! – воскликнула она, и злые глаза ее тускло засверкали.  
– Кто это сделал? Говорите сейчас! Это твои штуки, Ванда?

Ванда молчала. Женя ответила за нее:

– Это она здесь прыгала и вертелась у самого стола, махнула руками, задела за чашку, чашка и разбилась. А мы ее все унимали, чтоб она не шалила.

– А, вот что! Благодарю покорно! – зашипела Анна Григорьевна, зеленея и грозя Ванде желтыми клыками.

Ванда порывисто бросилась к Анне Григорьевне, обхватила ее дрожащими руками за плечи и упрашивала:

– Анна Григорьевна, голубушка, не говорите Владимиру Иванычу!

– Да, Владимир Иваныч не увидит! – злобно ответила Анна Григорьевна.

– Скажите, что вы сами разбили.

– Любимую чашку Владимира Иваныча я стану бить! Что, ты с ума сошла, Ванда? Нет, милая, я не стану тебя выгораживать, разделявайся сама. Сама и черепки Владимиру Иванычу покажешь.

Ванда заплакала. Девочки принялись собирать черепки.

– Да, да, покажешь сама, он тебя поблагодарит, голубушка, – язвительно говорила Анна Григорьевна.

– Не говорите, ради Бога, Анна Григорьевна, – опять принялась упрашивать Ванда, – накажите сами, а Владимиру Иванычу скажите, что это кошка разбила.

Саша, которая усердно собирала мелкие осколки, складывая их себе в горсть, опять фыркнула от смеха.

– Кот в сапогах! – крикнула она сдавленным от смеха голосом.

Катя шепотом унимала ее:

– Ну, чего смеешься? Ты бы разбила, так как взвыла бы, небось.

Анна Григорьевна отымала от Ванды свои руки и повторяла:

– И не проси лучше, непременно скажу. Что это в самом деле, постоянные шалости! Нет, матушка, надо тебя хорошенечко пробрать! Ну, что, собрали? – спросила она

Анна Григорьевна положила осколки на тарелку и отнесла их в гостиную, на стол, на самое видное место; Владимир Иванович, как придет, так сейчас же заметит. Довольная своей изобретательностью, Анна Григорьевна опять забегала взад и вперед от стола к печке и тихонько, злобно шипела на Ванду. Ванда уныло и безнадежно ходила за Анной Григорьевной и упрашивала убрать черепки.

– Пусть хоть после обеда Владимир Иванович увидит! – говорила она, горько плача.

– Нет, милая, пусть он сразу увидит, – злобно отвечала Анна Григорьевна.

В Ванде порывами подымалась злоба на жестокость Анны Григорьевны, и она отчаянно всплескивала руками и тихонько вскрикивала:

– Да простите же! Да прибейте лучше!

Остальные девочки сидели смирно и разговаривали шепотом.

## II

Владимир Иванович возвращался домой и сладко мечтал, как он пропустит водочки, заморит червячка, а потом плотно пообедает. Был ясный день. Солнце клонилось к закату. Изредка набегал ветер, частый гость в Лубянске, и отрывал от снежных сугробов толпы пушистых снежинок. Улицы были пустынные. Низенькие деревянные домишки торчали кое-где из-под снега, розовеющего на солнце, да бесконечно тянулись длинные, полурасшатанные заборы, из-за которых выглядывали жесткие, серебристо-заиндевелые стволы деревьев.

Рубонос пробирался по узким мосткам, молодецкато ступая кривыми ногами и весело поглядывая маленькими глазками, мерцавшими оловянным блеском на красном, веснушчатом лице. Вдруг он завидел своего врага, Анну Фоминичну Пикилеву, учительницу гимназии, сорокалетнюю девицу с очень злым языком. Владимиру Ивановичу стало досадно: неужели он должен уступить ей дорогу, рискуя свалиться в снег? А она шла себе прямо, скромно опустивши змеиные глазки и сжимая ненавистные губы каким-то особым способом, раздражавшим всегда Владимира Ивановича. Он сжал в правой руке толстую палку из кружков березовой коры, плотно насаженных на железный прут, и решительно пошел на врага. И вот они сошлись грудь с грудью, и менялись пламенными взорами. Владимир Иванович первый нарушил молчание.

– Холера! – торжественно воскликнул он.

Только теперь он заметил, что за спиной Анны Фоминичны копошилась девчонка Машка, ее служанка, которая несла барышнины книжки. Владимиру Ивановичу стало жаль, что нельзя покрепче изругаться, – есть свидетельница.

Анна Фоминична прошептала шипящим голоском:

– Совершенно невежественный кавалер!

Владимир Иванович растопырил ноги и, подпираясь палкой, говорил, посмеиваясь и показывая гнилые зубы:

– Ну, проходи, чего стала!

– Неужели вы не можете посторониться? – смиренно спросила Анна Фоминична.

– Что ж, мне для вас в снег лезть прикажете? Нет, брат, шалишь, мне свое здоровье дорого. Проходите, проходите, не засаривайте дороги.

И он легонечко протолкнул мимо себя Анну Фоминичну, но как-то так неосторожно, что она упала на снег и закричала визгливым голосом, вдруг потерявшим всю свою слащавую смиренность:

– Ах, ах, уронил! ах, ах, злодей!

Девчонка прыгнула за ней, – Владимир Иванович поощрял ее легким ударом под коленки, – и барахталась в снегу, помогая барышне подняться и вопя благим матом.

Повести и рассказы. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru  
Расчистив путь, Владимир Иванович отправился дальше. Лицо его пылало гордой радостью победы. Машка кричала ему вдогонку:

– Ах ты, мазурик, паршивый, окаянный! Вот мы тебя к мировому.

Дойдя до перекрестка, Владимир Иванович обернулся, погрозил палкой и крикнул:

– Поругайтесь, ясен колпак, так я вам и еще прибавлю.

В ответ на это Машка высунула язык, показала сразу четыре кукиша и звонко закричала:

– Сунься, сунься, очень мы тебя боимся!

Владимир Иванович подумал, решил, что не стоит связываться, плюнул, энергично выругался и отправился домой, радостно чувствуя, что аппетит его взыграл и удвоился!

### III

Напряженно ожидавшие девочки вздрогнули. Раздался резкий, повелительный звонок: это возвратился Владимир Иванович. Анна Григорьевна бросила злорадный взгляд на Ванду и кинулась отворять дверь. Женя повторила за сестрой и злорадный взгляд, и суетливый порыв в прихожую. Ванда, замирая от страха, бежала за Анной Григорьевной и тихонько упрашивала ее не говорить. Анна Григорьевна сердито оттолкнула ее.

Владимир Иванович, освобождаясь от шубы при помощи жены и услужливой жени, громогласно восклицал:

– Я ей, курицыной дочке! Будет помнить до новых веников, ясен колпак!

Ужас охватил Ванду: ей представилось, что Владимир Иванович узнал каким-то чудом о разбитой чашке. Но скоро из его отрывочных восклицаний Ванда поняла, что речь идет о другом. Смутная надежда шевельнулась в ней: может быть, удастся оттянуть до после обеда, когда Рубоносов будет, от нескольких рюмок водки, в добродушном, сонном настроении. Поспешно вернулась она в гостиную и стала перед столом, стараясь заслонить обломки чашки. Катя помогла ей, подвинув на столе лампу так, чтобы она сбоку закрывала тарелку.

Владимир Иванович вошел в гостиную, потрясая кулаком и повторяя на расспросы Анны Григорьевны:

– погоди, все расскажу по порядку, дай промочить горло.

Он остановился перед зеркалом и самодовольно оглядел себя, – он казался себе самому первым красавцем в городе. Потом он снял сюртук, бросил его Ванде и крикнул:

– Ванда, тащи в нашу спальню!

Ванда трепетно подхватила сюртук и уныло потащила его в спальню супругов, бережно держа его за петлю воротника и высоко подымая, словно бы он был стеклянный. Для большей осторожности она даже приподнялась на носки. Смешливая Саша закрыла рот рукой и выбежала из комнаты. Щеки Ванды покрылись яркой краской стыда и досады.

Рубоносов, оставшись в жилете, опять посмотрелся в зеркало и стал расчесывать свои гладкие, светлые волосы с пробором посредине. Отвернувшись от зеркала, он увидел на столе, на тарелке, черепки. Мигом признал он в них остатки той вместительной чашки, из которой привык пить чай, – и почувствовал себя жестоко оскорбленным.

– Кто разбил мою чашку? – закричал он свирепым голосом. – Ведь это же безобразие, – мою любимую чашку!

Он гневно зашагал по комнате.

– Известно, кому же больше, как не Ванде, – заговорила злым, шипящим голосом

Анна Григорьевна.

Женя, торопясь услужить, взволнованно повторила свой рассказ о том, как Ванда разбила чашку. Потом она растопырила руки и закружилась, представляя Ванду. Ее слегка поникшее зеленоватое лицо с тупым носом выражало озабоченность усердия, злые губы не улыбнулись и спина отвратительно горбатилась.

– Вечные шалости! – шипела Анна Григорьевна, – никакой нет управы с этой девчонкой. Уйми хоть ты ее, Владимир Иванович, – ведь иначе что же это у нас будет: всю посуду перебьют. Ведь они нам не золотые горы возят, – одни хлопоты да беспокойство с ними.

– Она и тарелки чуть не побила, – опять вмешалась Женя, – Маланья несла из кухни тарелки, а она на нее как налетит! Маланья едва только подхватила, а то так бы все тарелки вдребезги.

Рубоносос постепенно свирепел, багровел и гневно рычал. Ванда стояла за дверьми гостиной, плакала и тихонько молилась, торопливо крестясь. Сквозь щель двери видела она багровое лицо Владимира Ивановича, и оно было ей отвратительно и страшно. Рубоносос крикнул:

– Ванда, поди-ка сюда!

Ванда трепетно вошла в гостиную.

– Ты что это, курицына дочка, наделала? – закричал на нее Владимир Иванович.

Ванда увидела в его руке ременную плетть, которая служила Рубонососу для усмирения Нерона.

– Поди-ка, поди-ка сюда! – говорил Владимир Иванович, брызгая слюною, – вот я тебя приласкаю плеточкой.

Он свирепо замахал плетью и пронзительно засвистел. Испуганная Ванда попятилась назад, к дверям, – он ухватил ее за плечо и потащил, нервно подергивая, на середину комнаты. С громким плачем Ванда упала на колени. Рубоносос взмахнул плетью. Заслыша свист плети в воздухе, Ванда отчаянно взвизгнула, увернулась от удара судорожно быстрым движением, вскочила на ноги и бросилась в переднюю, где забилась за шкаф, в тесный, пыльный угол. По всему дому разносились оттуда ее истерические вскрикивания. Владимир Иванович ринулся было вытаскивать Ванду, но Анна Григорьевна, испуганная дикими глазами и неистовыми криками девочки, остановила мужа:

– Ну, довольно, Владимир Иванович, брось ее, – сказала она, – еще наплачешься с нею. Смотри, какие у нее глаза, – начнет кусаться, пожалуй. Уж видно, как волка ни корми, а он все в лес смотрит.

Рубоносос остановился перед шкафом, за которым дрожала и билась Ванда.

– Прятаться от меня, ясен колпак! – заговорил он медленно, со свирепыми ударами на словах, весь багровый от негодования – Ну ладно, подожди, я тебя иначе доеду.

Ванда притихла и прислушивалась.

– От меня не спрячешься, курицына дочка! – продолжал Владимир Иванович, видимо, подыскивая угрозу пострашнее – Я знаю, что с тобой сделать. Вот погоди, уже ночью, как только ты заснешь, заползет тебе червяк в глотку. Слышишь, курицына дочка, червяк!

Владимир Иванович сделал на слове червяк грозное, рывкающее ударение и сердито бросил плетку на пол. Из-за шкафа глядели на него, не отрываясь, черные широкие глаза и неподвижно смуглело побледневшее лицо.

– Будешь ты у меня знать! – говорил Рубоносос. – Вползет червяк прямо в глотку, ясен колпак! Так по языку и поползет. Он тебе все чрево расколупает. Он тебя засосет, миляга!

Ванда чутко, внимательно слушала: ее испуганные глаза неподвижно мерцали среди теней, окутывающих ее в пыльном, темном углу за шкафом. А Владимир Иванович повторял свои странные, злобные угрозы, и Ванде из ее душного угла он казался похожим на чародея, напускающего на нее таинственные наваждения, неотразимые и ужасные.

#### IV

Выдумка о червяке понравилась Рубоносову, он повторял ее несколько раз и за обедом, и после обеда вечером. Понравилась эта шутка и Анне Григорьевне, и девочкам, – все смеялись над Вандой. Ванда молчала и испуганно посматривала на Владимира Ивановича. Иногда она думала, что он шутит и что какой же может быть червяк? Иногда ей становилось страшно.

Весь вечер ей было не по себе. Она чувствовала себя и виноватой, и обиженной. Ей хотелось бы остаться одной, забиться куда-нибудь в угол и поплакать, – но нельзя было этого сделать: вокруг нее тихо жужжали ее подруги, и она сама должна была сидеть с ними, за постылыми книгами и скучными тетрадками; в соседней комнате разговаривали Рубоносовы. Ванда с нетерпением ожидала ночи, когда можно будет хоть одеялом покрыться от этих докучливых, ненужных людей.

Ванда сидела и притворялась, что занимается уроками. Закрывшись руками от подруг, она старалась представить себе отцов дом и глухие леса. Она смыкала глаза и видела далекую родину.

Весело трещит огонь в печке. Ванда сидит на полу и протягивает к огню застылые, красные руки, – она только что прибежала домой. А в окно глядит зимний день, морозный, светлый. Низкое солнце румянит искристые кристаллы оконных узоров. Тепло, уютно, кругом свои, – добродушный смех, шутки.

Но входил Рубоносов и спрашивал:

– Что, Ванда, задумалась? По червяке соскучилась, ясен колпак? Небось, вползет ночью в самое чрево.

Девочки смеялись, Ванда растерянно озиралась широкими черными глазами.

«Червяк!» – тихонько, одними губами, повторяла она и вдумывалась в это слово. Самый звук его казался ей странным и каким-то грубым. Почему червяк? Она расчленяла слово на слоги и звуки; гнусное шипение вначале, потом рокот угрозы, потом скользкое, противное окончание. Ванда брезгливо повела плечами, и холодок пробежал по ее спине. Бессмысленный и некрасивый слог «вяк» повторялся настойчиво в ее памяти, – он был ей противен, но она не могла от него отделаться.

#### V

Было поздно. Девочки разделись и улеглись в своей спальне, где их пять кроватей неуютно стояли в один ряд. Кровать Ванды была вторая с краю. По левую сторону у стены спала Дуня Хвастуновская, с правой стороны Саша, потом Катя, а у двери в спальню Рубоносовых Женя.

Тоскующими злобными глазами Ванда осматривала спальню. Хмурые тени в углах неприятливо смотрели на нее и, казалось ей, стерегли ее.

Стены покрыты некрасивыми темными обоями; на них грубо наляпаны лиловые цветы, с краской, наложенной мимо тех мест, где ей следовало быть. Обои наклеены кой-как, и узоры не сходятся. Наклеенный бумагой потолок низок и сумрачен. Ванде кажется, что он опускается, сжимает собою воздух и теснит ей грудь. Железные кровати тоже, кажется Ванде, пахнут чем-то неприятным и печальным, острогом или больницей.

Против кроватей, прямо перед глазами Ванды, стоят шкафы для одежды девочек, щелистые, сколоченные из гнилого дерева, с неплотно прилаженными дверцами. Когда мимо шкафов проходят, то их дверцы вздрагивают и слегка поскрипывают. Ванде досадно, что у шкафов такой жалкий и недоумевающий вид испуганных, дряхлых старичков.

Владимир Иванович вошел в спальню девочек и зычно крикнул:

– Ванда, слышь, червяк-то вползет тебе нынче ночью в глотку.

Девочки захихикали и смотрели на Ванду и на Владимира Иваныча. Ванда молчала. Из-под одеяла сверкали на Владимира Иваныча ее большие черные глаза.

Рубоносос ушел. Девочки принялись дразнить Ванду. Они знали, что Ванду легко раздражить до слез, и потому любили дразнить ее. И у Ванды задраженное недоверчивое сердце, открытое только мечтам о далекой родине.

Ванда тоскливо молчала, грустными глазами тупо рассматривая сумрачный потолок. Девочки болтали и пересмеивались. Это надоело Владимиру Иванычу, – он собирался спать. Он крикнул из своей спальни:

– Цыц, ясен колпак! Что вы там раскудахтались, комики! Вот я вас плеткой!

Девочки затихли.

«Только и умеет что о плетке!» – досадливо подумала Ванда. Ей припомнились ласковые, добрые домашние, а Владимир Иваныч в сравнении с ними показался неотесанным, грубым. Но вдруг ей стало совестно осуждать его, – ведь все же она пред ним провинилась.

Скоро послышалось с соседней постели легкое сонное сопение быстро засыпающей Дуни. Это было сегодня противно Ванде. В теплом спертom воздухе ей дышалось трудно и грустно. Ей казалось, что здесь тесно и мало воздуха. Тоска и странная досада на что-то теснили ее грудь.

Она закрыла голову одеялом. Сердитые мысли пробежали в ее голове, – и потухли, сменившись счастливыми, далекими грезами.

Ванда начала засыпать. Вдруг почувствовала она на губах что-то неприятное, как бы ползущее. Она вздрогнула от страха. Сон словно соскочил с нее.

Ее глаза широко и тоскливо раскрылись. Сердце замерло, – и застучало от боли быстро и сильно. Ванда торопливо поднесла руку ко рту и вытащила изо рта нечаянно попавший туда край простыни, слегка смоченный ее слюной. Он-то и произвел ощущение, так напугавшее ее.

Ванда почувствовала радость, как после избегнутой опасности. Она заметила теперь, что сердце ее сильно бьется. Она приложила руку к груди и, ощущая горячими пальцами быстрые толчки, улыбалась своему миновавшему испугу.

А в сумраке ночи вокруг нее смутно и неопределенно шевелилось что-то угрожающее, неизвестное. Радость ее была напряженная и улыбка бледная, а сердце уже опять замирало тихонько от того же темного, тайного предчувствия.

Ванде было тоскливо и томно. Она беспокойно ворочалась с боку на бок. Ей было душно. Одеяло мешало дышать. В ногах были неприятные ощущения: томная усталость наливалась их болезненной тяжестью, подъемам ног было больно от стягивавшей их днем тесной обуви. Во всем теле ощущалась неловкость. Ей хотелось спать, она не могла уснуть, и глаза ее казались ей тяжелыми, сухими.

Ветер завыл в трубе жалобно и тонко. Кто-то из девочек в просонках пробормотал что-то. Томительная тоска бессонницы душными объятиями обхватила Ванду. Болезненно-неловко было ей лежать на тех грубых складках простыни и рубашки, которые она сама сбивала, мечась и ворочаясь.

Ванда пыталась помечтать, вызвать в себе сладкие и кроткие настроения, – но и это не удавалось ей. Девочки крепко спали, и Ванде казались они иногда неживыми и страшными.

Так пролежала она целый долгий час и наконец заснула.

VI

Ванда внезапно проснулась, точно ее толкнули. Была еще глубокая ночь, все спали. Ванда порывисто поднялась и села на постели, чем-то испуганная, каким-то смутным сном, какими-то неопределенными ощущениями. Напряженно всматривалась она в мрак

спальни, думая отрывочными, неясными мыслями о чем-то, непонятном ей. Тоска сжимала ее сердце. Во рту была неприятная сухость, заставившая Ванду порывисто зевнуть. Тогда почувствовала она, как будто что-то постороннее ползет по ее языку, около самого его корня, что-то тягучее и противное, – ползет в глубине рта и щекочет зев. Ванда бессознательно сделала несколько глотательных движений. Ощущение ползучего на языке прекратилось.

Вдруг Ванда вспомнила о червяке. Она подумала, что это, конечно, вполз к ней в рот тот самый червяк и она проглотила его живьем. Ужас и отвращение охватили ее. В сумрачной тишине комнаты пронеслись отчаянные, пронзительные вопли Ванды.

Испуганные девочки повскакивали с постелей, не понимая, лепеча что-то и всхлипывая, и беспорядочно металась впотьмах, сталкиваясь одна с другой. Ванда затихла. Анна Григорьевна, узнав голос Ванды, прибежала из своей спальни неодетая, на бегу зажигая свечку. Слышно было за дверью, как тяжело ворочался на скрипевшей под ним кровати Владимир Иваныч, как он сердито мычал и как он потом начал отыскивать свою одежду.

Анна Григорьевна подошла к Ванде.

– Ванда, что ты? – спросила она. – С чего ты орешь! Чего испугалась, шальная?

При свете свечи девочки тоже сообразили, что это кричала Ванда, и столпились около ее кровати, пожимаясь спросонок от холода и протирая руками заспанные глаза. Ванда сидела на постели, согнувшись, поджимая ноги. Она дрожала всем телом и боязливо смотрела на Анну Григорьевну. Ее широко открытые глаза горели и выражали безотчетный ужас. Анна Григорьевна тронула ее за плечо:

– Да что с тобой, Ванда, говори же!

Ванда вдруг заплакала, громко, с детскими отчаянными вскрикиваниями, и залепетала:

– Червяк, червяк!

Зубы ее как-то странно и звучно звякнули. Анна Григорьевна не вспомнила сразу, о каком червяке говорится.

– Какой червяк? – досадливо спрашивала она, обращаясь то к Ванде, то к другим девочкам.

Ванда еще сильнее заплакала, вскрикивая:

– Ой, батюшки, помогите: червяк заполз!

Она беспомощно открыла рот и сунула туда пальцы, бессознательно прикусила их, вытащила изо рта и опять зарыдала. Катя объяснила:

– Это ей, должно быть, приснилось, что в рот червяк заполз, о котором Владимир Иванович говорил.

Пришел и Владимир Иваныч и крикнул еще с порога:

– Ну, что у вас тут? Комики, спать не дают.

– Да вот, – отвечала ему Анна Григорьевна, – ты натолковал Ванде про червяка, она и поверила.

– Дура, – сказал Рубонос, – ведь я шутил, никакого червяка нет.

Девочки засмеялись, теснее придвинулись к Ванде и стали ее ласкать и успокаивать:

– Это тебе только померещилось, Ванда, откуда может быть червяк?

– Вот дура-то! Пошутить с тобой нельзя! – воскликнул Рубонос и ушел в свою спальню.



Дуня принесла Ванде воды в ковшике и убеждала Ванду выпить. Анна Григорьевна присела к Ванде на кровать и уговаривала ее. Мало-помалу Ванда успокоилась и быстро заснула.

#### VII

Ванда видела во сне родной дом, отца, мать, маленьких братьев, милый лес и верного Полкана.

Одноэтажный домик на краю маленького города, полузанесенный снегом. Весело вьется синий дымок над его крутой кровлей. Невдалеке белый лес со своей манящей грустью. Тихие небеса озарены ранним розовым закатом.

Потом пригрезилось лето. Извилистая река медленно струится. Желтые кувшинки недалеко от берега. Над рекой крутые глинистые обрывы. В тонком воздухе звенят и реют быстрые птицы.

Мать, ласковая, веселая. Ее светло-синие глаза, ее звенящий голос, напевающий тихую, мирную песенку.

Отец, такой суровый с виду. Но Ванду не пугают его длинные, жесткие усы, начинающие сесть, и его густые, нахмуренные брови. Ванда любит слушать его рассказы об его родине, далекой и несбыточной. Ванда родилась и выросла среди этих снегов, на родине своей матери, и отцовы рассказы она понимает по-своему, сказочно и роскошно.

Движение в спальне, голоса и смех девочек разбудили Ванду. Она открыла глаза. Чуждо и непонятно было ей все то, что она увидела. Так резок был переход от милых видений к этим пыльным стенам, к этим грубым обоям с нелепыми цветами, что она с полминуты пролежала, не понимая, где она и что с нею, полусознательно хватаясь за убегающие обрывки прерванного сна.

А потом знакомой тоской глянули на нее стены комнаты, знакомой тоской защемило ее сердце. Она грустно вспомнила, что опять целый день придется ей быть среди чужих, которые будут дразнить ее и червяком, и ее странным именем, и еще чем-нибудь обидным. Предчувствие обиды больно зашевелилось в ее сердце.

#### VIII

Рубоносовы и девочки пили чай. Ванда была еще бледна от ночного испуга. У нее болела голова, ей было томно и тоскливо, и она нехотя пила и ела. Во рту у нее был дурной вкус, и чай казался ей не то затхлым, не то кислым.

Владимир Иваныч пил с блюдечка и громко чмокал губами. Ванде казалось противным это чмоканье, а он торопился выпить побольше: скоро надо было идти на службу.

Анна Григорьевна заметила, что Ванда печальна, и спросила:

– Что с тобой, Ванда? не болит ли у тебя голова?

– Нет, ничего, Анна Григорьевна, я здорова, – отвечала Ванда, встрепенувшись и стараясь улыбнуться.

– Это она с перепугу такая бледная, – объяснила Катя.

Саша, вспомнив ночной переполох, громко засмеялась, заражая веселостью других девочек.

– Ты, Ванда, может быть, и в самом деле больна, – не остаться ли тебе дома? – спросила Анна Григорьевна.

Но Ванда слышала по ее голосу, что она рассердится, если останется, и примет это за притворство. И Ванда поспешила сказать:

– Да нет, Анна Григорьевна, что вы, я же, право, совсем здорова.

– Что, верно, и вправду червяк вполз? – спросил Владимир Иваныч и зычно захохотал.

Все засмеялись, улыбалась и Ванда. При дневном свете она перестала бояться

Повести и рассказы. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru  
червяка. Но Рубоносову стало досадно, что Ванда улыбается: негодная шалунья смеет скалить зубы в то время, когда он пьет чай не из любимой чашки! Он решил еще погугать Ванду, чтоб она вперед помнила.

– А ты чего зубы скалишь, Ванда? – сказал он, свирепо хмуря брови, – ты и впрямь думаешь, что я шучу? Вот дура-то! Червяк только пока притих, – отогревается, а вот дай сроку, начнет сосать, взвоешь истощным голосом.

Ванда побледнела и вдруг явственно почувствовала в верхней части желудка легкое щекотание. Она испуганно схватилась за сердце. Анна Григорьевна встревожилась: захворает девчонка, – возись с ней, – родители живут за триста верст. Она стала унимать мужа:

– Да полно тебе, Владимир Иванович, ну что пугаешь девчонку; опять ночью заблажит. Не каждую мне ночь с ней возжаться. И за день намаешься с ними.

IX

Когда Ванда шла с подругами в гимназию, червяк продолжал щекотать все в том же месте. Ей было неловко и страшно.

Ветер, который веял ей навстречу, казался ей беспощадным. Угрюмые заборы и унылые люди наводили на нее тоску, – и не могла она никак забыть, что в ней сидит червяк, маленький, тоненький, еле заметный, и щекочет, словно пробираясь куда-то, щекочет урывками: то притихнет, то начнет снова, как и этот беспощадный ветер, порывами вздымающий нелепо кружащиеся снежные вихри. Этот гул ветра на пустынных улицах томительно напоминал Ванде дремотную тишину далекого леса, где теперь под суровыми соснами звучно раздается мужественный голос ее отца. Но там, в лесу, – простор и божья воля, а здесь, в скучном чужом городе, – стены и людское бессилье.

Ей вспомнилось, как любо ей было прятаться в отцову шубу, – а санки бегут, а ветер разгульно взвизгивает и взвивает снежные тучи, и солнце сквозит в них, и многоцветными брызгами дробятся его лучи; слышен бодрый храп коней и протяжный гул полозьев, скользящих по снегу. Из ворот чьего-то дома на улицу тянулась узкая дорожка ельника. Пугливо сжалось сердце Ванды.

«И зачем я вчера разбила эту чашку! – горько подумала она. – И зачем я прыгала? Чему обрадовалась?»

X

Сидя в классе, Ванда прислушивалась к тому, что делает ее червяк. Ей казалось по временам, что он подымается выше, к сердцу. Она старалась успокоить себя, думая, что это пройдет. Но от голых стен класса веяло на нее такой неумолимой строгостью, что ей делалось страшно.

Ее подруги рассказывали по всем классам про червяка, и Ванду немилосердно дразнили. На переменах девочки подходили к ней и спрашивали:

– Правда, что вы червяка проглотили?

Ванда слышала за собой смех и тихие восклицания:

– Ванна червяка проглотила. (В гимназии Ванду дразнили «ванной», искажая так ее имя.)

Потом Ванду стали дразнить «под рифму».

– Ванна чашку разбила, червяка проглотила.

Ванда яростно бледнела и бранилась с подругами. Вдруг, в разгаре жаркой ссоры с надоедливой, смешливой барышней, Ванда почувствовала легкое сосание под самым сердцем. Испуганная, она замолчала, уселась на свое место и, не обращая ни на что внимания, стала прислушиваться к тому, что в ней делалось.

Под сердцем тихонько, надоедливо сосало. То затихнет, то опять засосет.

Это томительное сосание продолжалось и дома, за обедом, и вечером. Когда утомленные червяком мысли Ванды переходили на другие предметы, червяк затихал.

Но она сейчас же опять вспоминала о нем и начинала прислушиваться. Мало-помалу снова начиналось надоедливое сосание.

Ванде казалось иногда, что если бы забыть о червяке, то он затих бы. Но ей не удавалось забыть его: напоминали.

Все тоскливее и страшнее становилось Ванде, но ей стыдно было сказать, что червяк уже сосет ее. В ней робко гнездилась бледная надежда, что это пройдет само собой.

#### XI

Девочки сидели за уроками. Желтый свет лампы раздражал Ванду. Она прислушивалась к томительной работе червяка, который сосал все проворнее. Ванда оперлась локтями на стол, сжала голову ладонями и тупо смотрела на раскрытую книгу. Незыблемая тоска томила ее. Ей трудно дышалось в этом враждебном, замкнутом воздухе. Ванда подумала, стараясь утешить себя:

«Никакого червяка нет, это все только от тоски. Только бы развеселиться».

Она пробовала помечтать о доме. Вот будет весна, ее возьмут домой.

Прохладный и мшистый лес дремотен. Он полон свежими ароматами сосен. Вода в ручье серебристо звенит, переливаясь по камням. Темнеет в зелени покрытая толстым налетом крупная голубика.

Но мечты складывались трудно, и Ванда скоро устала заставлять себя мечтать.

Из столовой доносились голоса. Анна Григорьевна торопила Маланью: Владимир Иваныч встал от послеобеденного сна и сердился, что еще нет самовара.

Ванда порывисто отодвинула стул и пошла в столовую. Смуглое лицо ее было так бледно, что полные щеки казались опавшими за эти сутки. Глядя перед собой остановившимися глазами, она подошла к Анне Григорьевне и тихо сказала:

- Анна Григорьевна, у меня сосет под ложечкой.
- Что такое еще? – нетерпеливо спросила недослышавшая Анна Григорьевна.
- Под ложечкой... сосет... червяк, – упавшим голосом говорила Ванда.
- А ну тебя, дура! – сердито крикнула Анна Григорьевна, – возись тут с тобой, – только мне и дела!
- Ого! червяк! – торжествуя, закричал Владимир Иваныч.

Он залился грохочущим хохотом, неистово восклицая:

- Сосет, ясен колпак! Доехал-таки я тебя! Володька Рубоносов не дурак!

Привлеченные хохотом, девочки прибежали в столовую. Хохот разгульно разливался вокруг Ванды. У нее закружилась голова. Она присела на стул и покорно и безнадежно глотала какое-то невкусное лекарство, которое наскоро смастерила ей Анна Григорьевна.

Она видела, что никто ее не жалеет и никто не хочет понять, что с ней делается.

#### XII

Ночью Ванда не может уснуть. Червяк угнездился под сердцем и сосет непрерывно и мучительно. Ванда приподнялась, опираясь локтем на подушку. Одеяло скатилось с ее плеч. В слабом свете предпраздничной лампы слабо белела рубашка Ванды, смугтели ее голые руки, и испуганно горели на бледном лице черные широкие глаза. Боль становилась, казалось Ванде, нестерпимой. Она тихонько заплакала. Но она не смела разбудить Анну Григорьевну. Смутная боязнь людской враждебности мешала ей звать на помощь. Она прильнула лицом к подушке, чтоб заглушить звуки своего плача. Но рыдания теснили ее грудь. В спальне раздавалось тихое, но отчаянное аханье плачущей девочки.

- Что мне делать? – тихонько и горестно восклицала Ванда. – И чему я радовалась,

дура какая! Что урок-то вызубрила? О, Боже мой! Неужели же погибать из-за разбитой чашки!

Ванда встала с постели. Девочки спали, – слышалось их мерное, глубокое дыхание. Ванда стала на колени перед своим образком, прикрепленным к изголовью кровати. Она молилась, складывая руки на груди и тихонько шепча дрожащими пересыхающими губами слова отчаяния и надежды. Увлечшись, она начала шептать погромче и всхлипывать. Саша заворочалась на постели и залепетала что-то. Ванда испуганно притихла, присела на коленях и тревожно ждала. Все опять было тихо, никто не проснулся.

Ванда молилась долго, но молитва не успокоила ее. Тишина и сумрак враждебно отвечали ее молитве. Ванде казалось, что кто-то тихий проходит близко, что-то движется и тайно веет, – но все это идет мимо нее с чарами и властью, и до нее никому нет дела. Одна, потерянная в чужом краю, никому она не нужна. Кроткий ангел пролетает над ней к счастливым и кротким, – и не приникнет к ней.

### XIII

Проходили томительные дни и страшные ночи. Ванда быстро худела. Ее черные глаза, оттененные теперь синими пятнами под ними, были сухи и тревожны. Червяк грыз ее сердце, и она порою глухо вскрикивала от мучительной боли. Было страшно, и трудно дышалось, так трудно, кололо в груди, когда Ванда вздыхала поглубже.

Но она уже не смела просить помощи. Ей казалось, что все здесь за червяка и против нее.

Ванда ясно представляла своего мучителя. Прежде он был тоненький, серенький, со слабыми челюстями; он едва двигался и не умел присасываться. Но вот он отогрелся, окреп, – теперь он красный, тучный, он беспрерывно жует и неумоимо движется, отыскивая еще неизранные места в сердце.

Наконец Ванда решила написать отцу, чтоб ее взяли. Надо было писать тайком.

Улучив минуту, Ванда подошла к столу Рубоносова, вытащила из-под мраморного пресса, в виде дамской ручки, конверт и спрятала его в карман. В это время услышала она легкие шаги. Она вздрогнула, как пойманная, и неловко отскочила от стола. Проходила Женя. Ванда не могла решить, видела ли Женя, что она взяла конверт. Сидя за уроками, она внимательно посматривала на Женю. Но Женя углубилась в свои книги.

«Конечно, она не видела, – сообразила Ванда, – а то сейчас бы наябедничала».

Ванда писала письмо, прикрывая его тетрадами. Приходилось беспрестанно отрываться, – проходила Анна Григорьевна, смотрели подруги. Вот что она писала.

«Милые папа и мама, возьмите меня, пожалуйста, домой. В меня вполз червяк, и мне очень худо. Я разбила, шаливши, чашку Владимира Ивановича, и он сказал, что вползет червяк, и в меня вполз червяк, и если вы меня не возьмете, то я умру, и вам будет меня жалко. Пришлите за мной поскорее, я дома поправлюсь, а здесь я не могу жить. Пожалуйста, возьмите меня хоть до осени, а я сама буду учиться и потом поступлю в четвертый класс, а если вы не возьмете, то червяк изложет мне сердце, и я скоро умру. А если вы меня возьмете, то я буду учить Лешу читать и арифметике. Извините, что я не наклеила марки, у меня нет денег, а у Анны Григорьевны я не смею спросить. Целую вас, милые папа и мама, и братцев и сестриц, и Полкана. Ваша Ванда.

А я не ленилась, и у меня хорошие отметки».

Между тем Женя отправилась к Анне Григорьевне и принялась шепотом рассказывать ей что-то. Анна Григорьевна слушала молча и сверкала злыми глазами. Женя вернулась и с невинным видом принялась за урок.

Ванда надписывала конверт. Вдруг ей стало неловко и жутко. Она подняла голову, – все подруги смотрели на нее с тупым, странным любопытством. По их лицам было видно, что есть еще кто-то в комнате. Ванде сделалось холодно и страшно. С томительной дрожью обернулась она, забывая даже прикрыть конверт.

За ее спиной стояла Анна Григорьевна и смотрела на ее тетради, из-под которых

виднелось письмо. Глаза ее злобно сверкали, и клыки страшно желтели во рту под губой, вздрагивавшей от ярости.

#### XIV

Ванда сидела у окна и печально глядела на улицу. Улица была мертва, дома стояли в саванах из снега. Там, где на снег падали лучи заката, он блестел пышно и жестоко, как серебряная парча нарядного гроба.

Ванда была больна, и ее не пускали в гимназию. Исхудалые щеки ее рдели пышным неподвижным румянцем. Беспокойство и страх томили ее, робкое бессилие сковывало ее волю. Она привыкла к мучительной работе червяка, и ей было все равно, молчит ли он, или грызет ее сердце. Но ей казалось, что кто-то стоит за ней, и она не смела оглянуться. Пугливыми глазами глядела она на улицу. Но улица была мертва в своем пышном глазете.

А в комнате, казалось ей, было душно и мглисто пахло ладаном.

#### XV

Был яркий солнечный день. Но больная Ванда лежала в постели. Ее перевели в другую комнату, где стояла только ее кровать. Пахло лекарствами. Страшно исхудалая, лежала Ванда, выпростав из-под одеяла бессильные руки. Она безучастно озидала новые, но уже постылые стены. Мучительный кашель надрывал быстро замиравшую детскую грудь. Неподвижные пятна чахоточного румянца ярко пылали на впалых щеках; их смуглый цвет принял восковой оттенок. Жестокая улыбка искажала ее рот, – он от страшной худобы лица перестал плотно закрываться. Хриплым голосом лепетала она бессвязные, нелепые слова.

Ванда уже не боялась этих чужих людей, – им было страшно слышать ее злые речи. Ванда знала, что погибает.

#### Тени

##### I

Худощавый, бледный мальчик лет двенадцати, Володя Ловлев только что вернулся из гимназии и ждал обеда. Он стоял в гостиной у рояля и рассматривал последний номер «Нивы», который принесли с почты сегодня утром. Из газеты, которая лежала тут же, прикрывая один лист «Нивы», выпала маленькая книжечка, напечатанная на тонкой серой бумаге, – объявление иллюстрированного журнала. В этой книжечке издатель перечислял будущих сотрудников, – полсотни известных литературных имен, – многословно хвалил журнал весь в целом и по отделам, весьма разнообразным, и давал образчики иллюстраций.

Володя начал рассеянно перелистывать серенькую книжку, рассматривая крохотные картинки. Его большие глаза на бледном лице глядели устало.

Одна страничка вдруг заинтересовала мальчика и заставила его широкие глаза раскрыться еще шире. Сверху вниз вдоль странички было напечатано шесть рисунков, изображавших сложенные разными способами руки, тени которых, отброшенные на белую стену, образовали темные силуэты: головку барышни в какой-то смешной рогатой шляпке, голову осла, быка, сидячую фигуру белки и еще что-то в этом же роде.

Володя, улыбаясь, углубился в рассматривание рисунков. Ему знакома была эта забава: он сам мог сложить пальцы одной руки так, чтобы на стене появилась заячья головка. Но здесь было кое-что, чего Володя еще не видывал; и, – самое главное, – здесь все были фигуры довольно сложные, для двух рук.

Володе захотелось воспроизвести эти тени. Но теперь, при рассеянном свете догоравшего осеннего дня, конечно, ничего хорошего не выйдет.

Надо взять книжку к себе, сообразил он, – ведь она же не нужна.

В это время услышал он в соседней комнате приближающиеся шаги и голос матери. Покраснев отчего-то, он быстро сунул книжку в карман и отошел от рояля, навстречу своей маме. Она подходила к нему, ласково улыбаясь, такая похожая на него, с такими же широкими глазами на бледном прекрасном лице.

Мама спросила, по обыкновению:

– Что у вас сегодня новенького?

– Да ничего нового, – хмуро сказал Володя.

Но ему сейчас же показалось, что он говорит с мамой грубо, и стало от этого стыдно. Он ласково улыбнулся и стал припоминать, что было в гимназии, – но при этом еще яснее почувствовал досаду.

– У нас Пружинин опять отличился, – начал он рассказывать об учителе, нелюбимом гимназистами за грубость. – Ему наш Леонтьев отвечал урок и напутал, а он и говорит ему: «Ну, довольно, говорит, садитесь, – вались дерево на дерево!»

– А вы все сейчас и заметите, – сказала мама, улыбаясь.

– Вообще, он ужасно грубый.

Володя помолчал немного, вздохнул и заговорил жалующимся голосом:

– И все-то они торопятся.

– Кто? – спросила мама.

– Да учителя. Каждый хочет поскорее курс пройти, да повторить хорошенько к экзаменам. Если о чем спросишь, так уж наверное подумают, что это гимназист зубы заговаривает, чтобы до звонка протянуть, чтоб не спросили.

– А вы после уроков разговаривайте.

– Ну да, – после уроков тоже торопятся, домой или в женскую гимназию на уроки. И все так скоро, – сейчас геометрия, а сейчас и греческий.

– Не зевай!

– Да, не зевай! Как белка в колесе. Право, это меня раздражает.

Мама легонько усмехнулась.

## II

После обеда Володя отправился в свою комнату готовить уроки. Мама заботится, чтобы Володе было удобно, – и здесь есть все, чему надлежит быть в такой комнате. Володе здесь никто не мешает, даже мама не приходит к нему в это время. Она придет попозже, помочь Володе, если это будет нужно.

Володя был мальчик прилежный и, как говорится, способный. Но сегодня ему трудно было заниматься. За какой бы урок он ни взялся, вспоминалось что-нибудь неприятное, – вспомнился учитель того предмета, его язвительная или грубая фраза, брошенная мимоходом и запавшая в глубину души впечатлительного мальчика. Случилось почему-то, что многие из последних уроков сошли неудачно: учителя являлись недовольные, и дело у них не клеилось. Дурное настроение их сообщалось Володе, и теперь веяло на него со страниц книг и тетрадей хмурое и смутное беспокойство.

От одного урока он торопливо переходил к другому, третьему, – и это мелькание маленьких дел, которые надо поскорее исполнить, чтобы не оказаться завтра «деревом на дереве» своей скамьи, бестолковое и ненужное мелькание раздражало его. Он начал даже зевать от скуки и досады и нетерпеливо болтать ногами, тревожно двигаясь на стуле.

Но Володя твердо знал, что все эти уроки надо непременно выучить, что это очень важно, что от этого зависит вся его судьба, – и он добросовестно делал скучное для него дело.

Володя сделал на тетрадке маленькое пятнышко и отложил перо. Вглядевшись внимательно, он решил, что можно стереть перочинным ножом. Володя был рад развлечению. На столе ножа не было. Володя сунул руку в карман и порылся там. Среди всякого сора и хлама, по мальчишеской привычке напиханного в карман, нащупал он ножик и потянул его, а с ним заодно и какую-то книжку.

Володя еще не знал, что это за бумага в его руке, но, уже вытаскивая ее, вдруг вспомнил, что эта книжка с тенями, – и внезапно обрадовался и оживился.

Так и есть, это – она, та самая книжка, о которой он уже и забыл, занявшись уроками.

Он проворно вскочил со стула, подвинул лампу поближе к стене, опасливо покосился на притворенную дверь, – не вошел бы кто-нибудь, – и, развернув книжку на знакомой странице, принялся внимательно разглядывать первый рисунок и складывать по этому рисунку пальцы. Тень выходила сначала нескладная, не такая, как надо, – Володя передвигал лампу и так и этак, сгибал и вытягивал пальцы, – и наконец получил на белых обоях своей комнаты женскую головку в рогатом уборе.

Володе стало весело. Он наклонял руки и слегка шевелил пальцами, – головка кланялась, улыбалась, делала смешные гримасы. Володя перешел ко второй фигуре, потом к следующим. Все они сначала не давались, но Володя кой-как справился с ними.

В таких занятиях провел он с полчаса и забыл об уроках, о гимназии, о всем в мире.

Вдруг за дверью послышались знакомые шаги. Володя вспыхнул, сунул книжку в карман, быстро подвинул лампу на место, причем едва не опрокинул ее, – и уселся, сгибаясь над тетрадкой. Вошла мама.

– Пойдем чай пить, Володенька, – сказала она.

Володя притворился, что смотрит на пятно и собирается открыть ножик. Мама нежно положила руки на его голову, – Володя бросил ножик и прижался к маме раскрасневшимся лицом. Очевидно, мама ничего не заметила, и Володя был рад этому. Но ему все-таки было стыдно, словно его поймали в глупой шалости.

### III

На круглом столе посреди столовой самовар тихо напевал свою воркующую песенку. Висячая лампа разливала по белой скатерти и темным обоям дремотное настроение.

Мама задумалась о чем-то, наклоняя над столом прекрасное бледное лицо. Володя положил руку на стол и помешивал ложкою в стакане. Сладкие струйки пробегали в чае, тонкие пузырьки подымались на его поверхность. Серебряная ложка тихонько бренчала.

Кипяток, плеща, падал из крана в мамину чашку.

От ложечки на блюде и на скатерть бежала легкая, растворившаяся в чае тень. Володя всматривался в нее: среди теней, бросаемых сладкими струйками и легкими пузырьками воздуха, она напоминала что-то, – что именно, Володя не мог решить. Он наклонял и вертел ложечку, перебирал по ней пальцами, – ничего не выходило.

«А все-таки, – упрямо подумал он, – не из одних же пальцев можно складывать тени. Из всего можно, только надо приноровиться».

И Володя стал всматриваться в тени самовара, стульев, маминой головы, в тени, отбрасываемые на столе посудой, – и во всех этих тенях старался уловить сходство с чем-нибудь. Мама говорила что-то, – Володя слушал невнимательно.

– Как теперь Леша Ситников учится? – спросила мама.

Володя в это время рассматривал тень молочника. Он встрепенулся и торопливо ответил:

– На кота.

– Володя, ты совсем спишь, – с удивлением сказала мама. – Какой кот?

Володя покраснел.

– Не знаю, с чего мне пришло, – сказал он. – Извини, мамочка, я не расслышал.

IV

На другой вечер перед чаем Володя опять вспомнил о тенях и опять занялся ими. Одна тень у него все плохо выходила, как он ни вытягивал и ни сгибал пальцы.

Володя так увлекся, что не заметил, как подошла мама. Заслышав скрип отворяющейся двери, он сунул книжку в карман и смущенно отвернулся от стены. Но мама уже смотрела на его руки, и боязливая тревога мелькнула в ее широких глазах.

– Что ты делаешь, Володя? Что ты спрятал?

– Нет, ничего, так, – бормотал Володя, краснея и неловко переминаясь.

Маме представилось почему-то, что Володя хотел курить и спрятал папиросу.

– Володя, покажи сейчас, что ты спрятал, – говорила она испуганным голосом.

– Право же, мама...

Мама взяла Володю за локоть.

– Что ж, мне самой к тебе в карман лезть?

Володя еще сильнее покраснел и вытащил из кармана книжку.

– Вот, – сказал он, протягивая ее маме.

– Что ж это?

– Ну вот, – объяснял Володя, – тут рисуночки есть, – вот видишь, тени. Ну, я и показывал их на стене, да у меня плохо выходило.

– Ну, что ж тут прятать! – сказала мама, успокоившись. – Какие ж это тени, покажи мне.

Володя застыдился, но послушно стал показывать маме тени.

– Вот это – голова лысого господина. А это – заячья голова.

– Ах ты! – сказала мама. – Вот ты как уроки готовишь!

– Я, мама, немножко.

– То-то, немножко! Чего ж ты краснеешь, милый мой? Ну полно, ведь я знаю, ты все сделаешь, что надо.

Мама взъерошила Володины коротенькие волосы. Володя засмеялся и спрятал пылающее лицо под мамиными локтями.

Мама ушла, а Володя все еще чувствовал неловкость и стыд. Мама застала его за таким занятием, над которым он сам посмеялся бы, если бы застал за ним товарища. Володя знал, что он – мальчик умный, и считал себя серьезным, а ведь это все-таки – забава, годная разве только для девочек, когда они соберутся.

Он сунул книжку с тенями подальше в ящик своего стола и не вынимал ее оттуда больше недели, да и о тенях всю эту неделю мало вспоминал. Разве только иногда вечером, переходя от предмета к другому, улыбнется он, вспомнив рогатую головку барышни, – иногда даже сунется в ящик за книжкой, да вспомнит сейчас же, как мама застала его, застыдится и скорее за дело.

V

Володя и его мама, Евгения Степановна, жили на окраине губернского города, в собственном мамином доме. Евгения Степановна вдовела уже девять лет. Теперь ей было тридцать пять лет, она была еще молода и прекрасна, и Володя любил ее нежно. Она вся жила для сына, училась для него древним языкам и болела всеми его школьными тревогами. Тихая, ласковая, она несколько боязливо смотрела на мир широкими глазами, кротко мерцавшими на бледном лице.



Они жили с одной прислугой. Прасковья, угрюмая вдова, мещанка, была баба сильная, крепкая; ей было лет сорок пять, но по строгой молчаливости своей она была похожа на столетнюю старуху. Когда Володя смотрел на ее мрачное, словно каменное лицо, ему часто хотелось узнать, что думает она длинными зимними вечерами на своей кухне, когда холодные спицы, позванивая, мерно шевелятся в ее костлявых руках и сухие губы ведут беззвучный счет. Вспоминает ли она пьяницу мужа? Или рано умерших детей? Или мерещится ей одинокая и бесприютная старость?

Безнадежно уныло и строго ее окаменелое лицо.

#### VI

Долгий осенний вечер. За стеною и дождь и ветер.

Как надоедливо, как равнодушно горит лампа!

Володя оперся на локоть, весь наклоняясь над столом на левый бок, и смотрел на белую стену комнаты, на белую штору окна.

Не видны бледные цветы на обоях... Скучный белый цвет...

Белый абажур задерживает отчасти лучи лампы. Вся верхняя половина комнаты в полусвете.

Володя протянул вверх правую руку. По затененной абажуром стене потянулась длинная тень, слабо очерченная, смутная...

Тень ангела, улетающего в небеса от порочного и скорбного мира, прозрачная тень с широкими крыльями, с головой, грустно склоненной на высокую грудь.

Не уносится ли из мира нежными руками ангела что-то значительное и пренебреженное?..

Володя тяжело перевел дыхание. Рука его лениво опустилась. Он склонил скучающие глаза на свои книги.

Долгий осенний вечер... Скучный белый цвет... За стеною плачет и лепечет...

#### VII

Мама второй раз застала Володю за тенью.

На этот раз бычачья голова очень удалась ему, и он любовался ею и заставлял быка вытягивать шею и мычать.

Но мама была недовольна.

– Вот как ты занимаешься! – укоризненно сказала она.

– Я ведь немножко, мама, – застенчиво прошептал Володя.

– Можно бы этим и в свободное время заняться, – продолжала мама. – Ведь ты не маленький, – как тебе не стыдно тратить время на такие пустяки!

– Мамочка, я больше не буду.

Но Володе трудно было исполнить обещание. Ему очень нравилось делать тени, и желание заняться этим частенько стало приходиться ему среди какого-нибудь интересного урока.

Эта шалость иной вечер отнимала у него много времени и мешала хорошенько приготовить уроки. Приходилось наверстывать потом и недосыпать. А как бросить забаву?

Володе удалось изобрести несколько новых фигур, и не только при помощи пальцев. И эти фигуры жили на стене и, казалось иногда Володе, вели с ним занятные беседы.

Впрочем, он и раньше был большой мечтатель.

VIII

Ночь. В Володиной комнате темно. Володя улегся в свою постель, но ему не спится. Он лежит на спине и смотрит на потолок.

По улице идет кто-то с фонарем. Вот по потолку пробегает его тень среди красных световых пятен от фонаря. Видно, что фонарь качается в руках прохожего, – тень колышется неровно и трепетно.

Володе становится почему-то жутко и страшно. Он быстро натягивает одеяло на голову, и, весь содрогаясь от торопливости, ложится поскорее на правый бок, и принимается мечтать.

Ему становится тепло и нежно. В голове его складываются милые, наивные мечты; те мечты, которые посещают его перед сном.

Часто, когда он ляжет спать, ему делается вдруг страшно, он словно становится меньше и слабее, – и прячется в подушки, забывает мальчишеские ухватки, делается нежным, ласковым, и ему хочется обнять и зацеловать маму.

IX

Сгущались серые сумерки. Тени сливались. Володе было грустно. Но вот и лампа. Свет пролился на зеленое сукно стола, по стене прошмыгнули неопределенные милые тени.

Володя почувствовал прилив радости и одушевления и заторопился вынуть серенькую книжку.

Бык мычит... Барышня звонко хохочет... Какие злые, круглые глаза делает этот лысый господин!

Теперь свое.

Степь. Странник с котомкой. Кажется, слышна печальная, тягучая дорожная песня...

Володе радостно и грустно.

X

– Володя, я уж третий раз вижу у тебя эту книжку. Что ж, ты целыми вечерами на свои пальцы любишь?

Володя неловко стоял у стола, как пойманный шалун, и вертел книжку в горячих пальцах.

– Дай мне ее сюда! – сказала мама.

Володя сконфуженно протянул ей книжку. Мама взяла ее и молча ушла, а Володя уселся за тетрадки.

Ему было стыдно, что он своим упрямством огорчил маму, и досадно, что она отняла от него книжку, и еще стыдно, что он довел себя до этого. Он чувствовал себя очень неловко, и досада на маму терзала его: ему совестно было сердиться на маму, но он не мог не сердиться. И оттого, что сердиться было совестно, он еще более сердился.

«Ну, пусть отняла, – подумал он, наконец, – а я и так обойдусь».

И в самом деле, Володя уже знал фигуры на память и пользовался книжкой только так, для верности.

XI

Мама принесла к себе книжку с рисунками теней, раскрыла их, – и задумалась.

«Что же в них заманчивого? – думала она. – Ведь он – умный, хороший мальчик, – и вдруг увлекается такими пустяками!»

«Нет, уж это, значит, не пустяки!..»

«Что же, что тут?» – настойчиво спрашивала она себя.

Странная боязнь зарождалась в ней, – какое-то неприязненное, робкое чувство к этим черным рисункам.

Она встала и зажгла свечу. С серенькой книжкой в руках подошла она к стене и приостановилась в боязливой тоске.

«Да, надо же наконец узнать, в чем здесь дело», – решила она и принялась делать тени, от первой до последней.

Она настойчиво, внимательно складывала пальцы и сгибала руки, пока не получала той фигуры, какая была ей нужна. Смутное, боязливое чувство шевелилось в ней. Она старалась его преодолеть. Но боязнь росла и чаровала ее. Руки ее дрожали, а мысль, запуганная сумерками жизни, бежала навстречу грозящим печалям.

Вдруг услышала она шаги сына. Она вздрогнула, спрятала книжку и погасила свечу.

Володя вошел и остановился у порога, смущенный тем, что мама строго смотрит на него и стоит у стены в неловком, странном положении.

– Что тебе? – спросила мама суровым, неровным голосом.

Смутная догадка пробежала в Володиной голове, но Володя поторопился ее отогнать и заговорил с мамой.

## XII

Володя ушел.

Мама прошла несколько раз по комнате. Она заметила, что за нею на полу движется ее тень, и – странное дело! – первый раз в жизни ей сделалось неловко от этой тени. Мысль о том, что есть тень, беспрестанно приходила ей в голову, – но Евгения Степановна почему-то боялась этой мысли и даже старалась не глядеть на тень.

А тень ползла за нею и дразнила ее. Евгения Степановна пыталась думать о другом, – напрасно.

Она внезапно остановилась, бледная, взволнованная.

– Ну, тень, тень! – воскликнула она вслух, со странным раздражением топая ногами, – ну что же из того? что же?

И вдруг сразу сообразила, что глупо так кричать и топать ногами, и притихла.

Она подошла к зеркалу. Ее лицо было бледнее обыкновенного, и губы ее дрожали испуганной злобой.

«Нервы, – подумала она, – надо взять себя в руки».

## XIII

Ложились сумерки. Володя размечтался.

– Пойдем, погуляем, Володя, – сказала мама.

Но и на улице были повсюду тени, вечерние, таинственные, неуловимые, – и они шептали Володе что-то родное и бесконечно печальное.

В туманном небе проглянули две-три звезды, такие далёкие и чужие и Володе и обступившим его теням. Но Володя, чтоб сделать приятное маме, стал думать об этих звездах: только они одни были чужды теням.

– Мама, – сказал он, не замечая, что перебил маму, которая говорила ему о чем-то, – как жаль, что нельзя добраться вот до этих звезд.

Мама взглянула на небо и ответила:

– Да и не надо. Только на земле нам и хорошо, там другое.

- А как они слабо светят! Впрочем, тем и лучше.
- Почему?
- Ведь если бы они посильнее светили, так и от них побежали бы тени.
- Ах, Володя, зачем ты все только о тенях и думаешь?
- Я, мама, нечаянно, - сказал Володя раскаивающимся голосом.

#### XIV

Володя все еще старался готовить уроки получше, - он боялся огорчить маму ленью. Но всю силу своей фантазии он употреблял на то, чтобы вечером уставить на своем столе груды предметов, которая отбросила бы новую, причудливую тень. Он раскладывал так и этак все, что было у него под руками, и радовался, когда на белой стене появлялись очертания, которые можно было осмыслить. Эти теневые очертания становились близки ему и дороги. Они не были немые, они говорили, - и Володя понимал их лепечущий язык.

Он понимал, на что ропщет этот унылый пешеход, бредущий по большой дороге в осеннюю слякоть, с клюкою в дрожащих руках, с котомкой на понурой спине.

Он понимал, на что жалуется морозным треском сучьев занесенный снегом лес, тоскующий в зимнем затишье, и про что каркает медленный ворон на поседлом дубе, и о чем грустит суетливая белка над опустелым дуплом.

Он понимал, о чем на тоскливом осеннем ветре плачут нищие старухи, дряхлые, бесприютные, которые в ветхих лохмотьях дрожат на тесном кладбище, среди шатких крестов и безнадежно черных могил.

Самозабвение и томительная грусть!

#### XV

Мама замечала, что Володя продолжает шалить. За обедом она сказала:

- Хоть бы ты, Володя, другим чем заинтересовался.
- Да чем?
- Почитал бы.
- Да, начнешь читать, а самого так и тянет делать тени.
- Забаву бы придумал другую, - хоть мыльные пузыри.

Володя грустно улыбнулся.

- Да, пузыри полетят, а за ними тени по стене.
- Володя, ведь ты этак вконец расстроишь себе нервы. Ведь я вижу, - ты даже похудел из-за этого.
- Мама, ты преувеличиваешь!
- Пожалуйста! Ведь я знаю, - ты по ночам стал плохо спать и бредишь иногда. Ну, представь, если ты захвораешь!
- Вот еще!
- Не дай Бог, сойдешь с ума или умрешь, - какое мне горе будет!

Володя засмеялся и кинулся на шею к маме.

- Мамочка, я не умру. Я больше не буду.

Мама заметила, что Володя уже плачет.

- Ну, полно, - сказала она, - Бог милостив. Вот видишь, какой ты стал нервный, -

#### XVI

Мама пристально, боязливо всматривалась в Володю. Всякие мелочи теперь волновали ее.

Она заметила, что Володина голова слегка несимметрична: одно ухо было выше другого, подбородок немного отклонен в сторону. Мама смотрела в зеркало и замечала, что Володя и в этом похож на нее.

«Может быть, – думала она, – это – один из признаков дурной наследственности, вырождения? И в ком тогда корень зла? Я ли – такая неуравновешенная? Или отец?»

Евгения Степановна вспомнила покойного мужа. Это был добрейший и милейший человек, слабовольный, с бессмысленными порываниями куда-то, то восторженно, то мистически настроенный, грезивший о лучшем общественном устройстве, ходивший в народ, – и пивший запоем в последние годы жизни. Он был молод, когда умер, – ему было тогда всего тридцать пять лет.

Мама даже свела Володю к врачу и описала его болезнь. Врач, жизнерадостный молодой человек, выслушал ее, посмеиваясь, дал кой-какие советы относительно диеты и образа жизни, сопровождая их шутивными прибаутками, весело настроил «рецептик микстурки» и игриво прибавил, похлопывая Володю по спине:

– А самое лучшее лекарство – посечь бы.

Мама жестоко обиделась за Володю, но все остальные предписания выполнила в точности.

#### XVII

Володя сидел в классе. Ему было скучно. Он слушал невнимательно.

Он поднял глаза. На потолке к передней стене класса двигалась тень. Володя заметил, что она падает из первого окна. Сначала она легла от окна к середине класса, а потом быстро прошмыгнула от Володи вперед, – очевидно, на улице под окном шел кто-то. Когда еще эта тень двигалась, от второго окна упала другая тень, тоже сначала к задней стене, потом начала быстро поворачиваться к передней. То же повторилось в третьем и четвертом окне, – тени падали в класс, на потолок, и по мере того, как прохожий подвигался вперед, они тянулись назад.

«Да, – подумал Володя, – это не так, как в открытом месте, где тень тянется за человеком; здесь, когда человек идет вперед, тень скользит назад, и другие тени уже опять встречают его впереди».

Володя перевел глаза на сухую фигуру учителя. Холодное, желтое лицо учителя раздражает Володю. Володя ищет его тень и находит ее на стене, за учительским стулом. Тень уродливо перегибается и колышется, – но у нее нет желтого лица и язвительной усмешки, и Володе приятно смотреть на нее. Мысли его убегают куда-то далеко, – и он уже совсем ничего не слышит.

– Ловлев! – называет его учитель.

Володя по привычке подымается и стоит, тупо глядя на учителя. У него такой нездешний вид, что товарищи смеются, а учитель делает укоризненное лицо. Потом Володя слышит, что учитель издевается над ним вежливо и зло. Володя дрожит от обиды и от бессилия. Потом учитель объявляет ему, что ставит ему единицу за незнание и невнимательность, и приглашает его садиться.

Володя глупо улыбается и принимается соображать, что с ним случилось.

#### XVIII

Единица, первая в Володиной жизни!

Как это было странно для Володи!

– Ловлев! – дразнят его товарищи, смеясь и толкаясь. – Схватил кол! С праздником!

Повести и рассказы. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru  
Володе неловко. Он еще не знает, как следует вести себя в таких случаях.

– Ну, схватил, – досадливо говорит он, – тебе-то что за дело!

– Ловлев! – кричит ему ленивый Снегирев. – Нашего полку прибыло!

Первая единица! И ее надо было показать маме. Это было стыдно и унижительно. Володя чувствовал на своей спине в ранце странную тяжесть и неловкость, – этот «кол» пренеудобно торчал в его сознании и никак не вязался ни с чем в его уме.

– Единица!

Он не мог привыкнуть к мысли об единице и не мог думать ни о чем другом. Когда городской близ гимназии посмотрел на него, по обычаю своему, строго, Володя почему-то подумал:

«А вот если бы ты знал, что у меня единица!»

Это было совсем неловко и непривычно, – Володя не знал, как ему держать голову и куда девать руки, – во всем теле была неловкость.

И еще было надо принимать перед товарищами беззаботный вид и говорить о другом!

Товарищи! Володя был уверен, что все они ужасно рады его единице.

XIX

Мама посмотрела на единицу, перевела непонимающие глаза на Володю, опять взглянула на отметку и тихо воскликнула:

– Володя!

Володя стоял перед нею и уничтожался. Он смотрел на складки мамина платья, на мамины бледные руки и чувствовал на своих трепетных веках ее испуганные взгляды.

– Что это? – спросила мама.

– Ну что ж, мама, – вдруг заговорил Володя, – ведь это ж первая!

– Первая!

– Ну, ведь это со всяким может быть. И право, это нечаянно.

– Ах, Володя, Володя!

Володя заплакал, по-ребячьи размазывая слезы ладонью по щекам.

– Мамочка, не сердись, – зашептал он.

– Вот твои тени! – сказала мама.

В ее голосе Володе послышались слезы. Сердце его сжалось. Он взглянул на маму. Она плакала. Он бросился к ней.

– Мама, мама, – повторял он, целуя ее руки, – я брошу, право, брошу всякие тени.

XX

Володя сделал громадное усилие воли, – и не занимался тенями, как его ни тянуло к ним. Он старался наверстать пропущенное из уроков.

Но тени настойчиво мерещились ему. Пусть он вызывал их, складывая пальцы, пусть он не громоздил предмет на предмет, чтоб они отбросили тень на стене, – тени сами обступали его, назойливые, неотвязные. Володе уже незанимательны стали предметы, он их почти и не видел, – все его внимание уходило на их тени.

Когда он шел домой и солнце, бывало, проглянет из осенних туч хоть в дымчатой ризке, – он радовался, что повсюду побежали тени. Тени от лампы стояли около него, когда он вечером был дома.

Тени везде, вокруг, – резкие тени от огней, смутные от рассеянного дневного света, – все они теснились к Володе, скрещивались, обволакивали его неразрывной сетью. Некоторые из них были непонятны, загадочны, другие напоминали что-то, на что-то намекали, – но были и милые тени, близкие, знакомые, – вот их-то и сам Володя, хотя и мимовольно, искал и ловил повсюду в беспорядочном мелькании чуждых теней. Но грустны были эти милые и знакомые тени.

Когда же замечал Володя, что сам он ищет этих теней, он терзался совестью и шел каяться к маме.

Случилось однажды, что Володя не одолел соблазна, пристроился к стене и начал показывать себе бычка. Мама застала его.

– Опять! – сердито воскликнула она. – Нет, я наконец попрошу директора, чтобы тебя сажали в карцер.

Володя досадливо покраснел и угрюмо ответил:

– И там есть стена. Везде стена.

– Володя! – горестно воскликнула мама. – Что ты говоришь!

Но Володя уже кается в своей грубости и плачет.

– Мама, я сам не знаю, что со мною делается.

XXI

А мама все не может одолеть своего суеверного страха теней. Ей все чаще думается, что она, как Володя, погрузится в созерцание теней, но она старается утешить себя.

– Какие глупые мысли! – говорит она себе. – Все обойдется, даст Бог, благополучно: нашалится и перестанет.

А сердце замирает от тайного ужаса, и настойчиво забегает ее мысль, пугливая перед жизнью, навстречу будущим печалям.

В тоскливые минуты утра она поверяет свою душу, вспоминает свою жизнь, – и видит ее пустоту, ненужность, бесцельность. Одно только бессмысленное мелькание теней, сливающихся в густеющих сумерках.

«Зачем я жила? – спрашивает она себя. – Для сына? Но для чего? Чтобы и он стал добычей теней, маниаком с узким горизонтом, – прикованный к иллюзиям, к бессмысленным отражениям на безжизненной стене?»

«И он тоже войдет в жизнь, и даст жизнь ряду существований, призрачных и ненужных, как сон».

Она садится в кресло у окна и думает, думает.

Она заламывает в тоске прекрасные белые руки. Мысли ее разбегаются. Она смотрит на свои заломленные руки и начинает соображать, какие из этого могли бы выйти фигуры на тени. Она ловит себя на этом и в испуге вскакивает.

– Боже мой! – восклицает она. – Да ведь это – безумие.

XXII

За обедом мама смотрит на Володю.

«Он побледнел и похудел с тех пор, как ему попала эта несчастная книжка. И весь он переменялся, – характером и всем. Говорят, характер перед смертью меняется. Что, если он умрет?»

«Ах, нет, нет, не дай, Господи!»

Ложка задрожала в ее руке. Она подняла к образу боязливые глаза.

– Володя, да отчего ж ты не доел супа? – испуганно спрашивает она.

– Не хочется, мама.

– Володя, не капризничай, голубчик, – ведь это же вредно – не есть супу.

Володя лениво улыбается и медленно кончает суп. Мама налила ему слишком полную тарелку. Он откидывается на спинку стула и хочет сказать с досады, что суп был невкусен. Но у мамы такое обеспокоенное лицо, что Володя не смеет говорить об этом и бледно улыбается.

– Теперь я сыт, – говорит он.

– Ах, нет, Володя, сегодня все твое любимое.

Володя печально вздыхает: он уже знает, что если мама говорит о его любимых блюдах, то это значит: будет его пичкать. Он догадывается, что и за чаем мама заставит его, как и вчера, есть мясо.

### XXIII

Вечером мама говорит Володе:

– Володя, милый мой, ты опять увлечешься, – уж лучше ты не затворяй дверей!

Володя принимается за уроки. Но ему досадно, что за его спиной открыта дверь и что мама иногда проходит мимо этой двери.

– Я так не могу, – кричит он, шумно отодвигая стул, – а не могу ничем заняться, когда дверь настезь.

– Володя, зачем же ты кричишь? – ласково укоряет мама.

Володя уже раскаивается и плачет. Мама ласкает его и уговаривает:

– Ведь я, Володенька, о тебе забочусь, чтобы помочь тебе справиться с твоим увлечением.

– Мама, посиди здесь, – просит Володя.

Мама берет книгу и садится у Володиного стола. Несколько минут Володя работает спокойно. Но фигура мамы начинает понемногу раздражать его.

«Точно над больным!» – злобно думает он.

Его мысли перебиваются, он досадливо двигается и кусает губы. Мама наконец замечает это и уходит из комнаты.

Но Володя не чувствует облегчения. Он терзается раскаянием, что показал свое нетерпение. Он пробует заниматься, – и не может. Наконец он идет за мамой.

– Мама, зачем же ты ушла? – робко спрашивает он.

### XXIV

Ночь под праздник. Перед образами теплятся лампы.

Поздно и тихо. Мама не спит. В таинственном сумраке спальни она стоит на коленях, молится и плачет, всхлипывая по-детски.

Ее косы бегут на белое платье; плечи ее вздрагивают. Умоляющим движением подымает она руки к груди и заплаканными глазами смотрит на икону. Лампада на цепях еле заметно зыблется от ее горячего дыхания. Тени кольшутся, толпятся в углах, шевелятся за киотом и лепечут что-то тайное. Безнадежная тоска в их лепете, неизъяснимая грусть в их медленно зыбких кольханиях.

Мать встает, бледная, с широкими, странными глазами, и колеблется на ослабевших ногах. Тихо идет она к Володе. Тени обступают ее, мягко шуршат за ее спиной, ползут у ее ног, падают, легкие, как паутина, к ней на плечи и, заглядывая в ее широкие глаза, лепечут непонятное.



Она осторожно подходит к кровати сына. В лучах лампы лицо его бледно. На нем лежат резкие, странные тени. Не слышно дыхания, – он спит так тихо, что маме страшно. Она стоит, окруженная смутными тенями, обвешанная смутными страхами.

XXV

Высокие церковные своды темны и таинственны. Вечерние песни поднимаются к этим сводам и звучат там торжественной грустью. Таинственно, строго смотрят темные образа, озаренные желтыми огоньками восковых свечей. Теплое дыхание воска и ладана наполняет воздух величавой печалью.

Евгения Степановна поставила свечу перед иконою Богоматери и стала на колени. Но молитва ее рассеянна. Она смотрит на свою свечу. Огонь ее зыблется. Тени от свеч падают на черное платье Евгении Степановны и на пол и отрицательно колышутся.

Тени реют по стенам церкви и утопают вверху, в этих темных сводах, где звучат торжественные, печальные песни.

XXVI

Другая ночь.

Володя проснулся. Темнота обступила его и беззвучно шевелится.

Володя высвободил руки, поднял их и шевелит ими, устремляя на них глаза. В темноте он не видит своих рук, но ему кажется, что темные тени шевелятся перед его глазами...

Черные, таинственные, несущие в себе скорбь и лепет одинокой тоски...

А маме тоже не спится, – тоска томит ее.

Мама зажигает свечу и тихонько идет в комнату сына, взглянуть, как он спит.

Неслышно приотворила она дверь и робко взглянула на Володину кровать.

Луч желтого света дрогнул, на стене, пересекая Володино красное одеяло. Мальчик тянется руками к свету и с бьющимся сердцем следит за тенями. У него даже нет вопроса: откуда свет?

Он весь поглощен тенями. Глаза его, прикованные к стене, полны стремительного безумия.

Полоса света ширится, тени бегут, угрюмые, сгорбленные, как бесприютные путницы, торопящиеся донести куда-то ветхий скарб, который бременит их плечи.

Мама подошла к кровати, дрожа от ужаса, и тихо окликнула сына:

– Володя!

Володя очнулся. С полминуты глядел он на маму широкими глазами, потом весь затрепетал, соскочил с постели и упал к маминым ногам, обнимая ее колени и рыдая.

– Какие сны тебе снятся, Володя! – горестно воскликнула мама.

XXVII

– Володя, – сказала мама за утренним чаем, – так нельзя, голубчик; ты совсем изведешься, если и по ночам будешь ловить тени.

Бледный мальчик грустно опустил голову. Губы его нервно вздрагивали.

– Знаешь, что мы сделаем? – продолжала мама. – Мы лучше каждый вечер вместе понемножку поиграем тенями, а потом и за уроки присядем. Хорошо?

Володя слегка оживился.

– Мамочка, ты – милая! – застенчиво сказал он.

XXVIII

На улице Володя себя чувствовал сонно и пугливо. Расстилался туман, было холодно, грустно. Очерки домов в тумане были странны. Угрюмые фигуры людей двигались под туманной дымкой, как зловещие неприветливые тени. Все было громадно необычайно. Лошадь извозчика, который дремал на перекрестке, казалась из тумана огромным, невиданным зверем.

Городовой посмотрел на Володю враждебно. Ворона на низкой крыше пророчила Володе печаль. Но печаль была уже в его сердце, – ему грустно было видеть, как все враждебно ему.

Собачонка с облезлой шерстью затыкала на него из подворотни, – и Володя почувствовал странную обиду.

И уличные мальчишки, казалось, хотели обидеть и осмеять Володю. В былое время он бы лихо расправился с ними, а теперь боязнь теснилась в его груди и оттягивала вниз обессилевшие руки.

Когда Володя вернулся домой, Прасковья отворила ему дверь и посмотрела на него угрюмо и враждебно. Володе сделалось неловко. Он поскорее ушел в комнаты, не решаясь поднять глаз на унылое Прасковино лицо.

XXIX

Мама сидела у себя одна. Были сумерки, – и было скучно.

Где-то мелькнул свет.

Володя вбежал, оживленный, веселый, с широкими, немного дикими глазами.

– Мама, лампа горит, поиграем немножко.

Мама улыбается и идет за Володей.

– Мама, я придумал новую фигуру, – взволнованно говорит Володя, устанавливая лампу. – Погляди... Вот видишь? Это – степь, покрытая снегом, – и снег идет, метель.

Володя поднимает руки и складывает их. По колени в снегу. Трудно идти. Один. Чистое поле. Деревня далеко. Он устал, ему холодно, страшно. Он весь согнулся, – старый такой.

Мама поправляет Володины пальцы.

– Ах! – в восторге восклицает Володя, – ветер рвет с него шапку, развеивает волосы, зарывает его в снег. Сугробы все выше. – Мама, мама, слышишь?

– Вьюга.

– А он?

– Старик?

– Слышишь, стонет?

– Помогите!

Оба бледные, смотрят они на стену. Володины руки колеблются, – старик падает.

Мама очнулась первая.

– Пора и за дело, – говорит она.

XXX

Утро. Мама дома одна. Погруженная в бессвязные, тоскливые думы, она ходит из комнаты в комнату.

На белой двери обрисовалась ее тень, смутная в рассеянных лучах затуманенного солнца. Мама остановилась у двери и подняла руку широким, странным движением. Тень на двери заколебалась и зашептала о чем-то знакомом и грустном. Странная

Повести и рассказы. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru  
отрада разлилась в душе Евгении Степановны, и она двигала обеими руками, стоя перед дверью, улыбалась дикой улыбкой и следила мелькание тени.

Послышались Прасковьины шаги, и Евгения Степановна вспомнила, что она делает нелепое.

Опять ей страшно и тоскливо.

«Надо переменить место, – думает она. – Уехать куда-нибудь подальше, где будет новое».

«Бежать отсюда, бежать!»

И вдруг вспоминаются ей Володины слова:

– И там будет стена. Везде стена.

«Некуда бежать!»

И в отчаянии она ломает бледные, прекрасные руки.

XXXI  
Вечер.

В Володиной комнате на полу горит лампа. За нею у стены на полу сидят мама и Володя. Они смотрят на стену и делают руками странные движения.

По стене бегут и зыблются тени.

Володя и мама понимают их. Они улыбаются грустно и говорят друг другу что-то томительное и невозможное. Лица их мирны, и грезы их ясны, – их радость безнадежно печальна, и дико радостна их печаль.

В глазах их светится безумие, блаженное безумие.

Над ними опускается ночь.

К звёздам  
I

Сереза чувствовал себя обиженным. Это, как всегда, заставляло его как-то некрасиво сжиматься в своем костюме небольшого мальчика, коротеньком и узком, которого Сереза не любил и не умел носить: в нем Сереза был неловок и мешкотен в движениях. Сердце его досадливо и томительно билось, и он глядел злыми черными глазами, через куртину пестрых, пахучих цветов, на изгородь дачи, где они, – Сереза, мама и папа, – жили. У ворот стояла коляска. Мама собиралась уезжать, и весело беседовала с чужими мужчинами, которые все были длинные, развязные, и все по-шутовски, казалось Серезе, одетые. И отец был с ними.

Мама сказала сейчас Серезе, целуя его на прощанье:

– Ах, милый мой голубок, ты мне что-то хочешь рассказать? Вот подожди, я скоро приеду, мы поговорим тогда вволю, и о звездочках.

Сереза слышал неискренние ноты в мамином голосе, и уже знал, что это только так говорится. Мама была такая нарядная, от неё сладко пахло духами, и это досаждало Серезе.

– Он у меня такой фантазер, – сказала мама. – Представьте, он мне вчера лепетал что-то о звездочках, вы понимаете, что-то детское, наивное, но, право, поэтическое. Он у меня будет художник, не правда ли?

Гости смеялись, и папа смеялся, не выпуская изо рта сигары, которая от смеха качалась у него во рту. Лотом все ушли, а Сереза остался. И вот он стоял один среди сада, и сердито смотрел туда, где мама.

Когда мама уехала, бледное, но полное лицо Серезы из злого сделалось тоскливым, и он повернулся к дому. Деревянный дом, с мезонином, был так красив, и так ярки и пахучи были цветы в окнах на балконе, и так зелены были ползучие стебли,

обвивавшие столбы балкона, что Сереже стало жутко, – он почувствовал себя чужим здесь, – и это все нарядное было ему темно и странно. Ему не захотелось входить в комнаты, где он будет, предчувствовал он, тосковать среди удобной, дорогой мебели, среди красивой, неизбежной обстановки, где все прилично и надоедливо.

Грустно наклоняя мало загоревшее, некрасивое лицо, побрел он тихонько в глубь сада. Там, прилегли грудью на забор, долго смотрел он на возню двух босых мальчишек, игравших на дворе. Они были одного возраста с Сережей, но он не мог играть с ними: это неприлично, и запрещено. Ему было жаль, что он не может итти к этим веселым мальчишкам. Он с любопытством наблюдал, как они поочередно догоняли один другого, играя в пятнашки.

Беготня была удовольствием, запрещенным Сереже: у него сердце начинало от беготни сильно колотиться, и он останавливался, задыхаясь. Но теперь, когда бежали другие, он жадно следил за ними, и смеялся от радости, наводимой на него их беганьем и криками, – и сердце его порою так и трепетало, как будто он сам бежал с мальчишками. Впрочем, он старался сдерживать свой смех: ему стало бы стыдно, если бы увидели, что он с таким интересом наблюдает игру уличных ребятишек.

Мальчики приостановили свою игру и, стоя среди двора, звонко и крикливо совещались, словно переругивались. Сережа все смотрел на них, – ему было странно, что они такие растрепанные и босые, и что от этого им ничуть не становится неловко. Они опять забегали, но Сережины мысли разбрелись.

Крик на дворе заставил его вздрогнуть. Кухарка Настасья, неистово крича, колотила одного из игравших мальчишек, своего сына, а он отчаянно выл. Сережа взвизгнул от страха и от чужой боли, которую он вдруг почувствовал в себе, и убежал.

Ни мама, ни папа не вернулись и вечером. Сережа оставался почти все время один, потому что гувернер его, белобрысый студент с добродушной ленцой, ухаживал сегодня за франтоватой горничной Варварой, которую Сережа не любил за то, что она угодливо смотрела в глаза барыне и целовала её руки.

Когда совсем свечерело, Сережа потихоньку вышел из дому, и ушел на одну из дальних дорожек в саду. Там улегся он на скамейку, заложил руки под голову, и принялся смотреть на небо. Оно словно таяло слой за слоем, и постепенно обнажало спрятанный за ним звезды и темно-голубую зазвездную бездну.

Сырость и прохлада июльского вечера охватывали мальчика. Если бы старшие увидели его в саду, его прогнали бы в комнаты. Он сам знал, что ему вредно лежать здесь, под сырыми ветками сирени, – он такой изнеженный и нервный, – но он нарочно оставался, и сердито припоминал, как пренебрежительно обошлась с ним мама, и как посмеивались гости, глядя на его маленькую фигурку. Ему припомнилось еще, как однажды тетя Катя назвала его миниатюрным, и это слово теперь досадовало его.

«Разве такие миниатюры бывают? – сердито думал он. – И зачем все старшие всегда скалят зубы, и стараются говорить смешное и веселое? Смеяться от радости – это можно, но они смеются от злости. И от зависти, что я маленький, а они скоро умрут.»

Он думал, что если бы он был сильный, то он заставил бы тетю Катю стать на колени перед ним и просить прощения. Но чтобы никого при этом не было, – чтобы некому было смеяться. И он взял бы тетю Катю за ухо, и сказал бы ей:

– Смотри, другой раз хуже достанется.

И она ушла бы, смиренная, без смеха. А с теми, долговязыми мужчинами, что сделал бы он? Ничего, прогнать их, и только. Только бы ни они сами, ни воспоминание об их глупом смехе не мешали ему смотреть на звезды, которые, как и Сережа, им не нужны.

Звезды, далекие, мирные, смотрели ему прямо в глаза. Они мигали, и казались робкими. Сережа был тоже робкий, но теперь он чувствовал, что ему и звездам хорошо. Он вспомнил, что его студент говорил ему, будто бы звезды каждая, как солнце, и со своею землею. Но он не мог поварить, что там так же, как и здесь. Он думал, что там лучше. Ему было жаль, что нельзя попасть туда, – земля

большая, она притягивает. Если бы она не притягивала, то можно было бы улететь туда, к звездам, и узнать, что там делается, живут ли там ангелы с белыми крыльями и в золотых рубашках, или такие же люди.

Отчего звезды так внимательно смотрят на землю? Может быть, они и сами живые, и думают?

Сереза долго смотрел на звезды, и забывал свою досаду и свою злость. Кротко и ясно становилось в его душе. Его лицо с пухлыми, но бледными губами казалось невозмутимо-покойным.

Звезды все яснее и ласковее горели над Серезею. Они не затмевали одна другой, – их свет был без зависти и без смеха. Они с каждой минутой словно приближались к мальчику. Радостно и легко сделалось ему, и казалось, что он плывет на скамейке, покачиваясь в воздухе. Звезды приникли к нему. Все вокруг чутко и ожидающе замолчало, и ночь сделалась гуще и таинственнее. Как бы сливаясь со звездами, он забыл про себя самого, и потерял все ощущения своего тела.

Вдруг визгливые звуки гармоники долетели откуда-то издали, и пробудили Серезу из его самозабвения. Сереза удивился чему-то, – быть может, этому минувшему самозабвенно, – и потом досадно стало ему на разбудившую его гармонику, гнусные звуки которой прыгали и кобянились над мальчиком. Эти звуки, нахальные, скрипуче, неотвязчивые, напоминали ему все, что бывает днем, – гостей, студента, Варвару, мальчишку, которого была мать, и который неистово кричал, – и от этого последнего воспоминания Сереза вдруг задрожал, и сердце его больно забилось. Тоска охватила его, и великое нежелание быть здесь, на этой земле.

– А что, если меня земля не притягивает! – вдруг подумал он. – Может быть, я могу, если захочу, отделиться и улететь. Меня звезды притягивают, а не земля. А вдруг я полечу?

И вот показалось ему, что звезды тихонько зазвенели, и земля под ним медленно, осторожно стала наклоняться, и забор сада потихоньку пополз вниз у его ног, а скамья под ним плавно задвигалась, подымая его голову и опуская ноги. Ему стало страшно, с криком слабым и резким вскочил он со скамьи, и бросился бежать домой. Ноги его отяжелели, сердце больно стучало, – и казалось Серезе, что земля с глухим шумом колеблется под ним.

Дрожа, вбежал он в комнаты. Никто не заметил его. Как всегда, горели лампы в пустых комнатах, и голоса людей слышны были близко.

– Чего-же я испугался? – соображал Сереза – ведь я лежал, вот и вышло, что забор был против моих ног, – а мне показалось, что земля поворачивается.

Ему захотелось поскорее идти к людям, не быть одному. Но когда он вошел в ту комнату, из которой слышался ему веселый голос его гувернера, то заметил, что помешал ему беседовать с Варей.

Студента быстро повернулся к мальчику с принужденным и смущенным видом. Его руки были неловко расставлены, потому что он сейчас только держал их на Вариных плечах. Варя стояла около стола, словно ей надо было что-нибудь прибрать на нем, усмехалась блудливою улыбкою, и смотрела на Серезу, как на непонимающего, с видом превосходства. Но Сереза знал, что константину Осиповичу, студенту, нравится Варвара, и что он с нею только так занимается шутками, а не женится на ней, потому что они не пара. Теперь ему сразу стало неприятно смотреть на них. Он думал, что у них нехорошие лица, и у курносого и рябого студента, и у краснощекой и чернобровой горничной. Он не знал, что нехорошего в их лицах, но они наводили на него досаду и стыд.

Он отвел от них глаза, и смотрел на лампу, завешенную красным бумажным колпаком с тонкою сквозною оторочкою. Но звезды припомнились ему, и тягостно стало смотреть на красный свет лампы. Он отошел к окну, – земные огни, мгlistые, дымные, отовсюду глянули на него. Недалеко, на одной из дач, горели бумажные фонарики, – должно быть, по случаю какого-нибудь семейного праздника. Тоскою повеяло на Серезу от всех этих крикливых и резких огней.

– Что это, – жалобно заговорил он, – когда-же мама приедет?

– Маменька ваша поздно приедут, – ответила Варвара сладким голосом, – вы их, Сереженька, завтра утром увидите, а теперь уже вам спать пора.

Сережа посмотрел на Варвару злыми, холодными глазами: они странно мерцали на его желтовато-бледном лице. Его губы повело злой усмешкой и от этого щеки его словно припухли внизу. Злость захватила его сердце внятным томлением, похожим на томление голода.

– Я лягу, – сказал он слегка вздрагивающим голосом, – а ты с ним целоваться будешь?

Варвара покраснела.

– Чтой-то, Сереженька, как вам не стыдно, – неуверенно сказала она, – вот я маменьке пожалуюсь.

– Я сам пожалуюсь, – ответил Сережа, и хотел еще что-то сказать, но не мог, потому что томления злости и тоски до боли сжимали его сердце и горло.

– Вы, Сережа, сократитесь, – посоветовал студент, стараясь прикрыть свое смущение авторитетным тоном и презрительную усмешкою, – да отправляйтесь-ка спать.

Сережа посмотрел на него исподлобья, и молча отправился в свою комнату.

Раздеваясь, он постарался забыть и о студенте, и о Варе, и о всех людях, – ему хотелось кротко и любовно помечтать о звездах. Он подошел к окну и, слегка отодвинув штору, посмотрел на небо. Оно все искрилось и сверкало. Как алмазы, были звезды, и блеск их казался холодным, – как бы прохладное дуновение нисходило от них.

Согнувшись и припав плечом к околотке окна, стоял Сережа, и грустно думал о том, что никак нельзя допроситься у звезд, что и как там, – и холодные глаза его мерцали на бледном лице. Но, когда он стоял так и смотрел на звезды, понемногу злость его смирялась, и сердце перестало томиться.

Ночью Мир таинственный и чудный снился Сереже, мир на ясных звездах. На деревьях вешего леса сидели мудрые птицы, и смотрели на Сережу, – и под ветвями деревьев медленно проходили мудрые, невиданные на земле звери. Сереже радостно и легко было с ними и с людьми того Мира, которые все были ясные, смотрели большими глазами, и не смеялись.

### II

День был жаркий, и Сереже было грустно. Он не любил жара, не любил яркого солнечного освещения, и днем все чего то боялся. Весь этот жар и свет тяжело ложились на его грудь, и в ней пробуждалось по временам где-то около сердца неприятное томление и трепетание.

К тому-же днем грубо приставали к нему с наставлениями и занятиями, когда он хотел быть один и думать, или пренебрежительно отталкивали его за недосугом, когда ему хотелось, поговорить о чем-нибудь своем. Каждый день бывали чужие люди, все больше мужчины, развязные и шумные. Все они казались Сереже темными, – словно пыль от их вечного смеха налипла на них.

Сереже хотелось, чтобы опять, поскорее, настала ночь: он поглядел бы, так ли и сегодня мерцают звезды, как вчера мерцали. Опять было бы радостно, а днем – тоска! Потому что все чуждо и враждебно. Отец – совсем чужой. Он даже не знает, о чем говорить с Сережей: остановится перед ним, погладит по голове, спросит что-нибудь несвязное и ненужное, вроде того, что:

– Ну, что, Сережа, как?

И уже сейчас же, не дожидаясь, что скажет Сережа, начинает говорить с другими. Мама, так та иногда вдруг возьмет Сережу за плечи, и начнет ласкать его и говорить с ним, и тогда она делается такая простая и светлая, что Сереже даже не страшно её нарядного платья, и он доверчиво прижимается к ней. Но это бывает редко, совсем редко, а то обыкновенно и мама бывает чужая, любезная с гостями, и нарядная, благоухающая для них, для всех этих длинных и смешно по-модному одетых

Повести и рассказы. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru  
мужчин, а с Сережей холодная, пренебрегающая.

«Да, и мама – чужая, – думал Сережа, – и все, что днем, надоедает, а вот звезды – мои; все они смотрят на меня и не отвертываются. Они светлые. А на земле все темное. И мама только изредка бывает светлой. А может быть, моя душа где-нибудь там, на звезде, а я здесь только так, один, как сплю, и потому мне скучно?»

В обычное время Сережа отправился купаться с своим гувернером, Константином Осиповичем, Сережи хотелось говорить о своих мыслях, и он думал, что теперь это удобно, потому что студенту тоже жарко и, по-видимому, неприятно от этого: он шагал лениво, и не улыбался.

– Солнце темное, – заявил для начала Серёжа.

Студент неопределенно хмыкнул.

– Правда, – убеждающим голосом продолжал Сережа. – На него нельзя смотреть. А если посмотришь, потом темные круги в глазах. И день темный, ничего не видно на небе. А ночь светлая. Звезды лучше чем солнце.

– А вы очень высоко не заноситесь, Сережа, – лениво остановил его студент, – меньше глупостей скажете.

Сереже была неприятна грубость студента. Но он продолжал говорить.

– Ведь вот все видят, что у вас на плече полотенце.

– Ну? – спросил студент.

И опять Сереже не понравился грубый звук этого нуканья. Он легонько вздохнул и сказал:

– Значит, все знают, что мы – купаться.

– Так, – подтвердил студент тоном человека, слушающего очевидный вздор. – Что-же из этого следует?

– А вот мы влезем в купальню. Там тесно, а мы там будем по-секрету купаться, а выплывать нельзя.

Студент вдруг оскалился, и захихикал как-то совсем странно. Сережа с удивлением посмотрел на него. У студента было опять нехорошее лицо, такое же, как вчера вечером. Сереже стало неловко и досадно, и он заговорил о другом.

– Какие глупые лошади на земле, – сказал он, глядя на покорную морду мохнатой извозчичьей лошаденки.

Извозчик, на припеке, дремал на козлах, дремала и лошадь. Сереже вспомнились мудрые животные, которых он видел во сне, те смотрели и знали, а эти...

– Право, глупые, – повторил он.

– Чем они вам не угодили? – спросил студент, все еще хихикая.

– Да как же, сильные, а глупые: таскают на себе людей.

Студент захохотал. Сережа вздрогнул от внезапного этого хохота, и тоскливо поглядел кругом. И все везде было звонко, тревожно и чуждо: дачи. яркая зелень, яркий песок на дорогах, яркие цветы в садах, нарядные дамы. И рядом с роскошью этой жизни сновали грязные босые мальчишки с жадными и робкими глазами.

В купальне, когда Сереже стало свободно и весело от холодной воды, ему опять вспомнилось, что люди стыдятся, и что нельзя выплыть на широкий простор. И он не понимал, что было в нем стыдного, когда ему здесь так легко и удобно, в этой вод, которая холодна и спокойна, и держит его в своих объятиях. Вот там, на земли, когда он наденет свой костюм, он опять станет маленький и смешной, а здесь он простой и ясный. Он быстро колотил руками и ногами по воде, взвизгивая от радости и подымая над собою облака брызгов. Буйная веселость охватила его, и

в то же время нестерпимая злость на то, что тесно, и что беспрестанно чувствуются стены то под руками, то под ногами. Он стиснул зубы, пронзительно завизжал, и нырнул под стенку купальни, – вода была низкая, и ему не трудно было очутиться на открытом месте

Было светло, просторно, холодно и весело. Рядом стояла другая купальня; из неё слышались голоса и выкрикивания девочек. С радостным и громким визгом Сережа сунулся в эту купальню.

Увидя у себя мальчика, девочки – их было человек пять, и они были одни, без взрослых, – подняли крик и писк, и стали нелепо барахтаться в воде, отвертываясь от Сережи и брызжа в него водою. Одна из них, посмелее, рослая девочка, всмотрелась в Сережу, крикнула сердито и пренебрежительно:

– Совсем маленький мальчик!

И поплыла к нему, очевидно, с враждебными намерениями. Сережа поспешил спастись в свою купальню.

Молча слушал он нотации студента, и одевался, а глаза его были злые, и светились по змеиному. Грубые, неуклюжие слова студента шли мимо его, как и почти все эти праздные слова, которых он уже так много слышал. Но он думал, что студент, конечно, насплетничает дома, и опять будут бранить и смеяться, и от этого Сереже делалось тоскливо.

«Каждый день смех и стыд! – думал он. – И чем я заслужил такую жизнь?»

Дома Сереже стали доказывать неприличие его поступка, – все на него одного: и мама, и тетя Катя, папина сестра, полная дама с желтым и морщинистым лицом, и кузина Саша, тетина дочка, тонкая барышня с ровным, тягучим голосом. Сережа тупо слушал слова, и не следил за ними. Он и сам знал, что считается неприличным делать то, что он сделал, но думать об этом ему было совсем неинтересно.

Мама вздохнула, полузакрыла свои красивые черные глаза, и молвила тихо, ни к кому особенно не обращаясь:

– Какой то он нынче у нас непокойный, – и с чего это он, право, я не понимаю.

Тут мама посмотрела на студента.

– Вы бы, Константин Осипыч, – начала, она, и замялась, не зная, что сказать: построже или помягче; наконец она кончила – Как-нибудь... этак, – и сделала при этом один из тех изящных жестов, которые так не нравились Сереже.

Константин Осипович соорудил понимающее лицо, и глубокомысленно заметил:

– Нервозность сильная... вообще... поколение... и конец века.

Тетя Катя сказала таким кислым и усталым голосом, как будто-бы это она больше всех обижена и Сережею, и всем прочим:

– Нынче уж и дети! Вот у Нечаевых мальчик, но это ужас что такое.

Она наклонилась к мамину уху, и зашептала. Сережа угрюмо стоял поодаль, ожидая, когда его отпустят, и думал коротенькими, злыми мыслями. Мама с удрученным видом выслушала секретный рассказ, опять вздохнула, и сказала:

– Да, дети... Столько забот... Право, уж и не знаешь, как с ними быть. Ты, Сережа, голубчик, уж ты и сам воздерживайся от всяких таких выходок. Пойми, тебе самому вредно: тебя бранят, а ты волнуешься. А тебе вредно волноваться. Да и меня пожалей, ты меня совсем расстраиваешь. И без тебя забот...

– Вот видишь, Сережа, – сказала кузина, – ты огорчаешь свою маму, а это нехорошо.

Сережа поглядел на её светлое платье с буфами, бантами, складками, и подумал, что она напрасно вмешивается, – вовсе не её дело. Она говорила еще что-то неторопливо и ровно, и тонкая губы её противно двигались. Тягучие звуки её



Повести и рассказы. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru  
голоса наводили на Сережу тоску и злобу, и сердце его опять замирало и томилось. Наконец он сказал, перебивая кузину на полуслове:

– Кузина Надя вышла замуж, а у тебя и в этом году нет женихов, и не будет, потому что ты уксусная.

Мама рассердилась, покраснела, и сказала:

– Сергей, тебя наказать придется.

Кузина сжала свои тонкие губы. Тетя воскликнула:

– Какой ты злой, Сережа!

– Ничего не остается, как только наказать, – усталым голосом повторяла мама.

Сережа угрюмо посмотрел на нее. Он почувствовал, что сердце его бьется чаще, а щеки бледнеют. Он думал:

«Если бы взрослым каждый день грозили наказать. Наказать!»

– А как? – спросил он.

– Что? – с удивлением переспросила мама.

– Как наказать?

– Да уж тебя не спросят, как, – гневно заговорила мама. – Вот позову Варвару, так ты и увидишь тогда, как.

– К Варваре на расправу? – спокойно спросил опять Сережа.

Мама всплеснула руками, и нервно рассмеялась.

– Вот поговорите с ним, – звенящим от обиды голосом сказала она. – Нет, уведите его, Константин Осипович, я не могу. Идиот какой-то растет.

Сережа засмеялся таким же взвизгивающим смехом, как и мама, и выбежал из комнаты. Красная портьера неприятно задела его по коротко остриженной голове шершавой материей. Сережа подумал вдруг, что его всегда обижают, и что всякий другой на его месте непременно расплакался бы. Но он никогда не плачет, и ему теперь даже стало жалко, что он не заплакал: мама, может быть, стала бы утешать его и приласкала бы. Горячее желание маминых поцелуев и ласки безнадежно-острой струей пробежало в душе мальчика, но он быстро подавил в себе это желание. Губы его капризно сжались, а вздрагивающий подбородок прижался к груди. Бегом добрался он до своей комнаты, повалился ничком на постель, заболтал в воздухе согнутыми в коленях ногами, и принялся тихонько взвизгивать странными, некрасивыми звуками. Его злые глаза мерцали и расширялись, и чернота их зрачков казалась глубокою от контраста с его лицом, бледным до желтизны и мало загоревшим.

### III

Кто-то тронул Сережу за плечо. Сережа досадливо взмахнул ногами, и повернулся на спину. Над ним стоял Константин Осипович. Лицо студента, рябое, курносое, обросшее маленькою, мягкою рыжеватою бородкою, было важно, и это не шло к нему, и было смешно. Сережа сразу увидел, что студент имеет какое-то дело до него, может быть, очень скверное, и мальчику стало тоскливо и страшно. Он лежал неподвижно, с протянутыми вдоль руками, и плотно, всем телом прижимался к постели. Его черные глаза были сухи и злы.

Студент постоял над мальчиком нахмурился, и сказал:

– Во-первых, днем нельзя валяться.

Сережа молча сел на постели, а потом и вовсе стал на ноги. Он не отрываясь смотрел на студента, снизу в его лицо, высоко подымая для этого голову, и как-то совсем ничего в это время не думал. Студент еще больше нахмурился, поискал слов, и начал говорить:

– И всячески вы того... сбрендили...

– Сбрендил, – согласился Сережа совсем машинально, и принялся рассматривать руки студента, большая, костлявые, с синими толстыми жилами.

– Вы не перебивайте, – сердито сказал студент. – Вы того... дерзостей там наговорили барышне, и маменьке тоже. Так оно выходит этак... неказисто. Совсем, знаете, это вы неосновательно поступили. Ну-с, грубиянить, это – не того, и совсем... ну, одним словом, неказисто.

Студент сделал энергичный жест, словно он рукой что-то проталкивал быстро и сильно в узкую щель. Сереже было досадно, что он так долго тянет и говорить нескладно.

– Просить прощения надо? – спросил. Сережа.

– Вот оно самое и есть, – обрадовался студент. – Вы того... этого... шаркните там, ну и ручки поцелуйте.

– Да хоть ножки. мне все равно, – угрюмо сказал мальчик.

– Ну, это, приблизительно, лишнее.

– А пороть не будут? – осведомился Сережа деловым тоном.

Студент ухмыльнулся, точно он услышал о чем-то, очень ему дорогом и приятном.

– Не собираются, – ответил он, – а следовало бы.

Ему бы хотелось пострадать мальчика, но он не смел: черные, злые Сережины глаза наводили на него смущение, и все слова и поступки Сережины казались ему неожиданными.

Мальчик постоял еще немного, подумал о чем-то смутном и постороннем, и переваливающейся походкой пошел в гостиную. Студент шел за ним, и думал, как бы мальчишка не наговорил еще дерзостей. Но все обошлось благополучно.

Когда Сережа вошел в гостиную, то и мама, и тетя, и кузина, все сидели и молча глядели на него, а отец стоял у камина, длинный, весь в сером, и усмехался едва заметно, равнодушно и пренебрежительно. Сережа направился к кухне, остановился перед ней, шаркнул ногою, и сказал ровным голосом, как отвечают затверженный урок:

– Простите меня, кузина, что я сказал вам дерзость.

При этом щеки его нисколько не окрасились. Холодными глазами посмотрел он в притворно благосклонное лицо кузины, постоял еще немного перед нею, потом подвинулся к ней поближе, наклонился, и поцеловал её руку таким движением, словно выполнял неинтересный ему самому, но уже так принятый обряд. Кузина кисло улыбнулась.

– Я не сержусь, – сказала она, – а только тебе самому нехорошо, если ты приучишься грубиянить.

Сережа опять шаркнул ногою, так же спокойно направился к матери, и проделал с нею все то же, что и с кузиною. Мама сказала ему недовольным голосом:

– Не говорил бы дерзостей, не пришлось бы прощенья просить.

Сережа подошел к отцу. Отец притворился строгим и сердитым, но Сережа знал, что ему все равно, что он – чужой.

– Что, сорванец, опять напроказничал? – спросил отец.

Сережа нахмурился, и сообразил, что можно и не отвечать. Отец подумал, и не нашел сердитых слов. Это его рассердило, и он досадливо засмеялся

– Клоп! – сказал он, и щипнул сына за щеку. – Достукаешься ты до хорошего угощения.

– Только, пожалуйста, не сегодня, – серьезно сказал Сережа, потирая щеку, на которой показалось красное пятнышко.

– Ну, отправляйся к себе, – хмуро сказал отец.

Сережа вышел, а студента удержали. Из этого Сережа понял, что будут опять говорить о нем. Он отошел немного, тихонько воротился, притаился за портьерой, и принялся слушать.

– И заметили вы, – говорила мама измученным неискренним голосом, – с какой злостью он просил прощенья?

– И в кого он у вас такой недобрый? – спрашивала кузина.

– Нервы, – сердито проворчал отец, – мальчишку ведут, как девочку, он и изнервничался.

– Ах, каше там нервы, – грубым, громким голосом заговорила вдруг тетя, – просто вы набаловали мальчика. Надо строже.

– Как еще строже, – недовольным голосом отвечал отец, – бить его, что ли?

– Конечно, не мешало бы тебе его иногда высечь, очень бы это для него было полезно.

– Это нельзя, – решительно и с досадою сказал отец, не потому, что он так думал, а потому, что считал такой разговор с дамами неприличным, и стеснялся при них таких грубых слов.

– Отчего это нельзя? – с неудовольствием возражала тетя, – не беспокойся, не растреплется.

– Ах, я, право, не понимаю таких разговоров, – раздражительно сказал отец, и сейчас же переменял тон, и заговорил о другом, чтобы прекратить этот неприятный для него разговор – да, я чуть было не забыл, сегодня я у Леонида Павловича...

Сережа поспешно, стараясь не шуметь, отошел от двери. Он пошел в сад. Когда он проходил мимо кухни, он услышал, как там Варвара со смехом говорила кухарке:

– А наш-то коротелька как ловко отбрил барышню!

И она рассказывала, что сказал Сережа, и при этом прибавляла и перевирала, и они смеялись звонко и грубо. Сережа пошел дальше. Он чувствовал злость.

«Везде смеются», – думал он, – «люди не могут не смеяться друг над другом».

Он поднял глаза к небу, но оно было еще закрыто белесоватою синевою. Сережа тоскливо потупился, и лениво шел по дорожкам сада.

У самого края песочной дорожки сидела маленькая, чахлая лягушонка. Она была противна Сереже.

Вдруг у него мелькнула шаловливая, мальчишеская мысль. Черные глаза его радостно засверкали. Он наклонился, и схватил лягушку в руки. Она была вся слизкая, и Сережи было противно держать ее. Это ощущение скользкого и отвратительного расплзлось по всему его телу, и щекотало в зеве. Торопясь, спотыкаясь от торопливости, он побежал в гостиную. Там отца уже не было, а остальные сидели на тех же местах. Все трое посмотрели на Сережу с презрительною усмешкою. Сережа подошел прямо к кузине.

– Смотрите-ка, – сказал он, – какую я поймал хорошенькую.

И он посадил лягушку кузине на колени. Кузина отчаянно взвизгнула, и вскочила с места.

– лягушка, лягушка, – кричала она, бестолково махая руками.

Все переполошились, и вскочили с мест, а Сережа стоял и смотрел на кузину, которая кричала и рыдала истерически. Сереже казалось, что она кривляется, и ему было стыдно за нее.

– Она же невредная, – сказал он, – она не укусит.

Видя, что его не слушают, он тихонько повернулся, и вышел из комнаты. Его не остановили, потому что барышня впала в истерику, а мама и тетя ее расшнуровали, и отпаивали водю с каплями.

Сережа знал, что теперь-то его наверно накажут. – Впрочем, ему было теперь все равно. Голова его слегка кружилась, пустяки развлекали его. Портьера, под которую он прошел, колебалась и темнела в складках, и была повешена, конечно, только для того, чтобы задавать шершавой материей по остриженной голове. Она была красная, и осталась за ним, а он ушел к себе.

Он сел в своей комнате на подоконник, и смотрел в сад злыми, черными глазами. Деревья были ярко зелены, и с длинными прутьями, воробьи прыгали, солнце бросало резкие пятна на землю, и желтый песок резко блестел. Все было грубо, и все злило Сережу, – и от этого у него ныло сердце, и он чувствовал это так же отчетливо, как иногда ясно чувствуется боль в руке или в ноге. Дразня и растравляя свою злость, он стал воображать, что с ним сделают: как его будут бранить и стыдить, и как потом примутся бить. Он маленький, и поместится на коленях Варвары, голова его будет вниз, а рукам неловко.

Случилось, однако, что Сережу оставили сегодня в покое. Приехала к маме с визитом богатая, важная барыня, и мама была рада этому до чрезвычайности. Дама была очень любезна и участлива, и потому ей рассказали о Сереже, и она пожелала видеть Сережу. Сережа шаркнул перед нею совсем так, как это следовало, поцеловал ей руку, и посмотрел на нее внимательными глазами. На его взгляд она была большая, грубая, темная, в пышном шумном платье, от неё неприятно пахло духами, – несколько негармонично смешанных, резких запахов, – и на лице её было что-то постороннее, пудра или белила. Дама хотела улыбнуться на мальчика, такого коротенького не по возрасту, но от его черных, внимательных глаз и от его бледных, слегка припухлых щек она почувствовала смутное беспокойство, и сказала Сережиной матери:

– Вы его оставьте в покое, – да, оставьте в покое. Пусть себе играет. Ему надо подрасти. Это все оттого, что он слишком мал для своего возраста.

И Сережу оставили в покое, на волю его глухому раздражению, которое, не унимаясь, мучило его, – словно вчерашние звезды отравили его. Он томительно ждал вечера, когда опять снимется эта светлая, тяжелая завеса, которую солнце закрывает звезды. И он дождался.

#### IV

Сережу рано отправили спать. Сегодня мама была дома, и Сережу не пустили вечером в сад, а за то, что он дурно себя вел, его не оставили с мамой. Но он был рад, когда наконец остался один, раздетый, в своей постели. День кончен, солнца, этого жаркого, грубого чудовища, нет, и ночь тиха, и на небе есть звезды. Ими можно любоваться, если вот встать с постели, тихохонько подойти к окну, и отодвинуть штору. Он лежал, нежась в постели, и смотрел на белую штору, и тихо смеялся, а черные глаза его горели радостно.

Звезды звали его еле слышным, тонким звоном. Сережа откинул одеяло, спустил на пол ноги, и послушал. Ковер под ногами был мягкий, теплый. На нем приятно было стоять. Сережа потянулся, тихонько засмеялся от радости, и подбежал к окну, – и холодные доски крашеного пола тоже радовали его. Он отодвинул штору, стал на колени перед окном, положил подбородок на подоконник, и принялся глядеть на ясные звезды мерцающими черными глазами. При неверном свете звезд казалось, от легкой припухлости бледных щек, что на губах его улыбка, – но он не улыбался, хотя ему было весело. Долго смотрел он на звезды, холодные, ясные, и сквозь стекла окна к нему веяли от них холод и покой. Сердце радостно, часто билось в его груди и он дышал весело, торопливо, точно что-то холодное, радостное вливалось в его легкие. Он ни о чем не думал, – все дневное отошло от него, как сон.

Затихли голоса в доме и на улице. Сережа встал, отошел к постели, и принялся одеваться. Обувки своей он не нашел, – башмаки его унесли, чтобы почистить утром. Но он знал, что теперь уже все спят и не увидят. Он подошел к окну, открыл его, взобравшись для этого на подоконник, и вылез в сад, цепляясь за ветки березы. Внизу, на земле, влага и холод июльской ночи охватили его. Он вздрогнул. Но звезды все глядели на него, – и он поднял к ним некрасивое, бледное лицо, радостно засмеялся, и побежал по сырой земле, дальше от дома, к той же скамейке, где вчера смотрел он на звезды. Ветки кустов задавали его, и ногам было сыро и неловко, и сердце непомерно билось в груди, – но он торопился, – так много ушло времени, и скоро небо начнет заволакиваться бледным светом, люди проснутся, а звезды опечалются.

Он добежал, лег на скамью, – и, глядя на звезды, дышал тяжело, и не улыбался. Ему было больно: сердце так сильно стучало в груди, что это отдавалось в горле и висках неприятными, резкими подергиваниями. Он всматривался в звезды, и старался этим успокоить сердце, – и оно начинало по временам утихать, а то вдруг опять заколотится, и делается больно. Но когда оно затихало и только слегка трепетало в груди, Сереже становилось жутко и трепетно-хорошо, и неиспытанное еще им раньше наслаждение заставляло его крепко стискивать зубы, и раздвигало его губы бледной, больной улыбкой.

Эти все ощущения мешали ему отдаться звездам, и кроме того, вдруг налетали на него целым роем нелепые, ничтожные воспоминания. Они надоели, Сережа старался избавиться от них, и не мог.

Вот кухня перед зеркалом, с белою пуховкою для пудры в руках, завистливо вздыхает. – Отец держит во рту сигару, и от неё вьется синий дым. – Улица, дачи, красные огни в окнах, с вокзала едут дрожки бесконечной вереницей, на дрожках все мужчины в сером. – Сережа стоит на паровой пристани, и хочет рассказать о звездах, – но все смеются над ним.

Резкая боль в груди пронизала все тело мальчика. Смутные, серые тени пробежали перед глазами, – что-то страшное, безликое мелькнуло из-за кустов. Медленно, дрожа всем телом, поднялся Сережа со скамейки. Тонкая паутинка коснулась его щеки. Бледный стоял он, и черными глазами всматривался в пустоту ночи.

Все было тихо и спокойно. Сережа повернулся к дому, – его молчаливые, внимательные окна виднелись вдали из-за кустов, и Сережа почувствовал, что страшно туда идти, страшно даже смотреть туда. Он отвернулся от этого дома, и опять лег на скамейку.

Ему стало хорошо. Сердце было спокойно, как будто его и не было в груди. Сережа прислушался к нему, – оно билось ровно, и только легкое щекотание было где-то около него, но оно было приятно. Сережа перестал думать о своем сердце. Все воспоминания вдруг отошли, и не мешали звездам придвинуться.

И вдруг не стало ничего, кроме звезд. Стало совсем тихо, и ночь сгустилась, придвинулась к Сереже, и слушала вместе с ним, но звезды радостно молчали, и сияли, и играли переливными огнями. Их сияние возрастало, и они сладко и томно кружились, сначала медленно, потом все быстрее. Сережа смотрел вниз на их сияющую бездну со своей высоты, и ему не было страшно, что теперь все эти звезды блестят и сверкают не вверху, как раньше, а внизу, под ним. Кружась, они слились в ясные дуги, свет их расплывался, – словно легкая дрема набежала на них. Белое полотно разостлал кто-то между ними и Сережей. Под сводами полотняной палатки румяный мальчик говорил что-то Сереже, а у Сережи в руках была вещь, ясная птица.

– Оглянись! – сказал мальчик.

Сережа доверчиво оглянулся. Мальчик выхватил из его рук птицу, и убежал. Сережа почувствовал, что он плывет и качается. Ветка сирени над ним поплыла с ним вместе. Опять ему стало жутко и радостно. Звезды звенели над ним тихо и нежно. Потом жалобны стали их звуки.

Холод пробежал по Сережину телу, от ног к голове.

– Спасайся! К нам! – тревожно шептали звезды.

Скамейка, на которой лежал Сережа, толкала его, и старалась сбросить. Ветер повеял, – и вдруг страшные звуки поднялись везде в деревьях.

Сережа вскочил на ноги. Сердце у него трепетало, словно у него выросли крылья. Земля колебалась под Серезиными ногами. Что-то противное, страшное приближалось к нему по земле, гибкое, с яркими зелеными глазами, и кричало ужасно и резко. За спиной Серези кто-то неистово хохотал грубым человеческим голосом. Над хаосом грубых, злых звуков, которые возникали везде вокруг Серези и оглушали его, радостно и призывно звенели звезды, – голоса их были тихие, но внятные для Серези. А в воздухе носилась липкая, тонкая паутина, и ложилась на Серезины щеки; среди общего смятения и шума она одна была безмолвна, и это безмолвие липкой паутины было всего страшнее.

Сережа не знал, что ему делать, чтобы спастись от этого шума и от этой паутины. Тоска сжимала его сердце. Он побежал, шатаясь, спотыкаясь и плача, не зная сам, куда бежит, – ноги его тяжелили, и сердце с тяжким грохотом стучало в груди, и все вокруг гремело и скрежетало.

Сережа набежал на темный ствол березы, уперся в него руками, отскочил, шатаясь, назад, и остановился, колеблясь на ослабелых ногах и шепча в тоске:

– Что мне делать? Что мне делать?

Со страшной, рванувшей всё тело болью сжалось его сердце, – и вдруг боль и тоска исчезли. Тихая, нужная радость приникла к Серезе. Он почувствовал, что кто-то повеял на него холодным дыханием и прислонил его спиной к земле. Опять под ним, далеко внизу, заняли ясные, тихие звезды. Сережа широко раскинул руки, оттолкнулся от земли ладонями, и с криком громким и резким, похожим на визгливый голос ночной птицы, бросился торопливо и радостно с темной землей к ясным звездам. Радостно закружились звезды, и зазвенели стройно и громко, и помчались ему навстречу, расширяя свои золотые крылья. Великий кроткий ангел подставил его груди белое крыло, и нежно обнял его, и закрыл его глаза легкой рукою. И в его объятиях навсегда и обо всем забыл Сереза.

Рано утром нашли его в сырой траве у забора. Он лежал, широко раскинув руки, с лицом, обращенным к небу. Около его рта, на бледной, словно припухшей от улыбки, щек, темнила струя запекшейся крови. Глаза его были сомкнуты, лицо не по-детски спокойно, он весь был холодный и мертвый.

Рассказы из Собрании Сочинений

Лелька

Вечерело. Я шел за город побродить на берегах нашей мелкой, порожистой реки. В старину она была многоводна, пролегал по ней великий путь из Чуди в Русь, – а теперь она давно ух обмелела, сжалась в своем широком русле, как червяк на зеленом листе, и затихла, – и сжался, затих и приуныл над ее берегом, извилистым и крутым, когда-то богатый город Тихий-Омут.

Вечер стоял тихий, теплый, благоухающий свежими веяниями не жаркого лета, полный очарования, как нежная колыбельная песенка. Солнце было уже низко: багряно-желтый круг его почти касался мгристо-синей черты горизонта; темно-лиловые тучки с золотыми краями были разбросаны по розовому небу заката. Все небо заливали восхитительно мягкие переливы голубых, алых и палевых оттенков; узкие полоски тонких облачков желтели и белели на нем, как прилипшие к нарядному платью засохшие стебли. Прощальные солнечные лучи убирала в пурпур бедные городские лачуги. Серая пыль иногда подымалась от набегавшего ветра, влеклась по немощным улицам, и тихонько ложилась на землю.

Я вышел на обрывистый берег реки. Откосы другого берега начинали терять свои ярко-пунцовые краски; только верхи крутых обрывов еще сверкали темно-красною, как медь, глиною. Внизу слегка дымился туман, еще почти не видный, заметный лишь по тому, как скрадывались им очертания берега: словно прильнула река близко-близко к обрывистым берегам, и, тая, целовала их, и таял угрюмый берег, целуя журчащую воду.

Глинистая тропинка бежала между откосами берега и широкими полями. Кусты ползли вниз по откосам, цепляясь за землю изогнутыми ветвями и схватываясь ими друг с другом, словно сгорбленные старушки, тихо ползущие в гору. Становилось в воздухе

свежее.

Берег понижался. В прозрачной полумгле, которую ласково бросали на меня ивы с пониклых ветвей своих, меня обнимала нежная прохлада; воздух вливался в грудь, как сладкий напиток, возбуждающий трепет сил и жажду жизни, навевающий отрадные мечтания. Легкая задумчивость овладела мною.

Вдруг услышал я детский голос, звонко и отчетливо выговаривающий стихи:

Не знаю отчего, но на груди природы,  
Лежит ли предо мной полей немая даль,  
Колышет ли залив серебряные воды.  
Иль простилает лес задумчивые своды,  
В душе моей встает неясная печаль...  
А вот и он, маленький чтец. Лицом к реке, под ивою, прислонясь к ее стволу спиною и рассеянно глядя вдаль, сидел тоненький мальчик в ситцевой рубаше и помятой шапке. Ему по лицу можно было дать лет тринадцать; он был, очевидно, мал для своего возраста. На бледном, нервно-подвижном лице, слегка смуглом и загорелом мечтательно теплились кроткие карие глаза. Так они пристально смотрели куда-то далеко, что мальчик и не видел меня, даже когда совсем близко подошел я к нему.

Он говорил стихи на память, и, сложив руки на коленях, слегка покачивался взад и вперед. Говорил он их задушевно и просто, как будто это были не чужие для него слова. Было так странно видеть этого босого мальчугана, который читает стихи, вряд ли ему вполне ясные.

Она – всегда немая Галатеея,  
А я – страдающий, любя, Пигмалион..  
– закончил мальчик и повел вперед сжатыми руками.

Я молча стоял сбоку, немного позади его. Он повернулся, бросил на меня рассеянный взгляд, заметил меня и быстро вскочил на ноги.

– Хорошо ты читаешь, молодец! – сказал я.

Он покраснел и молчал. Видно было, что ему хочется уйти. Но я решил как-нибудь удержать его. Невдалеке от реки я заметил небольшой домик, старенький, погнувшийся, с небольшими, тусклыми окнами.

– Ты не здесь ли живешь? – спросил я, показывая на эту лачугу.

– Да, – тихо ответил мальчик.

Это был самый крайний дом подгородной слободы Подолешья, населенный бедным людом. На плетне, которым обнесен был двор, я увидел растянутые сети. У берега виднелась лодка, привязанная не прочною, с узлами, бечевкою к тому дереву, под которым мы стояли.

– А это – твоя лодка? – спросил я.

– Отцова, – ответил мальчик.

– А ты с нею справишься? Мальчуган легонько усмехнулся.

– Справлюсь, что ж, – сказал он.

– Так прокати меня по реке. Я тебе заплачу, – сказал я. Мальчик глянул на меня и ответил:

– Ладно, вот только у отца спрошусь.

Он побежал в избу. Через минуту на пороге ее показался хозяин, маленький, тощий человек с мочальной бородкою и смирною улыбкою на бледном лице. Он подошел ко мне, кланяясь с некоторым подобострастием. Я и ему сказал, чего хочу. Он вызвался сам сесть со мною. Я отказался.

– Справимся с мальчуганом, – сказал я.

Тогда он суетливо задвигался по двору, покрикивая на сына:

– Ну живей, живей, Лелька, пошевеливайся.

Лелька побежал в сарай за веслами, потом в избу, собрался в миг, – и выбежал ко мне. Вот уселись мы вдвоем на узеньких и неудобных беседочках лодки; вода тихо зашумела под веслами. Мы плыли вниз по течению.

Я скоро взял у мальчика весла, и стал посреди лодки. Мальчик не обнаруживал большой охоты говорить, и вначале только отвечал на вопросы. Но мало-помалу мы разговорились.

– Любишь ты стихи? – спросил я.

– Люблю, – ответил он, слегка краснея, и прибавил вдруг, засмеявшись и весело взмахнув головой: – я много стихов знаю.

– Учишься где-нибудь? – опять спросил я.

– Учусь, как же, – в городское училище хожу. Прежде ходил в приходское. Кончил там, – отец меня сперва хотел к сапожнику отдать в ученье, – а я ему говорю: я лучше, говорю, в городское училище поступлю, там тоже мастерская есть. Ну отец и согласился. Я в поступил в училище, и в столярную стал тоже ходить, у нас при училище есть столярная. Теперь еще два года остается.

Меж тем вечерняя мгла сгущалась внизу, и только на небе еще теплились розоватые потухающие отблески догоравшего дня. Плеск весел по воде раздавался мягко и звучно. Было тихо, – мы тихо разговаривали, берега медленно двигались, течение несло нас вперед.

Берега раздвинулись, река разлилась вдвое шире, заструилась ленивей и глаже; перед нами легла сероватая гряда камней, мельничная запруда. Все слышнее и слышнее доносилось до нас журчание воды, которая, лениво переливаясь через плотину, падала на фашинник и камни. Мы подъехали близко к запруде, – и повернули назад. Опять береговые тени побежали навстречу взмахам весел.

Я попросил мальчика прочесть мне еще какие-нибудь стихи. Он сперва застыдился, но потом все-таки прочел мне два стихотворения, – из Лермонтова и Некрасова. Мне стало грустно; рассеянно слушая, вспоминал я, что все подростки, все юноши, которых я встречал, предпочитали стихи с печальным содержанием.

Он помолчал.

– А вот, я вам еще скажу стихи, – промолвил он, слегка дрогнувшим голосом, почему-то смущаясь больше прежнего.

– Прочти, милый, – сказал я, – ты хорошо читаешь. Он сказал незнакомое мне стихотворение. Сначала голос его был

робок и тих, но мальчик быстро справился со своим волнением. Стихи были слабы по форме, но подкупали искренностью и

свежестью чувства.

– Чьи же это стихи? – спросил я, когда он кончил. Мальчик покраснел, замялся, поежился и сказал тихонько:

– Мои. Самодельные, – прибавил он, и глянул на меня смущенными и смеющимися глазами.

– Вот как! – сказал я с удивлением, – так ты, брат, сочинитель!

– Да. Только вы отцу не сказывайте, что я вам читал.

– А что?

– Да уж так. Пожалуй, опять достанется.



– А уж доставалось?

Мальчик помолчал немного, – и начал рассказывать по порядку:

– Сочинять-то стихи я давно начал, а только показать их некому было. Вот в прошедшую зиму я и надумал, дай, думаю, покажу их учителю. Ну, он прочел, – ничего, похвалил, – говорит, надо работать, ты, говорит, можешь научиться хорошие стихи писать. Стал мне книжки давать. Вот от него и другие наши учителя узнали. Ну, вот, раз и вышло так, что меня батюшка по священной истории урок отвечать вызвал, а я не выучил в тот раз. И совсем не от стихов, а вовсе другая причина была. А батюшка и говорит: ты, говорит, только стихи сочиняешь, а уроков не учишь; еще и на нас, может быть, спасквили пишешь, говорит; погоди, говорит, вот я уже твоему отцу скажу. Отец у него печи тогда как раз чинил. Вот батюшка ему в тот же день на меня нажаловался.

Он опять помолчал, внимательно посмотрел на меня, и продолжал:

– Ну, мне от отца шибко попало. Взялся, говорит учиться, – это отец мне говорит, – так учись, а глупостями не занимайся. Денег-то у меня нет, говорит, шальных, чтобы Ты попусту в школе околачивался, к шорнику, говорит, отдам в ученье, коли еще чуть что. А коли в школу, говорит, хочешь ходить, так о пустяках и не думай. И взял все мои тетрадки со стихами, да и пожег.

Он досадливо и стыдливо нахмурился при этих словах: видно было, что он сильно жалел об этих пожженных тетрадках.

– Так как же ты теперь? – спросил я.

– А теперь я потихоньку пишу, и никому не показываю. Становилось все темнее, надвигалась ночь. Мне было грустно и странно смотреть на этого мальчика. Что из него выйдет? Мечта представляла мне угол сарая, полуосвещенный отблесками тонких солнечных лучей, пыльными спицами бегущих из многочисленных щелей в стенах и в потолке; там, на сене, мальчик с пылающим лицом и с блестящими глазами; в руках у него карандаш и тетрадка; взволнованно дышит грудь, озабоченное лицо выдает тайну недетского напряжения мысли. Не преждевременно ли это напряжение? Не бесплодно ли оно? Или и точно это сила, стремящаяся найти себе исход в свободной деятельности, – сила, которая победит препятствия?

Лодка причалила к берегу возле городского бульвара. Я молча вышел из лодки на шаткие доски, прилаженные для прачек, и опустил в Лелькину руку две серебряные монеты. Он весело поблагодарил меня, сунул деньги, не поглядев на них, в карман, уселся, и веслом отпихнул от берега лодку. Плеснули весла, жалобно зароптали речные струи, плещась и разбегаясь, и повлекли за собою, в мгlistый туман, остроносый челнок.

– Покойной ночи, – крикнул мне Лелька с реки, заметив, что я еще стою на берегу.

Звонкий голосок пронесся в ночной тишине, словно бряканье колокольчика, разбудил где-то далеко слабый и короткий отголосок, – и затих. И скоро затихли в отдалении мерные всплески весел.

Задор

I

Была война с турками, и было брожение в умах, даже подростки много говорили и волновались. Товарищи Вани Багрецова, гимназисты четвертого класса, на переменах больше толковали о политике, чем о своих школьных интересных делах и делишках. Ваня кипел и горячился и в гимназии, заодно с товарищами, и дома в бесконечных ожесточенных спорах с бабушкой.

Однажды Ваня вернулся из гимназии под впечатлением новых слухов, весь насквозь пропитанный негодованием. Он вознамерился наказать бабушке немало горьких истин. О, конечно, он никогда не трогал бы ее, – старая, где ей понять! – но в последнее время бабушка слишком злобно нападала на молодежь и даже позволяла себе лживые утверждения, которых Ваня не мог оставлять без ответа.

Не нравились и бабушке и матери Ванины новые взгляды и его знакомства. Правда, товарищи заходили к нему редко; но тем было хуже. У Вани, притом, уже давно была

привычка по вечерам гулять, и уходил он всегда один; прежде на это не обращали внимания, а теперь его, совершенно, впрочем, невинные прогулки по городским улицам начинали казаться подозрительными и опасными. Их еще пока не запрещали, – не было очевидного повода, – но и не поощряли: косились и ворчали каждый раз.

В воинственном настроении вошел Ваня в столовую, стараясь придать себе независимый вид, но внутренне волнуясь в ожидании предстоящей схватки. Его бойкие серые глаза, немного близорукие, смотрели с задором и сердито.

Бабушка, высокая и худощавая старуха с быстрыми движениями и очень прямым станом, была уже «готова», как Ваня тотчас же подумал, взглянув на нее. Она энергично шагала по комнатам и не обращала ни малейшего внимания на заигрывания серого, сытого кота Коташки, который, таясь за ножкой стула, ждал, когда бабушка пройдет, и бросался на подол ее платья. Бабушкины темно-карие глаза метали молнии, и черные крылья ее кружевной наколки трепетали и развевались. Ваня сообразил, что это сердятся, зачем он опоздал: случилась необходимость зайти из гимназии кое-куда по самонужнейшему делу, и это заняло лишние полчаса.

Бабушка так и набросилась на вошедшего Ваню.

– А, передовой человек, милости просим, здравствуйте! – восклицала она, иронически раскланиваясь.

Ваня счел долгом обидеться на неуважительное обращение со словами, выражающими почтенное понятие.

– Лучше быть передовым человеком, чем задовым, – немедленно же и с достоинством отрезал он.

– Прекрасно! – с сердитым смехом воскликнула бабушка. – Очень прилично! Что же, это я, по-вашему, задовой человек? Как это мило! Продолжайте.

– Что ж мне продолжать! – запальчиво отвечал Ваня. – Если вы считаете, что постыдно быть передовым, значит, вы сами хотите быть задовым человеком.

– Хорошо, хорошо, – говорила бабушка, принимаясь расхаживать по комнате. – На дерзости вы все мастера, а еще материно молоко на губах не обсохло. Недоучки желтогубые, туда же суются учить всех!

Ваня жестоко покраснел; он не выносил намеков на свои годы.

– Возраст здесь ни при чем, – заявил он решительным голосом и с вызывающим видом посмотрел на бабушку.

– Нет, при чем, при чем! – закричала бабушка, приходя в сильное раздражение и опять наступая на Ваню. – Вы сперва научитесь хлеб зарабатывать, а потом уже пофыркивайте.

– Г-м, да, вот что! – пробормотал Ваня, делая чрезвычайно саркастическое лицо:

– В мои лета не должно сметь

Свое суждение иметь.

Ваня имел пристрастие к литературным цитатам, заимствованное им у бабушки; но старуха эти цитаты всегда толковала по-своему. Она сердито говорила, расхаживая из угла в угол:

– Да, мы, старики, не должны своего суждения иметь; так, по-вашему, должно быть, выходит. Только вы, господа недоучки, можете обо всех судить и рядить с плеча, – как же, министры какие, подумаешь!

– Да я совсем не то говорю, вы меня не так поняли, – пробовал оправдаться Ваня.

Но бабушка волновалась и кипела.

– Где уж мне, старой дуре, понимать таких умников! У вас ведь все по-своему, по-новому: что мое, то мое, а что твое, то тоже мое, – так ведь у вас говорится.

Прекрасные правила!

– Это вот вы все по-своему перевертываете, – с досадой возражал Ваня. – Никто таких глупостей не говорил, и социалисты вовсе не того желают.

– Социалисты! – презрительно протянула бабушка и посмотрела на Ваню прищуренными глазами – Переवेशать бы их всех, этих социалистов, да и друзей их заодно, от Петербурга до Москвы на всех деревьях по десяти на каждое.

– Бодливой корове бог рог не дает! – тихо молвил Ваня дрожащим от негодования голосом.

– Нет, уж лучше ты, батюшка, – опять накинулась бабушка на Ваню, – завиральные идеи брось, а то с ними далеко уйдешь. Незнайка-то себе лежит на печи, а знайка по Владимирке бежит, вот оно что.

Ваня усмехнулся.

«Ведь как все пословицы и примеры коверкает на свой лад», – подумал он и не мог удержаться, чтобы не заметить:

– Завиральные идеи – совсем не в таком смысле у Грибоедова сказано.

– Ну, уж я стара стала учиться по-вашему, – с раздражением говорила бабушка, вставляя папиросу в деревянный мундштук и закуривая ее. – Мы попросту учились. В наше время сходок не было, и уши выше лба не росли. В наше время мальчишки писем не получали бог весть от кого, да на сходки не бегали. Вот заберут на сходке-то вас всех, недоучек желтогубых, да и засадят. То-то будет радость родителям! Ну, да ведь нынче родители – что!

Бабушка скрыла огорченное лицо в густых клубках табачного дыма.

– Какие там сходки! – угрюмо сказал Ваня. – Отчего же нельзя от товарищей получать письма?

– Нынче о родителях вот как рассуждают, – продолжала бабушка, не устаивая его ответом – Я, мол, не виноват, что ты меня родила; а если бы я тебя родила, то я бы твоя мать была. Вот вы как нынче рассуждаете.

### II

Ваня призадумался и перестал спорить. Вчера он, точно, получил письмо. Вопрос: прочли его или нет? Еще в гимназии сегодня утром он вспомнил, что имел неосторожность забыть это письмо дома. Теперь он еще не успел удостовериться, лежит ли оно на месте. Спрятано оно довольно хорошо, но, может быть, искали и нашли. Положим, если бы прочли его, то поняли бы, что дело идет вовсе не о сходке. А и то может быть, что прочесть – прочли, а поняли по-своему, уж очень нелепо и навыворот, «по своей всегдашней глупости», как мысленно выражался теперь Ваня.

Конечно, он раньше не замечал за матерью и бабушкой «таких подлостей» (опять его мысленные слова), подсматривая за ним и шареня в его бумагах, но все-таки сердце его было беспокойно. Кто их знает, очень уж они нынче с чего-то кипятятся; притом же, как ни оправдывай содержание письма относительно затеянной будто бы где-то сходки, а все же он счел бы большой неприятностью, если бы это письмо стало им известно.

Замолчала и бабушка и ходила по комнате, распуская за собой дымовые струи и презрительно посматривая на мальчика.

Ваня подошел к окну и тупо глядел на улицу. Темнело быстро. Он, впрочем, и не старался рассмотреть что-нибудь; торопливая побежка немногочисленных прохожих на противоположном тротуаре теперь нисколько не занимала его.

Воинственный пыл его сменился жуткой тоской. Сердце ныло в его груди, хотелось плакать: он чувствовал себя одиноким, непонятым. Гордое сознание своей правоты, – что в нем! От него становилось еще хуже: оно вливалось в его тоску отраву безнадежности. Если бы он был неправ, это было бы гораздо лучше! Тогда он решился бы исправиться и теперь надеялся бы, что все забудется, обойдется,

Повести и рассказы. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru  
«перемелется – мука будет». Но он твердо знает, что прав. Он борется с закоренелыми предрассудками своих домашних. Эта борьба страшно трудна и тягостна его кроткому сердцу, которое так жаждет любви и ласки, и только не умеет, гордое, ласкаться к людям, и даже стыдится чувствительности.

Пришла Ванина мать, робкая пожилая женщина в сереньком платье, зажгли огонь, сели у окна в ожидании обеда и тихо разговаривали. Потом скоро мать снова ушла.

### III

Подали, наконец, и обед, а Ваня все стоял у своего окна и хмуро глядел на улицу. Гремя стула, который кто-то двигал по полу, заставило его обернуться. Бабушка тащила к столу тяжелый стул, на котором обыкновенно обедала и который сегодня стоял у стены. Grimаса усилия на ее лице смешивалась с выражением крайнего негодования и самой исступленной злости. Матери еще не было в комнате. Ваня не успел оказать бабушке услугу, и она сама тащила свой стул.

«Вот до чего я доведена!» – так и кричала каждая черточка ее лица; каждая складка черного платья содрогалась от негодования.

Ваня бросился на помощь, но слишком поздно, – стул уже был водворен на место, и Ваня за свое запоздалое усердие получил только толчок по плечу спинкой стула, когда он, таяко брякнув задними ножками, грузно уставился перед столом. Совершенно уничтоженный, Ваня сел на свое место. Мать, – она только что вошла, – поглядела на Ваню маленькими серыми глазами, как на преступника, с укоризной и с ужасом. Потом она приняла кроткий вид, вздохнула и принялась разливать суп. Бабушка не глядела на Ваню и грозно молчала.

– Мог бы, я думаю, стул подать бабушке, – заговорила мать, подавая Ване тарелку.

– Где уж нам с тобой ждать, Варенька! – злобно возражала бабушка, – скоро он нас бить станет.

– Что это будет, что будет! – вздохнула мать, и ее старенькое и маленькое лицо стало озабоченным.

– Да, к хорошему мы идем!

Бабушка молча съела свой суп и потом опять сердито заговорила, обращаясь к Ване:

– И чего они хотят? Нет, вы скажите мне, чего им нужно?

Ему вообще не очень-то нравился этот вопрос, потому что он и сам не совсем еще ясно понимал кое-что. Например, он очень страдал от того, что не читал еще Писарева. Поэтому перед некоторыми товарищами ему приходилось пасовать. А на днях так он и совсем срезался: оказалось, что есть еще Чернышевский, а такого он даже имени не слышал, и знающие товарищи его пристыдили, – как же можно не знать!

– Вот как, все знают, только мы, старые дуры, не знаем! – насмешливо сказала бабушка.

– Надо, чтоб никого не обижали, – объяснил Ваня.

Бабушка продолжала допрашивать Ваню:

– Ну, отчего же они не выдут прямо, да и не скажут: вот чего мы хотим? Зачем же они подпольно действуют, коли они такие хорошие?

– Если они откроются, их и повесят, и ничего не будет, – волнуясь и краснея, говорил Ваня.

– Ну, так и ты тоже хочешь с ними? – заговорила мать с отчаянием в голосе. – Также в подпольные записался? Для того и на сходки к ним бегаешь?

– Ни на какие сходки я не хожу, с чего вы это взяли! – ворчливо говорил Ваня, с презрением поглядывая на макароны, которые были принесены после супа и теперь лежали на его тарелке.

«Опять эти слизкие сосульки», – досадливо думал он, и, не разрезывая, захватил целую макарону губами, и стал всасывать ее в рот.

Бабушка этого не любила, но теперь почти не заметила. Она закричала:

– Как ни на какие сходки не ходишь! А вчера вечером где изволил быть? А сегодня после гимназии?

– У больного товарища!

«Тебе-то что за дело», – кончил Ваня мысленно.

«Назло» им, хотя макароны были достаточно посолены, он подвинул к себе солонку, запустил туда пальцы и бросил щепотку соли на свои макароны. Тотчас же он подумал:

«И так гадость, а теперь как я буду их глотать?»

Такого неприличия бабушка уже не могла вынести.

– Постыдись! Точно Иуда Хриstopродавец! – укоризненно воскликнула она.

– Хорошо, вы Евангелие читали! – возразил Ваня.

– Что такое? – внушительно переспросила бабушка.

А мать только вздохнула удрученно и покачала своей серенькой головой.

Помолчали. Ване бы не следовало возобновлять спора, но он не утерпел и опять начал спорить:

– Там вовсе не про Иуду говорится, что хлеб в солонку обмакнул.

– Ну, извините, от старости забывать стала.

– Вот вы забыли, что прежде сами Трепова ругали, а теперь, как в него Засулич выстрелила, так вы его и хвалить стали.

Бабушка вскипятилась.

– Когда я его ругала? – гневно спрашивала она.

Ваня продолжал запальчиво:

– Да вы и всех ругали, и за то, что от помещиков крестьян отняли, и за новые суды, и за все.

– Да, – злорадно сказала бабушка, – вот вам новые суды и отличились.

– Ну, так вот, – с заносчивостью уличающего говорил Ваня, – вы и ругали прежде правительство; а теперь-то вам чего же волноваться?

– Ты врешь, дерзкий мальчишка! – запальчиво крикнула бабушка, устремляя на Ваню сверкающий взор.

– Нет, я не вру! – резко ответил Ваня.

– Что ж, я, по-твоему, вру?

– Не я вру! – отрезал Ваня и тотчас же сообразил, что этого не следовало говорить.

Да он, кажется, и не хотел ничего такого сказать; просто хотел повторить: я не вру, да впопыхах не то вышло.

– Покорно благодарю! – с ироническим поклоном сказала бабушка и мрачно принялась за свой кофе.

Ваня молчал. Мать вдруг вся покраснела, задрожала и сказала взволнованным голосом:

– Нет, уж это тебе так не сойдет. Наговорил дерзостей, обругал всех, да гоголем сидишь. Проси у бабушки прощенья!

Ваня упрямо молчал. Помолчала и мать.

– Слышишь ты, что я говорю? – спросила она, постукивая по скатерти кусочком сахара. – Сейчас же проси прощенья, говорят тебе!

– Никаких дерзостей я не говорил.

– Ну, хорошо, – сейчас же я тебя высеку.

В стакане на поверхности кофе Ваня увидел свое, мгновенно покрасневшее до синевы, лицо. Он чувствовал, как у него краснеют уши, шея и даже плечи. Это было совсем ново. Так с ним давно не говорили. Ваня имел определенный взгляд на «подобные проявления родительского деспотизма относительно детей». Себя к детям он не причислял, – но тем, конечно, возмутительнее угроза!

– Вы докажете этим только вашу дикость, – проговорил он трепещущими губами.

Сливочник сочувственно вздрагивал в Ваниной руке, но Ваня успел-таки выловить, почти машинально, кусок пенки.

– Так только в старину, при крепостном праве поступали, а теперь это пора оставить.

– Ну вот ты поругаешься еще, подожди немного, – быстрым говорком ответила мать, постукивая ложечкой по блюдечку.

В досаде и в смущении отвернулся Ваня к стене и с трудом глотал кофе. Пенка пристала к стеклу, но он забыл о ней и не заботился смыть ее кофейной волной, чтобы заодно отправить в рот.

– Глядит на стену, – узоры какие на ней нашел! – со злым смехом проговорила бабушка.

– Это уж у него злобная привычка такая, – объяснила мать: – Мы недостойны, чтобы он глядел на нас.

Ваня поставил стакан на стол, – пенка так и осталась, облипши на краю стекла. По обыкновению, он подошел поблагодарить обеих. Ему не дали сделать обычных поцелуев, и он должен был поблагодарить так, – «всухомятку», пронеслось в его голове.

– Вперед чтобы писем не было и чтоб по вечерам Бог знает куда не шляться, – решительно приказала бабушка.

– Я не шляюсь, я хожу гулять, а письма получаю от товарищей и пишу им же, – дрожащим голосом отвечал Ваня.

– И никаких писем не надо!

– Нет, надо!

– Слышишь, чтоб не было писем!

– Нет, будут!

– Будут, будут? Это почему? – крикнула бабушка.

– Потому, что я так хочу!

Бабушка злобно хохотала.

«Ишь ломается!» – подумал Ваня.

Мать закричала обиженным голосом:

– Да как ты смеешь так разговаривать! Нет, видно, одно осталось: сечь и сечь. Марш в свою комнату и жди там.

IV

Ваня стремительно выбежал из столовой и бросился в свою комнату. Сердце спешило биться.

«Пульс-то, пожалуй, теперь сто двадцать будет», – почему-то подумал Ваня, подбегая к своему столу.

Поспешно выдвинул он ящик. Перочинный ножик в белой костяной оправе бросился в глаза, хоть и лежал в стороне, полуприкрытый бумагами. Он не помнил отчетливо, зачем ему нужен ножик, но знал, что именно это нужно. Ваня взял его с чувством горестного недоумения. Жалкая улыбка пробежала по его пересохшим губам. Он торопился. Дрожщими, неловкими от волнения, жаркими пальцами оттянул он и выпрямил лезвие.

«Недавно наточено», – подумал Ваня.

Лезвие блеснуло. Ваня быстро подошел к зеркалу, висевшему рядом с окном. Неверный сумеречный свет падал из окна прямо на Ванино лицо, а зеркало было в тени. На Ваню из темного зеркала глянуло словно чужое, злобное лицо с перекосившимся ртом. Ваня поднял ножик и приставил его концом к горлу с левой стороны.

«Как только войдут», – подумал Ваня и прислушался. Но пока еще никто не шел, и Ваня глядел в зеркало со злобой и отчаянием. В эти минуты ни одно отрадное воспоминание не мелькнуло в голове. Обрывки злых и страшных мыслей сплетались в нелепые вереницы, и с каждым ударом торопливого сердца ударялось в голову, как молот, безусловно-повелительное представление о том, что он неизбежно сделает, когда войдут. Поднявши нож правой рукой, Ваня левой расстегнул пуговицы и обдернул курточку и рубашку книзу. Шея, белая и тонкая, с синеватыми жилками, обнажилась; Ваня поднял голову и слегка провел ножом по тому месту, где будет разрез.

«Так! – сказал он себе и поставил нож на прежнее место. – Надо сразу, с силой, глубоко ткнуть и сейчас же, как можно сильнее, дернуть вправо», – сообразил он и опять прислушался.

Все еще было тихо.

Он передал нож в левую руку, а правой, сжатой в кулак, – как и раньше, когда в ней был нож, – быстро и сильно сделал то движение, которое надо будет сделать тогда с ножом.

«Так! – еще раз сказал он про себя. – Только надо отнести руку подальше», – и он еще раз повторил то же движение с большим размахом.

«Надо бы шведский, – острее, сильнее, да уж некогда искать, – да и все равно».

V

В соседней комнате раздались шаги. Нож мгновенно очутился на своем месте, в правой руке, сжатой в кулак, против назначенного ему места. Ваня стоял, напряженно закинув голову назад и немного вправо. Полные ненавистью и отчаянием глядели на него из зеркала полуприкрытые злые глаза безумного мальчика, который сделает то, чего назвать не хочет Ваня, да, может быть, и не умеет.

«Но чего же не идут?»

Там, рядом, сейчас ходили, теперь ушли. Часы начали бить. Где-то зашумели стулом. Слышен разговор, – далекий, одни только звуки.

Ваня опустил нож, повернулся к двери, постоял немного, потом пошел тихонько, сжимая нож в руке и придерживая другой расстегнутый ворот, осторожно отворил свою дверь и остановился на пороге. Было темно; в следующей комнате, столовой,

Повести и рассказы. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru  
куда дверь была закрыта, горел огонь: он выдавал себя в узкую щель внизу двери. Осторожно, на цыпочках, Ваня подошел к этой двери. Говорили о нем.

– И где у него письмо это спрятано? – озабоченно рассуждала мать.

«Ага, не нашли», – радостно подумал Ваня.

– Следить за ним, следить хорошенько надо, – авторитетно говорила бабушка.

«Много выследишь, гриб старый», – подумал Ваня, застегивая курточку.

– Право, высечь бы хорошенько, – стал бы шелковым, – отчаянным голосом сказала мать.

– Нет, Варенька, нельзя, – возразила бабушка. – Вот у них дух какой! Ему внушат товарищи, что это он за правду пострадал, а нас в газетах пропечатают. Да и что с ним потом поделаешь: ожесточится, совсем от рук отобьется, подожжет, пожалуй, или убьет нас, старух.

Мать заплакала.

– Господи, Господи, за что такое наказание! Вот дети, – расти их, заботься, а вот благодарность: одно горе.

– Что делать, Варенька, надо терпеть да следить хорошенько. Пострадать можно, – авось будет бояться.

VI

Ваня тихо ушел к себе. Ему вдруг стало стыдно, что он подслушивает. «Ну так что ж! – тотчас же оправдался он перед собой. – Зачем же они точно заговорщики! Однако струсили! Эх, бабы!»

Ваня презрительно улыбнулся и швырнул нож на прежнее место.

«Да и я дурака свалял».

Ваня зажег лампу и подошел к зеркалу. Оттуда мальчик с раскрасневшимся и застыдившимся лицом печально улыбнулся ему, высунул язык и сказал:

– Иди, учи уроки.

«И стоило за нож хвататься! – думал Ваня, разбирая тетради. – Если бы и так, что за беда? Многие хорошие люди терпели безвинно. Разве оттого, что меня прибьют какие-то обскуранты, я могу лишиться общество своей полезной силы? Надо шире смотреть на вещи. Страдать за убеждения – не постыдно. Это для них было бы стыдно. И зачем у них такие мысли? Все эта старая ворона расстраивает маму: подожгу, убью. Это уж подло так думать. Лучше бы уж высекли. И за что? Что я им сделал? Нет, вперед не буду горячиться с ними. Буду молчать и презирать их отсталость».

Успокоив себя такими рассуждениями, Ваня решил заняться уроками, открыл тетрадь, взял перо, потом вдруг бросил его на стол, подбежал к своей кровати и, уткнув голову в подушку, совершенно неожиданно для себя горько заплакал, всхлипывая, как мальчик.

«За что? За что? Что я им сделал?» – в тоске повторял он.

Глупый мальчуган не мог еще понять, что он сделал тем, которые тоже томилась, глядя на его задор и неожиданную грубость.

Ничего не вышло

I

Сидели мы вечерком на балконе дачки Ивана Степаныча Молодилова, попивали чаек с ромом, и слушали хозяина. В карты не играли. Недурно было бы перекинуться на чистом воздухе, под березками, да уж такая компания подобралась, что никакой игры не вышло. Хозяин наш был говорун, вот мы его и слушали, а он рассказывал нам разные случаи, покручивая свои длинные сивые усы, да сверкая черными, еще зоркими глазами. Он говорил:



– Я – человек русский: я там разных этаких экивоков не понимаю, а по-моему, – задумал дело, и делай, а на попятный двор ни-ни!

– Само собой, – подтвердил плотный сангвиник Сабельников, – хватай быка прямо за рога!

– Именно так, за рога. Да вот я вам расскажу несколько случаев из моей жизни, так вы сами увидите, как мы умели обдывать делишки.

Иван Степаныч призадумался, вытер лысую голову красным платком, и стал рассказывать:

– Выло это в эпоху невинного отрочества. Славное было времечко! Пороли, как сидорову корову, а все-таки, не без приятности бывало.

– Воображаю! – проворчал желчный Ежевикин. Хозяин строго взглянул на него, и продолжал:

– Учился я в Кипрейском кадетском корпусе. Знаменитое было заведение, на всю Россию славилось. Ну и точно, там были мастера своего дела, и директор, да и прочее начальство. И никак ты к ним не приспособишься, – по глазам, шельмецы, видят, чуть что не так, ну и сейчас, известное дело...

– Законное возмездие? – подсказал, подмигивал хозяину, Сабельников.

– Вот именно. Кормили при этом так, что вспомнить не хочется. Но больше всего насолил нам один из учителей, – и не из важных, молоденький: ядовитый был такой, что не приведи Господи. Вызубришь ему урок на совесть, а нет таки, собьет, хоть ты что хочешь! И залепит нуль. Так он аппетитно нуль закручивал, точно рюмку водки выпьет.

– Скотина! – проворчал Ежевикин.

– А чем он больше всего донимал, – продолжал Молодилов, – так это своею тихостью: говорит, каналья, ласково, голоса никогда не возвысит, а после его урока, глядишь, пятерых, не то десятерых из нас выдерут. Ну, мы терпели, терпели, да и решили взбунтоваться. Признаться сказать, зачинщиком-то был я. Ну-с, мы и порешили, на следующем же уроке двери припереть поплотнее, и его, протоканалью, избить на славу. Все, как следует, приготовили, даже репетичку сделали, и ждем. Наступил назначенный час. Сидим мы, можете себе представить, бледные, решительные, на дверь уставились, стало так тихо, как еще никогда не бывало. И вот в коридоре, слышим мы, идет он, – его походочка, легонькая такая. Мы все, поварите ли, дрожим, у всех кулаки сжаты, – вы понимаете, у всех накалило. Вошел он, – фертик этакий, улыбается, сам маленький, фрячек аккуратненький, – мы все в ту же минуту вскочили на ноги, как один человек.

Иван Степаныч остановился и обвел нас гневным взглядом.

– Что ж дальше? – нетерпеливо закричали мы.

– Ну-с, и представьте себе, – воскликнул Иван Степаныч, подымаясь с кресла, и выпрямляясь во весь свой богатырский рост – вскочили мы...

– Ну, ну, – торопил рассказчика любопытный юнец Лабазников, не в меру суетливый.

Иван Степаныч сердито взглянул на него, и с ожесточением сказал:

– Ну, и ничего не вышло. Струсил, мерзавцы!

И Молодилов ударил кулаком по деревянной балюстраде балкона, сердито сплюнул в сад, и уселся поудобнее в свое кресло.

Мы переглянулись, – и расхохотались.

## II

– А то еще вот что было, – рассказывал Иван Степаныч. – Прослужил я несколько лет, и надумал жениться. Ну, я долго думать не люблю, – задумано, сделано. Я и

Повести и рассказы. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru  
под старость такой, а тогда и тем паче, – кровь-то молодая, горячая, сами знаете.

– Как не знать! – весело сказал Сабельников.

– Стояли мы с полком в городе Бедренце, – пустой городишка, никакой в нем значительности нет. Не знаю, может быть, теперь там что, а тогда совсем было захолустье. Но, однако, невест было достаточно. Вот выбрал я себе одну барышню, Леночку Ручейникову: и сама девица была во всех статьях авантажна, да и прилагательным Бог не обидел.

– Это – главное? – спросил Ежевикин.

– Само собой! а то как же! Ну, я такой человек, – ухаживать там, канителиться, – это не по моей части, – я по-русски, по-простецки решился действовать. Примундирился, припарадился, да и поехал делать предложение. Приехал это я к ним, и думаю сам с собой, с кого тут начать, с папеньки да маменьки, или с девицы. Ба! думаю, – ведь мне не с папенькой да маменькой жить, а с девицей, с неё, значит, и начинать надо. Правильно ли я говорю?

– Совершенно правильно, – единогласно одобрили мы.

– Подхожу я к девице, и без всяких затейливых фигур прямо ей так-таки и брякнул: Осчастливьте, сударыня, будьте моей женою. Ну, и что-же, представьте, – ничего не вышло! Оказалось, что она уже помолвлена с каким-то штафиркой.

Мы засмеялись.

– Смейтесь, смейтесь, – с неудовольствием сказал

Иван Степаныч, – а я зато отделался без всяких этаких финтиклюшек, бильедушек, да рандевушек. Скоро и хорошо.

### III

– А то еще такой казус был. Был уже я в отставке, и проживал в городе жабрице, – уездный городишко не из важных. Одолели нас купцы, за все дерут втридорога, конкуренции никакой. А слышим мы, в других местах потребительные общества заводятся. Собрались мы, потолковали. Только я вижу, дело тянут, а я мямлить не люблю, я живо, по-русски. Выписал я из Питера штуки три уставов этих самых, подобрал человек пять таких же незеваек, как я сам, засели мы за работу, уставчик склеили, и пригласили других сообща обсудить. Ну, само собой, на новинку многие пошли, собралось под сотню желающих всякого звания людей. Было у нас заседаний пять, устав рассмотрели досконально, переписали набело, подписались и послали, куда надо.

– А много ли вас осталось на последнем-то заседании? – спросил Ежевикин.

– Осталось нас не очень много, а все-таки подписали устав тридцать два человека с росчерком.

– Это как с росчерком? – полюбопытствовал Сабельников, улыбаясь сочными губами.

– А это был у нас чиновник акцизный, он так расписывался всегда, – сперва росчерк фигуристый, а потом фамилию влепит, да так, что сам чорт не разберет, где начало, где конец. Мастак был на это. Ну, вот, сделал он росчерк, а сам струсил. Нет, говорит, я подожду, мне, говорит, неудобно, я, говорит, все же по бандерольной части; как бы за это сверху не влетало. Так один росчерк и остался. Ну, ничего, мы отправили, – вышло в роде того, что это верхний залихватски расчеркнулся. Нас долго не томили, – прошло годика два с небольшим, устав мы получили обратно, и пишут нам: так-то и так-то надо изменить, сообразно с местными условиями. Мы снова собрались, изменили, что велено, переписали, подписали и послали.

– А сколько было вас тогда? – спросил Ежевикин.

– Было нас весьма достаточное число: двадцать три человека, – из старых девять, да новых четырнадцать.

– Недурно! – воскликнул Ежевикин.

– Ну что ж такое! Кто умер, кого перевели, кому некогда было. Вот послали мы, и ждем. Дождались, – через три года прислали нам устав, уже совсем утвержденный. Мы ликуем. Соорудили выпивку такую, что потом в неделю еле очухались, а там и собрались. Привалило тридцать девять человек, да еще сомнительных сотни полторы, посмотреть. А после, говорят, и мы примкнем. Выбрали распорядителей, казначея. И вижу я, попал в казначеи такой господин, которому я носового платка не доверил бы. Как это вам понравится? Но я молчу, – выбран законно, воля большинства, – тут нечего растабарывать. Однако, думаю себе: нет, такому господину я постерегусь свои деньги, свой пай давать. Ну, и представьте себе, из всего этого нашего общества...

– Ничего не вышло, – перебил Ежевикин.

– Именно так. Удалось этому господину собрать три пая, да и те он в тот же вечер пропил, – а другие уж не давали денег. Распорядители было туда, сюда, – давайте, говорят, господа, другого казначея выберем. Но только все отмахиваются: в своем-то, мол, кармане денежки целее будут, авось.

– А вы, Иван Степаныч? – спросил Сабельников.

– А уж я отстранился. Если они не знают, кого выбирать, то и наплевать. Помилуйте, я для них трудился, распинался, хлопотал, а они выбирают не меня, а какого-то, извините за выражение, прохвоста! Сами и виноваты, – без меня у них ничего не вышло.

#### Превращения

##### I. С книгой и книжкой

Помню, – нас, детей, нисколько не удивляло двойственное поведение старика, Ивана Петровича. Мы уже применились и знали, как быть, когда дедушка с книгой и когда он с книжкой.

Случалось, в праздничный вечер, уже когда мы наиграемся вдоволь и уже из маленьких кое-кто готов раскапризничаться, приходил к нам дедушка Иван Петрович с громадной книжицей в толстом переплете с тяжелыми застежками. На дедушке был надет черный длинный сюртук, черный галстук, – а сам дедушка был сухой и строгий.

Дедушка вынимал из футляра серебряные очки, надевал их медленно и важно, – словно это был знак особого достоинства, – раскрывал свою книжицу на столе в столовой и громко говорил:

– Дети, успокойтесь! Послушайте!

Тогда мы, дети, собирались и чинно рассаживались вокруг стола. Важные и простодушные рассказы читал нам дедушка, исполненные непонятного смысла и высокой поучительности. Мы слушали, иногда дремали и отходили ко сну с утихомиренными душами.

Иногда приходил к нам Иван Петрович днем в праздник, одетый в легкий серенький пиджачок, с сереньким или пестрым галстучком на шее. В руке он держал маленькую книжку, без переплета, с поотрепавшимися у страниц краями. Дедушка улыбался, – все морщинки на его лице дрожали от сдержанного смеха.

С шумными криками мы, дети, окружали старичка, – и то-то было смеху и радости! Веселые истории, забавные игры, замысловатые загадки, – чего-чего не было в маленькой книжечке!

Быстро пролетал час, другой, – Иван Петрович уходил, радостная, благодарная толпа ребят провожала его, любовно поглядывая на его доброе, морщинистое, но румяное лицо, в его живые, веселые, совсем еще молодые глаза.

И долго потом вспоминалась детям книжечка.

##### II. Учитель и конторщик

Андрей Никитич Шагалов, учитель сельской школы, молодой человек, степенный и добродетельный, хотя и холостой, одевался всегда чистенько, прилично званию и

Повести и рассказы. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru  
положению. Держал себя с достоинством. Любил бывать у батюшки, законоучителя его школы, – и ни разу не ссорился с ним. Нередко заходил к местному земскому фельдшеру, уряднику, волостному писарю и старшине. Каждому оказывал должное почтение и на свою долю получал достаточно такого же. Не гнушался и простыми мужичками, но запанибрата с ними не держался.

В гостях Андрей Никитич вел себя тонко, говорил о том, что могло занимать хозяина, иногда легонечко спорил, но всегда приятно и сдержанно, и никогда не доводил спора до резких пререканий. Если собеседник упрямо говорил что-нибудь такое, с чем никак нельзя было согласиться, Андрей Никитич умел шуточкой или иным ловким оборотом переменить предмет беседы.

Случалось Андрею Никитичу бывать и у местного помещика, отставного действительного статского советника Палицына. И там Андрей Никитич поддерживал себя на должной высоте, приходил в крахмалах, здоровался за руку, был умеренно почтителен и долго не засиживался.

– Заходите, Андрей Никитич, – говорил ему, пожимая на прощанье руку, господин Палицын.

Андрей Никитич вежливо благодарил.

– Покорно благодарю, Владимир Алексеевич, – говорил он, – сочту непременно долгом.

Приятно осклаблялся, уходил и по дороге домой весело помахивал тонкой тросточкой, как человек, довольный судьбой.

Кончались по весне занятия в школе. На лето помещик нанимал лишнего приказчика. Приглашали всегда Андрея Никитича.

Уже он надевал не крахмалы, а чистую вышитую рубашку под пиджак, высокие сапоги и являлся в контору. Барину докладывали. Немного, – но и не мало, – погодя звали учителя в кабинет. Шагалов входил, кланялся низенько, останавливался у порога и легонечко покашливал в руку из скромности. И уже он не осклаблялся, как бывало зимой. Барин слегка кивал ему головой и не вставал с кресла у письменного стола.

– Э... ну что ж, – говорил он с растяжкой, – нам, того... долго разговаривать нечего, – э... по-прошлогоднему?

– Так точно, ваше превосходительство, – отвечал Шагалов, и звук его голоса, и вся его фигура олицетворяли почтительность.

– Так уж ты, Андрей, старайся, – увереннее и быстрее говорил барин, – а ежели я... э... сгоряча скажу что-нибудь... э... лишнее, так уж ты, того, не взыщи.

– Помилуйте, ваше превосходительство, уж это само собой, как же-с иначе, – почтительно говорил Шагалов.

– Ну да, я знаю, ты это понимаешь, – продолжал барин, – со своим приказчиком я не могу нежности разговаривать. Э... там зимой, мы и на вы, и за руку, и все такое, а теперь мне, э... приказчик нужен, дело делать, а не... э... миндальничать.

– Уж я это понимаю, ваше превосходительство, – уверял Шагалов, – уж вы меня знаете, останетесь довольны, не извольте беспокоиться.

Так начиналась летняя служба учителя Шагалова. Барин говорил ему ты, называл Андреем, а иногда, под горячую руку, ругал скотиной и грозил заехать в морду.

Зато платил хорошо, – и не затягивал, – семьдесят пять рублей в лето – деньги!

III. С учеником и с гостем  
Инспектор гимназии кончал обед.

Звонок.

– Несет нелегкая кого-то спозаранок, – сердито проворчал инспектор.

В прихожей открыли дверь.

– Да это не гость, – сказала жена, заглядывая со своего места в полутемную прихожую, – гимназист пришел какой-то.

– Гимназист Буров, – доложила горничная.

– Проводите в кабинет, пусть подождет, – недовольным голосом сказал инспектор.

Он нарочно затянул обед.

«Не вовремя приходят, – досадливо думал он, – есть гимназия, я не каторжный».

– Надо вовремя, – сказал он, входя в кабинет. – Нельзя же во всякое время дня и ночи.

Буров, мальчик лет тринадцати, вскочил со стула, ловко шаркнул и навытяжку стал у дверей тесного кабинета. Инспектор сел в кресло, потянулся, строго оглядел гимназиста с ног до головы и сердито сказал:

– Пояс на боку.

Буров покраснел, передвинул у пояса пряжку прямо наперед и снова опустил руки.

– И что вы вахлаком стоите! Одно плечо выше, носки вместе, – тихо говорил инспектор, преувеличивая недостатки в стоянии мальчика.

Буров старательно поправился. Инспектор вздохнул, еще раз потянулся и спросил с сухой, служебной вежливостью:

– Чем могу служить?

Но тотчас же сказал желчно:

– Разве вы не могли в гимназии!

– Извините, Петр Иванович, – сказал Буров, – я не знал, мама...

Инспектор перебил его.

– Чем могу служить? – резко спросил он.

Буров быстро и отчетливо сказал тоном служебного доклада, как маленький, но уже отлично вымуштрованный чиновник:

– На воскресенье и два праздника позвольте мне, Петр Иванович, уехать с мамой в имение и не быть в гимназии в церкви.

– К классному наставнику надо, – сердито сказал инспектор, – порядка не знаете. Вы бы еще разлетелись к директору!

– Разрешите вы, Петр Иванович, – просил Буров, – все равно к Николаю Алексеевичу далеко, а мы сегодня хотим уехать.

– Можете, – сухо сказал инспектор. – Больше ничего не надо?

Буров шаркнул ногой, поблагодарил, перестал вытягиваться, – даже руку на пояс положил, – и сказал совсем другим, домашним тоном:

– Мама велела просить вас, Петр Иванович, приехать к нам на эти дни погостить.

Инспектор улыбнулся.

– Ну, уж это дело частное, – сказал он, – садитесь, Сережа, гостем будете.

Мальчик опять шаркнул, сел на кушетку, рядом с инспектором, локоть положил на валик, ноги поместил поудобнее.

– Скажите вашей маме, – начал было инспектор.

Сереза перебил его:

– И Анну Владимировну с детьми мама просит.

– Ну, – сказал инспектор, – уж это надо у них спросить, пойдёмте.

Он взял Серезу за плечи и повел его к жене.

#### IV. В сапогах и босиком

Петя Горнилов, дьячков сын, обучался в городском училище. Много шалил, но учился бойко, – шустрый паренек. Держался развязно. Учителю на улице кланялся почтительно, но с достоинством и здоровался за руку, так как учитель водил знакомство с его отцом.

В классе Петя учителю не очень-то уступал, – не давал ему себя слишком притеснять. Если за шалости Петю посылали в угол или ставили на колени, – он становился неохотно, долго оправдывался, спорил даже, случалось, дерзил.

О себе думал Петя высоко. Читал он книжки, – и старался выбирать те, что для взрослых. Хотел учиться дальше и выучиться настолько, чтобы получать хорошее жалованье, больше, чем отец, и жить лучше отца, например, как учителя живут.

Настала весна, и уже снег стаял. Утром, в неучебный день, Петя собрался удить рыбу. Он вышел из дому босой. Так он будет часто ходить, – все лето и осенью долго, пока тепло.

На улице Петя встретил учителя. Петя к сторонке, – покраснел, отошел подальше, чтобы не здороваться с учителем за руку, снял шапку, поклонился издали. Теперь, когда Петя идет босиком, он думает про себя, что еще он простой мальчишка, которому еще далеко до хорошего жалованья. Поэтому, босой, Петя скромный да смиренный, особенно вначале, пока еще ноги не загорелые.

Завтра в классе, пошли его учитель в угол хоть ни за что, Петя пойдет послушно, чувствуя в душе почтение к учителю, к его господскому положению, к его казенному жалованью и к его форменной одежде.

#### V. С подчиненным и с начальником Начальник спросил столоначальника:

– Ну, что у вас?

Замерший в почтительном склонении столоначальник робко сказал:

– Я должен доложить вашему превосходительству, что приказание, которое изволили отдать ваше превосходительство, относительно сношения с губернским правлением, не могло быть исполнено по неимению у нас достаточных...

– Это у вас обычная история, – резко прервал начальник, – надо заблаговременно. Но, пожалуйста, сократите, – я должен ехать, меня вызывают. Есть еще у вас какие-нибудь дела?

– Не особенно важные, ваше превосходительство, – если позволите, можно отложить.

– У вас, кажется, все дела не особенно важные. Ну-с, до свидания.

Протянул два пальца, – для почтительного пожатия, – подчиненному, взглянул еще раз на часы и торопливо проследовал мимо склонявшихся перед ним чиновников к подъезду.

В карете начальник чувствовал легкое волнение. Сейчас он предстанет и скажет:

– Осмелюсь доложить вашему высокопревосходительству...

А его высокопревосходительство скажет:

– В нашем департаменте, почтеннейший Павел Павлович, всегда неблагополучно.

Опять вы меня подвели. Так нельзя-с.

Начальник ответит:

– Извините великодушно, ваше высокопревосходительство, но я уже неоднократно имел честь вам докладывать...

– Ну да, знаю, – сердито прервет «особа», – вы всегда хотите быть правы. Кстати, вы сколько лет изволите быть в чине?

– Семь лет, ваше высокопревосходительство, – трепетными губами ответит начальник.

– Да-с, – задумчиво скажет его высокопревосходительство, – так что при отставке можно и в тайные. Да-с...

Его высокопревосходительство помолчит, пожует губами, вздохнет и скажет:

– Я просил вас, Павел Павлович, пожаловать собственно вот по какому делу...

Так мечтает горестно начальник, сидя в карете, и сердце его сжимается тоскливо.

Милый паж

I

В некоторой благословенной и цветущей стране, на высоких берегах у прекрасной реки, текущей с увенчанных вечным снегом южных гор к великому Северному морю, лежали обширные земли, подвластные могучему владельцу. На самой высокой скале, неприступный и господствующий над всеми окрестными путями, гордо стоял графский замок.

Уже граф был в преклонном возрасте, уже он схоронил шестерых жен, молодых и прекрасных, но бесплодных. Древний род его пресекся бы с его смертью, но судьбе угодно было восстановить, хотя и странным способом, блеск и долгоденствие во многих землях прославленного рода.

Граф был богат. Походы в земли неверных и многочисленные набеги на зарубежных близких врагов, в которых любил он в годы юности и зрелого мужества принимать участие, обогатили его многими изящными и дорогими вещами, – тканями, оружием, всякою утварью и одеждами, – и графский замок был украшен на диво пышно.

Из походов на восток вынес граф пристрастие к роскоши и красоте, к сладким винам, к ароматичным курениям и пропитанным пряностями мясам. Ласкать красавиц любил граф, и любил, чтобы взоры его ласкала красота изукрашенных стен и сводов, тонко чеканенных сосудов на пирах, и роскошных одежд на красавцах и красавицах. Только прекрасные лицом, стройные телом и ласковые в обращении отроки с приветливыми взорами удаивались высокой чести попасть в число пажей к веселому и мудрому старому графу.

Много мужественных оруженосцев, красивых пажей и усердных слуг было у графа, и все они любили своего господина, и служили ему преданно и верно, как подобает добрым слугам, душою и телом и всею крепостью сил. Верные вассалы, и жены их, и дети их исправно несли милостивому графу установленные оброки и дани. Три жирные капеллана прилежно отмаливали каждое утро графские грехи, – так как и деяния знатных господ подчинены отчасти божеским и человеческим законам.

II

В окрестной стране цвело тогда много прекрасных и юных благородных девиц, а потому старый граф, решившейся снова, как для продления рода, так и для своего собственного удовольствия, вступить в брак, невдолге избрал себе по сердцу своему в этом прелестном цветнике достойную его высоких доблестей и славного имени супругу. Та была нежная и скромная Эдвига, дочь одного из соседних баронов, девица, блистающая красотой и разумом, и обученная не только всяким, приличным знатной даме, рукоделиям, но даже и грамоте.

Эдвига была веселого нрава, любила невинный забавы и застольные шутки, и когда старый граф ввел ее к себе женою, в его древнем замке началось еще более роскошное и веселое житье. Ибо старый граф полюбил нежную Эдвигу сильнее, чем прежних жен, и весьма заботился о том, чтобы доставить ей много удовольствий и

радостей. Но так как уже телесные силы графа были в упадке, – то графиня Эдвиги скоро начала втайне скучать, и лукавые помышления вошли в её сердце. Всеми же ведь свету известно, что женщины изменчивы и коварны, и что женская верность требует тщательного присмотра.

Эдвигины взоры стали почасту и подолгу блуждать по лицам пажей, словно нужная Эдвиги искала себе утешителя. И наконец, на одном из пажей остановились желания прекрасной госпожи, при чем следует сказать, что и взыскательный к красоте граф одобрил бы графинин выбор, если бы знал, и если бы мог позволить ей измену.

Черноокий, смуглый, тонкий и ловкий паж Адельстан затмевал красотой всех окрестных юношей, подобно тому, как ясно сияющая луна затмевает свет близких к ней звезд. Уже на верхней губе его пробивался пушок, столь радующий сердце отрока, который готов почувствовать себя мужем. Черные глаза его блистали из под длинных ресниц, как в черную ночь разожженные ярко факелы, – и, осененные длинными ресницами, ярко пылали его смуглые щеки, так пылали, что ни одна из окрестных красавиц не могла глядеть на них, не мечтая о том, чтобы осыпать их поцелуями. И так как уже многие из них целовали его, лукавые, говоря, что еще он ребенок, то он приобрел привычку к любезному отхождению, и уверенность в своем превосходстве над другими юношами. И потому он так прямо и гордо держался, и так высоко поднимал свою голову, как будто бы он был королевич, – а ведь отец его был только бедный и незнатный рыцарь. Притом Адельстан умел играть на лютне, и, обладая приятным и сильным голосом, знал много романсов, в которых воспевались красавицы, а также и разных других песен.

Адельстан смотрел на графиню почтительно и нежно, но улыбался иногда так дерзко, что графиня краснела и замирала, и в улыбки прекрасного пажа открывалось ей обещание радостного рая.

Когда однажды граф уехал на несколько дней, графиня пожелала, чтобы Адельстан остался при ней в замке.

– Я этого хочу, – сказала она графу, – потому что он самый скромный из пажей, и у него глаза такие же, как у вас. Глядя на него, я буду вспоминать вас, и не стану так скучать в разлуке с вами.

Граф исполнил желание своей супруги. Он и сам любил Адельстана, и знал, что Адельстан – отрок верный ему во всем и до конца.

### III

На высокой башни замка, глядя вслед уезжающему графу, и махая в знак прощального привета своим белым платком, прекрасная Эдвиги тихо сказала Адельстану:

– Милый паж, эта ночь наша. Я хочу, чтобы ты пришел ко мне, когда ночная темнота упадет на землю, и покроет сладостным покровом и отдыхающих от трудов, и ожидающих отрадных лобзаний.

Адельстан отвечал Эдвиге:

– Милостивая графиня, сладки лобзания уст твоих, но ты принадлежишь моему и твоему господину, и если откроется наша измена, то могущественный граф сократит список моих и твоих прегрешений, вместе со счетом наших дней и с длиною наших тел.

– Граф ничего не узнает, – сказала веселая Эдвиги, – а мы проведем вместе несколько сладких ночей.

– Милостивая госпожа, – сказал Адельстан, – я дал обещание верно служить моему возлюбленному господину, и я боюсь, что изменю погублю свою душу, а потому лучше ты не соблазняй меня.

– Грех мы успеем замолить, – сказала Эдвиги, – но ты, может быть, любишь другую, красивее меня?

– Милостивая графиня, – отвечал Адельстан, – я люблю только тебя и моего господина, а на свете нет, конечно, ни в благородном, ни в простом сословии жены или деды прелестнее тебя, и с тобою лишь одна рожденная из морской пены богиня Венус могла бы сравниться красотой, но не превзойти тебя.



Эдвиг засмеялась лукаво, и спросила:

– Милый паж, изведаль ли ты радости любви? Восходил ли ты на ложе к женам или к девам?

Адельстан из скромности потупил взоры, и ответил Эдвиге так:

– Нет, милостивая госпожа, на ложе к женам и к девам я не восходил.

И на это Эдвиг сказала:

– Милый паж, как-же ты отказываешься от того, чего не знаешь? Приди ко мне, и ты увидишь, что игра столь нужная не может обременить совесть. Я обнажу перед тобою свое тело, я положу тебя на свое ложе, я научу тебя всем приятным забавам любви.

И Адельстан не знал, что ответить. В блистающих глазах его загорался тусклый огонь желания, и багряная краска стыда покрыла его смуглые щеки, отчего он сделался еще желаннее для юной Эдвиги.

Но напрасно в эту ночь прелестная Эдвиг ожидала Адельстана, – открыв двери в свою опочивальню, удалив своих служанок, лежала она знойная от желаний, и нетерпеливыми взорами пронзала ночную темноту. Каждое легкое шуршание тканей, и каждый звук, столь обычный в ночной тишине, возникающей по неведомой причине – ибо ночью совершается многое, чего мы не можем знать, – каждый звук нужной Эдвиге казался шорохом крадущихся ног Адельстана.

И много раз Эдвиг поспешала к дверям, чтобы ласково встретить и ободрить робко-медлящего отрока, – и каждый раз напрасно.

IV

Утомленная бессонною ночью, распаленная неисполненными желаниями, на другой день позвала Эдвиг в свои покои Адельстана, осыпала его жестокими упреками, била его по щекам, царапала и щипала его.

Покорно перетерпев её неистовство, хотя и пролив при этом немало слез, Адельстан сказал ей:

– Милостивая госпожа, я должен пребыть верен моему господину, ты же задумала гнусное и непотребное дело. Если мы сотворим по твоему мерзкому желанно, погибнем мы оба лютою смертью от руки палача, и проклятые демоны утащат наши души прямо в ад, в неугасающий огонь, в кипящую вечно смолу.

– Милый паж, – сказала графиня, – да разве за нас некому помолиться? И на то ли оставил тебя граф со мною, чтобы ты оказывал неповиновение госпоже? Вот, и сам ты, глупый мальчик, не насладился, и меня тяжкими в эту ночь измучил муками, и еще устала я, нанося тебе заслуженные тобою удары. Не могу я больше выносить такие муки и труды, – приди ко мне в эту ночь, а если не придешь, то завтра я подвергну тебя жестоким истязаниям.

Ничего не ответил Адельстан.

Но и в эту ночь Эдвиг напрасно ожидала его.

V

На другое утро ходила она по замку усталая, злая, и ничто в роскошном замке не веселило её взоров. Вдруг услышала она где-то близко звуки лютни, нежный голос и смех, и быстро пошла, сверкая гневными взорами, туда, где раздавались звуки, веселость которых была столь несогласна с её тоскою, что причиняла её сердцу новые, горячие муки.

На дворе собрались пажи; Адельстан пел им веселые, забавные песни, как будто уже он и забыл о мольбах и угрозах своей госпожи. Пажи слушали его, смеялись и хвалили песни и певца.

Еще сильнее разгоралась графинина страсть. Все раздражало ее: пленительные звуки его голоса, нежная красота его, и его стройные, нагие ноги: пажи не ждали, что госпожа придет к ним, и не успели обуться, – увлек их своим пением милый паж

Адельстан. Эдвига согнала со своего лица внешние признаки гнева, – знатные господа изощрились в искусстве скрывать свои чувства и затемнять зеркало своей души обманчивыми выражениями благосклонности, – подошла к пажам, и сказала:

– Плачу я и тоскую в разлуке с возлюбленным господином моим. Скучно мне, – чем я утешусь, когда господин мой далече? Смех ваш неприятен для меня, слезы ваши были бы мне милее.

Веселый, синеокий Генрих, младший из пажей, а потому и самый смелый в обращении с госпожой, отвечал Эдвиге:

– Милостивая госпожа, господин наш скоро вернется, плакать нам и тебе не о чем, ты лучше послушай вместе с нами, как складно да звонко поет Адельстан, и утешься.

– Нет, – отвечала Эдвига, – песни ваши мне скучны. Разве только песнями вашими должны вы служить графу и мне? До смеха ли только и до веселья ли на пиру простирается ваша верность?

– Милостивая госпожа, – сказал синеокий Генрих, – наша верность господину и тебе до последней капли крови, и до последнего нашего вздоха.

Засмеялась Эдвига, и сказала:

– Вот вы и утешьте меня пролитием вашей крови.

Острым своим кинжалом Эдвига несколько раз уколола выше колен обнаженные Адельстановы ноги, – и после каждого укола слизывала с острого и блестящего лезвия своим лукавым языком сладкие капли Адельстановой крови. И весело было графине Эдвиге смотреть на Адельстановы окровавленные ноги.

Но и в эту ночь не пришел Адельстан к Эдвиге, – а на утро возвратился домой старый граф.

## VI

Изнывала графиня Эдвига от страсти, и верность пажа удивляла ее тем более, что она видела, как Адельстан бросает на нее пламенные взоры, полные вождления. Она замечала, что Адельстан, прислуживая за столом, старается прикоснуться до её нежной руки, или хотя до её платья. Прикосновения Адельстана были ей радостны, но и горьки, ибо еще сильнее распяляли её желания.

Шли недели и месяцы, не было детей у графини. Она тосковала, томилась, и уже словно увядала.

– Пресвятая Дева Мария, – молилась она, – какая моя жизнь! Старый муж ласкает меня, но ненавистны мне его ласки, а тот, кого я люблю, не смеет войти в радость госпожи своей.

Уже и граф заметил её томления, и уже ревность вошла в его сердце. Он заметил страстные взоры графини и пажа, которые скрещивались перед ним, как два кинжала в равном и медлительном бою.

Старый граф одинаково боялся и того, что Эдвига согрешит с пажем, и того, что Адельстан забудет долг верности.

## VII

Невдали от графского замка, в месте уединенном и диком, в овраге среди дремучего леса, стояла темная хижина, жильё старого чародея.

Злобились на чародея попы, и грозились сжечь его живого, – ибо нечестивое дело – чары делать и колдовать. Уже и посылали за ним не однажды воинов и стражей городских, взять его на суд, но темными волхвованиями отвращал чародей опасность, затемняя взоры ищущих, сбивая их с дороги, насылая на них бури и лесные нестерпимые страхи. Да и могущественному графу не угодно было, чтобы чародея до времени сожгли, – ибо поблизости еще не было другого, чары же всегда могли пригодиться. Но чародей, зная, что жизнь его рано или поздно все же пресечена будет огнем, усердно собирал деньги, и время от времени отдавал их своей дочери, которая была замужем за пивоваром, и жила в ближнем городе, не

Повести и рассказы. Фёдор Сологуб [sologubfyodor.ru](http://sologubfyodor.ru)  
причастная наваждениям, в мире с церковью, которой приносила ежегодно немалые дары.

Однажды ночью графиня надела бедные и грубые одежды, закрыла свое лицо плащом, и пошла к чародею босая, чтобы смирением заслужить себе милость таинственной силы, а также и для того, чтобы вернее скрыть свое высокое звание. Но на поясе у неё висел тяжелый кошелек с золотом.

Вял бурный и холодный ветер прямо в лицо трепещущей Эдвиге, яростно рвал её одежды, и затруднял её шаги. Потoki дождя стремительно низвергались с омраченного неба. С треском и грохотом падали порою поперек дороги громадные деревья, сокрушенные беснованием свирепой бури.

Вся измокшая, дрожащая от страха и холода, с ногами, исцарапанными, испачканными в мокрой глине, пришла молодая, прекрасная Эдвиге в мрачное логовище чародея. Неприветливы были закоптелые от дыма волхвований стены хижины, и, наводя жуткий на Эдвигу страх, сверкали зеленые глаза громадного кота.

Старик, длинный, тощий, седобородый, с пронзительным взором, спросил Эдвигу:

– Для чего, милостивая госпожа, ты пришла в такую страшную и не для одной тебя ночь в это отверженное место, оставив гордый замок и теплое ложе, и не убоившись бешенства разъяренной бури?

– Я не госпожа, – сказала Эдвиге, – я простая женщина. Я принесла тебе мое тяжкое горе, чтобы ты своими проклятыми чарами обратил его в радость, за что я заплачу тебе так много, как только могу.

– Милостивая госпожа, – ответишь чародей, – ночь темна, буря воеет, – но давно сияли для меня следы твоих прелестных ног, и слышал я шорох твоих шагов уже от самых ворот старого замка. Ибо, хотя эта хижина бедна убранством, обитают в ней величия волшебства и неодолимые чары, и незримые вам, непосвященным в тайну, но усердные слуги неустанно охраняют все пути к ней. Скажи мне, милостивая госпожа, чего ты от меня желаешь.

Засмеялась лукавая Эдвиге, и сказала:

– Вижу я, что бесполезно мне от тебя скрываться, но, может быть, и желания мои ты сам знаешь, так что и говорить их не надо.

Страшная улыбка, похожая на то, как бы мертвец улыбнулся, искривила иссохшиеся чародеевы губы, и он сказал:

– Милостивая госпожа, не довольно хотеть; не любит моя наука немного очарования. Если хочешь, скажи, чего хочешь, – если не хочешь, иди с миром, я же могу тебе дать только то, чего ты попросишь у меня словами, ибо иначе я мог бы дать тебе слишком много. Темны и многочисленны желания человеческие, самому человеку они не ведомы все, – мои же слуги видят глубоко, в самых тайных изгибах души, и, не оградись только от их усердия пределами слов, они задушат чрезмерностью исполнения.

Тогда повидала ему трепещущая от стыда и страха Эдвиге свое горе и свои желания, отдала ему свое золото, и, падши к его ногам, с громкими рыданиями молила его о помощи.

Чародей выслушал ее до конца, взвесил на руке её тяжелый и многоценный дар, и сказал:

– Могучие духи заключены в этом мешке, и, если бы ты умела им повелевать, не пришла бы ты ко мне. Но встань, – все будет, как ты хочешь, – имей терпение, я это сделаю. Иди с миром.

#### VIII

В ту же ночь, немного позже, и граф постучался в двери чародеевой хижины. Низким поклоном приветствовал его чародей. Граф сказал ему:

– Становлюсь я стар, еще наследника у меня нет, и хотя уже больше года живет у меня молодая жена, но она все еще ходит праздная. И другое мое горе, –

Повести и рассказы. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru  
возлюбленная жена моя с вожделием смотрит на моего милого пажа, и он на неё так же. Еще не было между ними греха, но боюсь, что будет.

Выслушал его чародей, и сказал:

– Милостивый господин, все будет, как вы хотите, если вы поступите по слову моему. Она – ваша супруга, но и он – ваш слуга. И не должен ли он служить вам душою, и телом, и всею крепостью сил своих?

И затем долго говорил чародей со старым графом, и необычайные наставления дал ему, – и радостен вышел граф из хижины, и весел вернулся домой верхом на своем верном коне.

IX

На заре призвал граф к себе Эдвигу и Адельстана, и велел пажу затворить крепко двери. Адельстан, исполнив повеление господина, стал перед ним, и сказал смело:

– Милостивый граф, если хотите, судите меня, – я был вам верен.

Эдвига трепетала, и, бледная, молчала.

Старый граф сказал им:

– Не бойтесь. Мне и роду моему вы оба послужите, как умеете. Сегодня ночью, когда выла буря, наводя ужас и на храбрых, слышал я вещи и мудрые слова; вы же сделаете мудрое и славное дело, во исполнение вещей сказаний...

Красотою подобная рожденной из морской пены богине, хотя и багроволицая от стыда, стояла перед своим господином Эдвигу. Молча смотрел на нее граф, и радостью обладания трепетало его сердце. Адельстан же не смел поднять на графиню взора, но не мог и отвести в сторону глаз...

Омраченные и стыдящиеся, вышли Эдвигу и Адельстан от графа, но радость любви все же ликовала в их сердцах.

Сначала оба они были счастливы. Но скоро и Эдвигу и Адельстана утомили ласки по чужой воле, ибо любви ненавистно всякое принуждение, – и утомили даже до взаимной ненависти. И оба они стали помышлять о том, как бы избавиться им от сладких, но тягостных оков любви, повелеваемой господином.

«Убью графиню!» – думал Адельстан.

«Убью пажа!» – думала Эдвигу.

И однажды, когда она одевалась, а он по её зову подошел к ней и склонился к её ногам, чтобы обуть ее, она вонзила ему в сердце узкий и острый кинжал. Адельстан упал, захрипел, и тут же умер.

Тело его вынесли, по графскому повелению повесили голое во рву замка, и рядом с ним повесили собаку, чтобы думали вассалы, что смертно наказан паж Адельстан за некий дерзновенный поступок.

Графиня же понесла. И скоро родила сына, наследника славного и могущественного графского рода.

Конный стражник

I

Во втором часу ночи ранней и еще теплой осени инспектор гимназии Сергей Платонович Переяшин возвращался из гостей домой по тихим и темным улицам Ковыляк.

Необходимое примечание для позабывших географию и для учивших ее не очень подробно: Ковыляки – большой губернский город. Стоит на обоих берегах реки Пропойцы. Имеет университет. Ведет большую торговлю. Славится окороками. Не следует смешивать с другими Ковыляками, уездным городом на реке Негодяйке, в котором нет ничего примечательного, кроме острога в древнем городище, где некогда жил удельный князь.

Переяшин хорошо поужинал, немало выпил вина, играл в приятной компании и выиграл. От этого мысли его во время одинокой дороги были приятны, – для него, – и понемногу приняли несколько легкомысленное направление. Он замечтался.

Сначала мечтал о девицах: там, откуда он возвращался, их было немало. Многие из них были с ним любезны: он был холост, нестар, высок, строен, ловок и силен. И даже имел свой капиталец, хотя и небольшой.

Потом мысли и мечтания его, по обычному для него сцеплению идей, обратились к его ученикам, гимназистам, и преимущественно к тем, которые жили во вверенном его попечению пансионе при гимназии. Теперь они, конечно, все спали, и в пансионе было тихо и полутемно. Стриженные головы на белых подушках, тихое дыхание спящих, сползающие с иных одеяла... Привычная картина, всегда будившая в Переяшине странные и жестокие волнения.

Вспоминал: были симпатичные мальчики, были и неприятные. И уже брожение с улиц заползло в гимназию, и настроение становилось беспокойным. Переяшин думал, что для успокоения мальчиков полезны были бы строгие меры. Самые строгие меры. В сущности и многие родители были бы довольны, если бы к их мальчикам применялись самые строгие меры. Не дальше как сегодня вечером сестра одного из живущих в пансионе гимназистов говорила Переяшину:

– Валя мог бы учиться гораздо лучше. Он такой способный. Ему все так легко дается. Но он ленится. Он вовсе не думает о том, что после смерти отца нам так стало трудно жить. Я очень боюсь, что он начнет засиживаться в классах. Ему так еще долго учиться. Хоть бы секли их там у вас. Только шалят. И никого не боятся.

Переяшин отчетливо вспомнил Валу Заглядимова. Сначала – канцелярское воспоминание: в списке учеников строчка – Заглядимов Валентин. Потом топографическое: во втором классе, во втором ряду, около стены против окон. Потом – зрительное: невысокий, плотный, черноглазый мальчик, веселый и шаловливый. Но всегда вежливый. Потом – историческое: сегодня Заглядимов Валентин получил единицу.

Это не было само по себе приятно, но у Переяшина сладко защемило сердце. И вдруг сложилось и созрело странно-жестокое решение.

## II

У гимназистов в спальне, – которая почему-то носила дурацкое название дортуара, словно соответствующее русское слово не годилось, – было, как и ожидал Переяшин, тихо и сонно. Все было как всегда, – все те же звуки и запахи. Из открытых форток слабо веяло внешнею прохладой, лишние лампы были погашены. В комнате для дежурного воспитателя было совсем темно и тихо. Переяшин заглянул в стеклянный верх двери в эту комнату и ничего не увидел. Подумал, припоминая: «Кто нынче дежурит? Кажется, Чечурин». И пошел дальше, почему-то утешенный соображением, что Чечурин спит крепко, и уж если залег спать и свет погасил, то не проснется до звонка, если сторож не догадается разбудить его раньше.

Валина кровать стояла недалеко от входа, в спальне младшего возраста. Валя лежал, скорчившись от холода, потому что одеяло наполовину сползло. Не догадывался проснуться и закрыться и белел в смутной полутьме перемятым комочком. Тихонько посапывал носом, уткнувшись в подушку, и лицо его имело выражение невинное и значительное, как будто снились ему небесные ангелы, играющее золотыми мячиками на изумрудно-зеленых райских полях. И невинное, и важное выражение этого лица раздражало Переяшина. Он думал: «Спит себе, как путный. Ручки на груди сложил, как ангел, а сам единицу получил, а сам, как только от него отвернешься, только о том и думает, как бы нашалить. Бровки сдвинул, хоть сейчас в живую картину ставь у ног Мадонны. А вот я тебе сейчас задам отличную живую картину».

Весь охваченный тупою злостью, Переяшин схватил мальчика за плечо и потряс его довольно неласково. Валя, сопя и вздыхая, заворочался на постели. Но все еще не мог проснуться. Переяшин повторял торопливо и тихо:

– Вставай, вставай живее, Заглядимов Валентин.

Валя попытался было опять ткнуться в подушку, – и несколько раз пришлось Переяшину брать его за плечи и раскачивать.

Вдруг Валя сообразил, что его будит инспектор. Испуганно вскочил. Хватился за одежду.

– Не надо, – хрипло шепнул Переяшин, – не надо одеваться, – повторил он погромче. – Иди так.

– Куда? – спросил Валя.

Переяшин не отвечал. Молча накинул одеяло на Валины плечи, взял его за руку и повел.

Все спали. Валя с удивлением оглядывался на Переяшина. И путался босыми ногами в складках своего одеяла. Переяшин вел его по лестницам и коридорам в свою квартиру. Смотрел, как на темном полу белели красивые Валины ноги.

### III

Через полчаса Валя возвращался на свою постель. У него было хмурое и красное лицо и заплаканные глаза. Он уткнулся носом в подушку, всхлипнул, потом засмеялся потихоньку, потом вдруг заснул.

Утром ему казалось, что он видел во сне, как Переяшин привел его в свой кабинет и выпорол ремнем. Было, – во сне, – больно и стыдно и потом смешно. Валя рассказал своему другу, Шурке Скворцову, какой смешной видел сон. Смеялись оба. Валя вспоминал подробности. Смеялись. Шурка выдумывал подробности. Опять смеялись. Вдруг Шурка спросил:

– А отчего же у тебя кожа на этом месте стала полосатая?

– Врешь? – спросил Валя.

– Ей-богу, не вру. Посмотришь в зеркало. А вот тут на боку два синяка. Точно от пряжки.

Стали серьезны. Внимательно исследовали. Удивлялись и смеялись.

– Должно быть, он тебя и вправду выпорол, – сказал Шурка.

Валя опять спросил сомневающимся голосом:

– Врешь?

Шурка засмеялся. Сказал:

– Мне-то с чего врать? Ведь не меня. Да разве ты сам не помнишь, во сне это было или наяву?

Валя подумал.

– Заспал, – сказал он неуверенно. – Я крепко сплю. Может быть, и в самом деле выпорол. За единицу. А я об ней и думать-то позабыл.

Шурка сказал со смехом:

– Так вот вспомни. Ты к нему самому сходи спроси.

– Ну да, выдумаешь! – сказал Валя.

И тоже засмеялся.

– Право, – настаивал Шурка. – А то сестру пошли.

– Ты знаешь что? – сказал Валя смущенно. – Ты афиши-то не расклеивай об этом.

Но Шурка засмеялся еще веселее. Кричал:

– А вот и расклею! Что за секрет?

IV

В тот же день «афиши были расклеены». В маленьких классах смеялись. Приставали к Вале.

– Правда? – спрашивали его. – Переяшка тебя выпорол? Больно? Чем порол? Где порол? Сам порол?

– Ерунда! – сердито возражал Валя. – И ничего не выпорол. Просто это мне во сне приснилось. А пороть-то я еще и не дамся никому.

Не верили. Смеялись. Говорили:

– А откуда у тебя синяки на этом самом месте?

– Просто я о кровать ушибся, – объяснил Валя. Но уже этому совсем не верили и смеялись. В средних классах отнеслись к слуху безразлично. Ведь это же у маленьких. Иные даже говорили:

– Маленьких пороть – разлюбезное дело. Им еще не стыдно, а вперед бояться будут. Вот нас – нельзя.

В старших классах негодовали. Шумели, кричали, спорили, – о способах выражения протеста. Позвали к себе Валу. Долго и основательно расспрашивали его. Осмотрели его тело, сосчитали красные полоски и синие пятна от ушибов.

Когда Валя вернулся в «занятную» своего возраста, то лицо у него было тоже, как ночью, красное, но уже не смущенное, а гордое. Он посматривал на товарищей свысока. Одного надоедалу отшил презрительным окриком:

– Ну ты, нестеганый! Туда же!

И тот отошел сконфуженный. Проворчал только:

– Заважничал! Во сне-то всякий сумеет.

Шурке Валя шепнул по секрету:

– Старший возраст письмо в газету пишут. Ловко расписали все дело. Пропечатают нас с инспектором. Скандал будет грандиозный. Инспектор с места слетит, а директору большая неприятность будет.

Шурка слушал, замирая от сладкого ужаса, и делал большие глаза. Валя посмотрел на него опасно и сказал:

– Только ты не болтай по своей привычке. Это не такое дело, чтобы рассказывать. Это такое дело, что тут надо молчать да и молчать.

– Ей-богу, никому не скажу, – уверял Шурка. – Разве же я сам не понимаю? Слава Богу, не маленький!

Но уже утром все знали, и в младших, и в средних классах. И все ходили, как заговорщики, и настроение было важное и торжественное. Мальчишки посматривали на учителей с лукавым простодушием и делали такой вид, точно они ничего не знают, да и знать-то нечего. Старшие были мрачны и важны.

V

Прогуливаясь в городском саду после обеда, Переяшин встретил Валину сестру. Почему-то почувствовал себя неловко. Она улыбалась ему приветливо. Сказала:

– Большое вам спасибо. Мы все очень вам благодарны.

– За что? – с деланным недоумением спросил ее Переяшин.

– Мы все, – повторила она, пожимая его руку, – вам очень благодарны за то, что вы наказали Валу. Его давно следовало высечь.

– Ну что вы! – сказал Переяшин. – Я и не думал его сечь. Это ему приснилось.

Валина сестра улыбнулась. На ее щеках запрыгали умильные ямочки, и Переяшин вспомнил стихи своего вновь любимого современного поэта (у него каждый год был новый любимый поэт, из самых молодых, чувствительных и фривольных):

Посреди ее ланит  
Ямочки отверсты;  
Там шалун Эрот сидит,  
Сложа нежны персты.

И, пока ямочки прыгали на румяных и полных щеках одетой в полутраур барышни, ее глаза приняли лукавое и понимающее выражение, и она сказала, горячо пожимая опять теплыми и тонкими пальцами сильную руку Переяшина:

– Ах да, конечно, для него полезно видеть такие сны! Авось теперь будет учиться получше, чтобы опять не приснилось что-нибудь еще более неприятное.

Поговорив еще немного о разных других вещах, барышня простилась. А Переяшин отправился домой, сдержанно усмехаясь. И уже думал что Валя Наверное скоро опять получит плохую отметку или нашалит, и тогда опять можно будет посечь его. И сказать, что опять видел во сне. «Привычка к нехорошим снам».

Только уже надо будет не ремень взять, а припасти настоящие розги. Так будет гораздо лучше. И сладко размечтался Переяшин о том, как будет сечь мальчика, как его белая кожа станет покрываться полосами и краснеть. Что ж делать! – если нет своих мальчиков, так хоть чужих постегать. Переяшину всегда хотелось иметь своих детей. Да как-то так случилось, что не женился...

#### VI

Однако мечтам Переяшина не суждено было осуществиться. В местной газете «Ковыляцкие вопли» появилось письмо в редакцию, подписанное так: «Сознательные гимназисты старших курсов второй Ковыляцкой гимназии». В этом письме рассказывалось, что инспектор гимназии Переяшин (опечатка, не замеченная корректором) подверг телесному наказанию гимназиста второго класса Ваню З. (было набрано «Валю», но корректор исправил, не веря, что может быть и такое имя). «Прискорбный инцидент» был рассказан довольно подробно и красноречиво. Выражалось энергичное негодование.

Город заговорил об этой истории. Переяшин стал популярным. Уличные мальчишки кричали ему издали:

– Дяденька, выдери этого мальчишку, – чего он ко мне пристаёт?

Через день в той же газете было напечатано опровержение от «начальства» гимназии: по тщательном расследовании оказалось, что во второй Ковыляцкой гимназии ничего подобного не было; никакого Ивана З. во втором классе этой гимназии нет, а есть Валентин З., который воспитывается в гимназическом пансионе на казенный счет и отличается замеченною еще его домашними склонностью фантазировать, что, по всей вероятности, и было причиной возникновения невероятного слуха. Инспектор гимназии – превосходный педагог, и относится к воспитанникам гуманно (газета напечатала «туманно»).

Это казенное опровержение мало кого убедило. Особенно неудачным оказалось упоминание о казенном счете. Говорили:

– На казенный счет учится, значит, бедный мальчик; родители не посмеют жаловаться. Этим и пользуются, чтобы обижать ребенка безнаказанно.

Еще через день «Ковыляцкие вопли» сообщили, что их сотрудник был в гимназии, произвел дознание, и факт сечения гимназиста инспектором подтвердился. И уже тогда скандал принял серьезные размеры. В местном клубе возник вопрос об исключении из числа членов не только Переяшина, но даже и директора гимназии. Вопрос вызвал страстные прения. Остался нерешенным. Из-за него между двумя старшинами произошло маленькое столкновение («форменная драка» – уверяли некоторые очевидцы). Впрочем, их в тот же день помирили.

#### VII

В гимназию приехал попечитель учебного округа, – явление редкое. Ему некогда было разъезжать по училищам: все время уходило на канцелярскую работу.



Повести и рассказы. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru  
«Из-за меня», – думал Валя, видя, какой переполох происходит в гимназии.

Валю позвали в директорский кабинет. Ни директора, ни инспектора там не было. Попечитель один сидел в кресле у письменного стола и смотрел на вошедшего в кабинет Валю с видом человека, не привыкшего разговаривать с детьми. На Валю наводили страх его угрюмые глаза, растрепанные полуседые волосы и тучное тело.

Попечитель сказал, притворяясь ласковым:

– Ну-с, молодой человек, рассказывайте, что тут с вами было. Я слышал, что вы распускаете слух, будто бы вас здесь высекли. Так как же? Может быть, и в самом деле был такой грех?

Валя исподлобья смотрел на синий вицмундир тучного, старого, важного человека, на его серебряную звезду, выглядывающую скромным углом из-за лацкана, – и молчал. Попечитель повторил:

– Ну-с? Да ты не стесняйся, – никто не услышит. Кто тебя высек?

Валя покраснел.

– Никто, – тихо сказал он.

– Никто? – тоном вопроса повторил попечитель, и на его желтом, морщинистом лице заиграла довольная улыбка. – Так что же вы болтаете? – спросил он с привычным выражением начальнической строгости.

Валя тоненьким дискантом, робея и стыдясь своей робости, объяснял:

– Я во сне видел. Я так и говорил, что во сне. Это они сами придумали.

– А письмо в газету кто писал? – быстро и строго спросил попечитель.

– Не знаю, – сказал Валя.

– Так, – недоверчиво сказал попечитель. Помолчал, посмотрел на Валю внимательно и с любопытством и отрывисто приказал. – Иди.

Валя вышел, и навстречу ему вошли директор, инспектор и еще кто-то, – мундирные педагоги. И, пока еще дверь была открыта, Валя слушал сухой и уверенный голос попечителя:

– Как и следовало ожидать, газетные писатели подняли шум из ничего. Он говорит...

И дверь закрылась. Валю окружили. И вдруг он сообразил, что пропустил такой удобный и, может быть, единственный случай. Стало досадно на себя самого. И товарищи дразнили и укоряли Валю.

А дома бранили, зачем проболтался о сне. Боялись, как бы Валя, в отместку за эту неприятную для начальства историю, не вылетел из пансиона.

И опять было опровержение, на этот раз от учебного округа. Газета опять возражала. Печатала, пользуясь этим случаем, целый ряд статей и писем в редакцию, – и все это были вещи, неприятные учебному ведомству. В городе кто верил газете, кто не верил, кто думал, что так мальчишке и надо.

Унять бы газету, – да тогда были не такие времена.

#### VIII

События, между тем, шли быстро и бурно. Волнения на окраинах города. Собрания, митинги. Забастовки. Казаки. Уличные процессии. Избиения. Красные флаги, – и багряная кровь многих.

Бастовали и гимназисты. Устраивали химическую обструкцию. Переяшину задали кошачий концерт. В его квартире побили стекла.

Уже и попечитель был недоволен Переяшиным. Вызывал его. Было неприятное объяснение. Переяшин понял, что им собираются пожертвовать. Попечитель намекнул,

Повести и рассказы. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru  
что лучше бы перевестись в другой город. И злость томила Переяшина. Уже все гимназисты казались ему врагами. Было неприятно встречаться с ними на улице. Вообще неприятно стало выходить: популярность не радовала Переяшина.

Был морозный, ясный день. Переяшин стоял у окна своей казенной квартиры в гимназии и с тупою злобою смотрел на площадь. Зрелище народной демонстрации было противно ему. Веяли красные флаги. Весело звучали молодые голоса, и сквозь двойные рамы отчетливо слышались смелые слова песен. Шли толпа за толпой, – пестрое смешение лохмотьев и нарядов, молодых и старых лиц. Вот мелькнули знакомые лица, гимназисты.

«Даже и не скрываются, негодяи», – злобно думал Переяшин.

Вдруг все смешалось, дрогнуло, побежало. Вопли ужаса пронеслись в толпе. Переяшин с радостным волнением торопливо подошел к угловому окну. Он увидел, как по улице мчался прямо на толпу отряд казаков. Смотрел с жадным любопытством.

Свалка. Мелькание нагаек. Лошади теснились в толпу. Визг, вопли. Ключья одежды. Бегство. Давка. Чьи-то полуобнажившиеся от быстрых ударов, окровавленные спины...

Переяшин радостно смеялся, взвизгивая и топчась за своим безопасным окном.

IX

Через полчаса Переяшин вышел на площадь. Было пусто. Только патрули медленно кружили по площади и по улицам, да кое-где виднелись конные жандармы и казаки. У подъезда гимназии сидел на красивой лошади казак. Лошадь под ним стояла спокойно и сторожко, словно прислушиваясь к чему-то. У казака было странно равнодушное, красное лицо.

– Поработали, казачки? – заискивающим голосом спросил Переяшин.

Казак молча глянул на него равнодушными глазами. Отвернулся. Презрительно сплюнул. Переяшин вытащил кошелек. Порылся в нем, – и казак стал внимателен. И уже веселая улыбка заиграла на его молодом, простоватом лице.

Переяшин достал серебряный рубль. Сказал казаку:

– Вот, казачок, возьми целковый на обновление плетки. Твоя-то пообтрепалась об этих мерзавцев, – так ты новую купи да лупи их хорошенько.

Казак слушал, радостно улыбаясь.

Слушал не один казак. Площадь была не так пуста, как Переяшину казалось.

X

В тот же день в городе уже говорили, что Переяшин дал рубль казаку на подновление плети. Передавали просьбу Переяшина «лупить хорошенько». Возмущались. «Ковыляцкие вопли» поместили по этому поводу язвительный фельетон. Положение Переяшина стало невозможным. При встречах на улицах от него отвертывались. Ему не подавали руки. Из клуба его исключили уже без споров. Попечитель решил убрать его из Ковыляк в другой город. Пригласил сначала для объяснений и чтобы предупредить.

С таким же скучающим и угрюмым лицом смотрел попечитель на вошедшего к нему Переяшина, как раньше смотрел на Валю. Холодно и сухо объявил Переяшину, что здесь его не оставит.

– Я – патриот, – хриплым голосом сказал Переяшин, покачиваясь на стуле.

Попечитель с досадою и отвращением смотрел на Переяшина, и уже видно было, что Переяшин пьян. Он бормотал:

– Я ему дал, движимый... побуждаемый... так как он есть страж и, значит, опора.

– Не будем вдаваться в подробности, – осторожно сказал попечитель. – Вы, в сущности, ничего не потеряете, а в нравственном отношении даже выиграете. Мы дадим вам такое же место.

– Не желаю, – возразил Переяшин. – Я намерен постоять за порядок.

Попечитель усмехнулся. Сказал:

– Это уже решено.

Переяшин вытащил из бокового кармана сложенный вчетверо лист бумаги.

– Вот, – сказал он, – прошение. В чистую выхожу. Поступаю в конные стражники. Я уже ходил наниматься. И уже у меня есть вся амуниция. И нагаечка.

На лице попечителя изображался ужас...

XI

Прошло несколько дней. С городского кладбища расходилась толпа молодежи. Везде за углами было много казаков и конных стражников. В числе стражников гарцевал и Переяшин.

Из уважения к его чину ему дали самую хорошую, какая только нашлась в Ковыляках, лошадь. И вся амуниция на нем красовалась новенькая и чистенькая, и особенно хороша была нагайка. Так приятно было сжимать ее в руке и помахивать ею. И потому лицо у него было красное и веселое. Сегодня для обновления формы он и сам выпил изрядно, и своих новых сослуживцев хорошо угостил. Нарочно стал на самом видном месте и ругался:

– Молокососы! Бунтовать вздумали! Пороть вас хорошенько! Вешать вас!

Пересыпал свои слова площадною руганью. Его вид и его слова возбуждали в толпе смех и презрение. Несколько комков грязного снега шлепнулись в его лицо. Он заругался еще неистовее.

Кто-то бросил камень. Попал ему в руку. Переяшин взвизгнул, пришпорил коня, взмахнул нагайкою и ринулся в толпу.

За ним и другие.

Перина

I

Наборщик Демьян Степаныч Проходимцев и его жена Наталья Петровна ужинали. Они только на прошлой неделе повенчались и теперь устраивали свое хозяйство. Наталья Петровна говорила:

– Я удивляюсь на мамашу, что они будучи при таких деньгах, не только не пускают их в оборот, но даже не положат в банк, а держат их под собою. Хоть бы вы им посоветовали, Демьян Степаныч.

– Это я могу, – ответил Проходимцев, тощий черноволосый человек с очень серьезным лицом, – я им разъясню их невежество. Но я не понимаю того, Наталья Петровна, что вы говорите, что маменька свой капитал под собой содержит. В каких собственно смыслах это следует понимать?

Наталья Петровна оглянулась вокруг опасливо и, понизив голос, хотя слушать было некому, сказала:

– Это собственно, Демьян Степаныч, секрет, но как говорится, что муж да жена – одна сатана, то, и надеясь на вашу скромность, что вы никому не расскажете, я вам открою, что маменька держат свои капиталы в перине, на которой они спят.

Проходимцев ничего не ответил. Уже когда прошло много времени, и уже Наталья Петровна начала стлать постель, он все еще думал. Наконец сказал:

– Мнение мое об этом предмете такое, что надо маменьку пригласить к нам на постоянное пребывание, а то их там при их одиночестве всякий может ограбить и даже лишить возможности жизни.

– Маменька к нам не поедут, – сказала Наталья Петровна, – они очень берегут свою перину и не решатся ее перевозить.

Но Проходимцев, как бы не слушая, продолжал:

– И даже я так полагаю, что надо маменьку пригласить сегодня же, а то нынче ночью их могут ограбить и порешить, а это нам с вами будет неприятно и даже невыгодно. А что маменька откажутся, это я и сам знаю, но только я их приглашу так, что и с отказом они к нам переедут. Согласитесь сами, Наталья Петровна, что нам надобно не согласие маменькино, а маменькина перина.

И с этими словами Проходимцев аккуратно оделся, сказал жене:

– До приятного со мною свиданья.

И ушел. Жена равнодушно посмотрела за ним, зевнула и села у окна, сложа руки, ждать мужа.

### II

Проходимцев, пройдя улицы две, постучался в окошко маленького одноэтажного домика. Взлохмаченная голова высунулась в окно, и хриплый тенорок проговорил:

– А, Проходимцев, друг любезный, что так поздно?

– Господину Раскосову почтение, – ответил Проходимцев, – и прошу выйти на улицу по важному и неотложному делу.

– Немедленно? – с некоторым удивлением спросил господин Раскосов.

Проходимцев отвечал:

– Немедленно, и даже сию секунду.

Господин Раскосов зевнул, подумал, скрылся и скоро вышел из ворот. Это был рослый, дюжий молодец с пухлым рябым лицом и светлую трепаную бородкою лопатой. Он был одет в синюю блузу и пиджак.

– Друг ты мне или нет? – спросил Проходимцев.

Раскосов воскликнул:

– Демьян, мне ли не поверишь!

– И сверх того рубль целковый заработать желаешь? – продолжал Проходимцев.

Раскосов просиял и воскликнул:

– Это очень даже можно. Руб целковый – монета уважительная. Это я могу.

– Ноньче ночью мне надо важное дело сделать, – объяснил Проходимцев, – тещу к себе домой водворить желаю, а как она своего согласия не даст, то я намереваюсь переселить ее к любезной дочери, а моей законной жене, на жительство скорым манером. Но как для такого дела нужен товарищ, то я и приглашаю господина Раскосова.

– А в полицию не возьмут? – осведомился Раскосов.

Проходимцев покачал головой.

– Возлагаю надежду на крепость рук и скорость ног.

И приятели отправились, соблюдая молчание.

### III

Было тихо и тепло; в садах за изгородями пахло свежо и нежно, луна подымалась на восток, за домами звучно и скоро лепетала река у плотины, – город спал.

Тещин дом стоял у выгона, второй от конца улицы. Проходимцев и Раскосов остановились под окнами. Проходимцев рассудительно сказал:

– Теперь главное затруднение состоит в том, как попасть, никого не обеспокоив.

Потрогал рамы, – все окна заперты, толкнул калитку, – задвинута. Постоял, подумал и полез через забор. За ним Раскосов.

В будке у ворот яростно залаяла собака, но узнала Проходимцева и успокоилась, – своей. Проходимцев подошел к дому, заглянул в кухню.

– Марфушка спит, – сказал он, – надо ее вызвать.

И принялся громко мяукать и скрести пальцами стекло окна. Кто-то зашевелился за окном. Проходимцев спрягался за угол, Раскосов последовал его примеру.

Окно открылось. Марфа, молодая девица, в одной рубашке, высунулась в окно и сказала, зевая:

– Машка подлая, чего ты скребешься?

Проходимцев выглянул из-за угла.

– Марфуше наше почтение, – сказал он.

За ним высунулся и Раскосов. Марфа вздрогнула.

– О, леший, испугал! – крикнула она. – Что вам тут надо, полуночники?

Свежо и молодо во влажной темноте ночной прозвучал ее голос.

– Мы к вам по делу, прекрасная девица Марфа, – сказал Проходимцев. – Потому, как ваша барыня, а наша любезнейшая маменька желает переехать к нам на жительство, но опасается огласки, чтобы соседи не помешали, а кроме того у нашей маменьки причуды, как у малого ребенка, то маменька нам ноньче и говорят: «Не хочу я к вам ни пешом идти, ни коню ехать, а несите вы меня, как Ольга премудрая Игоревых послов, на моей собственной трехспальной перине». Вот мы и пожаловали, а вы, Марфа прекрасная, извольте отворить нам двери.

Марфа засмеялась.

– Придумаете тоже, – сказала она, – нашли дуру! Так я вам и отворила.

– Известное дело, нашли, – отвечал Проходимцев, – известное дело, отворишь, – семьдесят пять копеек получишь желаешь?

– Обманете? – живо спросила Марфа.

Проходимцев вынул кошелек, отсчитал семьдесят пять копеек, подал Марфе и укоризненно сказал:

– У нас деньги верные, как в казначействе. Мы не затем, чтобы обманывать.

Марфа сосчитала деньги.

– Да мне что ж, – сказала она, – я, пожалуй, и отворю. Мне-то что же!

Она отошла от окна и, звучно-тяжело ступая, пошла к двери. Звякнул запор, с тихим скрипом раскрылась дверь, и, вся белая на ее зияющей темноте, выглянула Марфа.

Проходимцев и Раскосов вошли.

Марфа захохотала, пряча лицо в платок. Все трое отправились в спальню к старухе.

#### IV

Анна Прохоровна спала, свернувшись комочком на своей широкой перине. Приятели взяли перину, Раскосов в головах, Проходимцев в ногах, и понесли. Старуха проснулась. Забеспокоилась.

– Что такое? – закричала она. – Марфушка, подлая, куда меня волокут? Нешто пожар?

– Ничего, маменька, не беспокойтесь, – ответил Проходимцев, – мы с нашей супругой приглашаем вас к нам на пребывание.

Проворно, почти бегом, вынесли старуху на двор, а потом на улицу. Она кричала:

– Озорники, да что вы делаете? Пустите меня, я домой пойду.

– Никак невозможно, маменька, – говорил Проходимцев, – потому как ваш костюмчик дома остался, и кроме того не извольте кричать, а то соседи увидят вас в беспорядке, и вам будет зазорно.

Старуха захныкала:

– Разбойник ты, креста у тебя на вороту нет.

Но приятели не слушали и быстро мчались со своею ношею по тихим улицам безмолвного городка. Скоро принесли и положили перину со старухою на пол.

– За вашим костюмчиком, маменька, пойду, – объявил Проходимцев.

Рассчитался с Раскосовым и пошел за старухиною одеждою. Старуха плакала. Дочь говорила ей:

– Так как мы вас, маменька, очень любим, то и нет нашего желания жить с вами отдельно. Вам у нас будет, как у Христа за пазухой.

Обыск

I

Приятное в жизни переплетается с неприятным. Приятно быть учеником первого класса, – это создает известное положение в свете. Но и в жизни ученика первого класса случаются неприятности.

Рассвело. Заходили, заговорили. Шура проснулся, и первое его ощущение было то, что на нем что-то рвется. Это было неприятно. Что-то комкается под боком, – и потом возникло более отчетливое представление разорванной и скомканной рубашки. Под мышками разорвалось, и чувствуется, что прореха почти до самого низа.

Шуре стало досадно. Он вспомнил, что еще вчера говорил маме:

– Мама, дай мне чистую рубашку; у этой рубашки прорешка под мышками.

А мама ответила:

– Завтра еще поноси, Шурочка.

Шура поморщился, как любил это делать, когда что было не по нем, и сказал досадливо:

– Мама, да она завтра совсем разорвется. Что ж, мне оборванцем ходить!

Но мама, не отрываясь от работы, – и охота ей самой все шить! – сказала недовольным голосом:

– Отстань, Шурка, не до тебя, некогда мне. Моду какую завел приставать к матери! Сказано, завтра вечером переменяешь. Шалил бы меньше, вот и одежда была бы целее. На тебе горит, – не напасешься.

Шура же был совсем не шалун. Он заворчал:

– Как еще поменьше шалить? Меньше нельзя. Я совсем мало шалю. Только если и шалю, так уж самое, самое необходимое, без чего никак нельзя.

Так мама и не дала рубашки. Ну вот, что же вышло! Рубашка разорвалась до самого подола. Теперь ее бросить надо. Вот какая нерасчетливая мама!

Было слышно за стеной, как мама проворно ходила, торопясь выбраться из дому. Шура вспомнил, что у мамы есть хорошая практика, – такая, на которую надо ходить

Повести и рассказы. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru  
долго и за которую дадут много денег. Это, конечно, хорошо, – но вот сейчас мама уйдет, и Шура придется отправляться в рваной рубашке, – и во что же она тогда обратится к вечеру?

Шура проворно вскочил, бросил одеяло на пол и побежал к маме, громко стуча по холодному полу голыми ногами. Закричал:

– Вот, мама, полюбуйся! Говорил ведь я тебе вчера, что надо мне дать другую рубашку, а ты не хотела дать, – ну вот, видишь, что с ней сделалось!

Мама сердито поглядела на Шуру. Досадливо покраснела. Заворчала:

– Еще бы ты голый выбежал! Что за срам! Никакого нет сладу с мальчишкой, до того набалован.

Схватила Шуру за плечи, повела к себе в спальню. У Шуры опасно дрогнуло сердце. Мама говорила:

– Ведь знаешь, что я тороплюсь, а все-таки лезешь.

Но уж видела, что в этой рубашке нельзя оставить мальчика. Пришлось идти в комод, доставать новую рубашку, еще не надетую, потому что те рубашки, из которых мама хотела дать сегодня, были еще в стирке, – принесут их только к вечеру.

Шура обрадовался. Очень приятно было ему надевать новое платье, – оно такое жесткое и холодное и так забавно щекочет кожу. Одеваясь, он смеялся и шалил, но маме уже совсем некогда было побыть с ним, и она торопливо ушла.

## II

В училище было, как всегда, странно: весело и скучно, живо и неестественно. Весело было, когда приходили перемены между уроками, и скучно, когда был самый урок.

Предметы, которыми приходилось заниматься на уроках, были странные и совсем ненужные: Люди, которые давно умерли и ничего хорошего не сделали, но о которых надо было после столетий все еще зачем-то помнить, хотя некоторых из них, может быть, и на свете никогда не бывало, – Глаголы, которые с чем-то спрягались, и Имена, которые куда-то склонялись, но для которых не находилось живого места в живой речи, – Фигуры, о которых так трудно было доказывать то, чего совсем и не надо было доказывать, – и Многое иное, столь же нелепое и чуждое. И не было одного во всем этом необходимого, – не было Связи Соотношений, не было прямого ответа на вечный вопрос: Что, к Чему и Откуда.

## III

Утром в зале перед молитвой к Шуре подошел Митя Крынин. Спросил:

– Ну что, принес?

Шура вспомнил, что обещал вчера принести Крынину книжку с современными песенками. Сунул руку в карман, – там книжки не было. Сказал:

– Ну, в пальто оставил. Сейчас принесу.

Побежал в шинельную. В это время сторож надавил пружинки электрических звонков, и по всему обширному и скучному зданию училища затрещали резкие голоса колокольчиков. Пора было идти на молитву, – без этого нельзя было начаться учению.

Шура заторопился. Сунулся в карман пальто, ничего не нашел, потом вдруг увидел, что это чужое пальто, крикнул досадливо:

– Ну, вот история, в чужое пальто залез!

И принялся отыскивать свое.

Рядом с ним раздался насмешливый хохот. Неприятный голос шалуна Дутикова заставил Шуру вздрогнуть от неожиданности. Дутиков, опоздавший в училище и

Повести и рассказы. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru  
пришедший только сейчас, кричал:

– Что, брат, по чужим карманам лазишь?

Шура проворчал сердито:

– А тебе что за дело, дутька? Не в твой карман.

Нашел книжку и побежал в зал, где уже строились ученики к молитве, выравнявсь длинными шеренгами по росту, так что маленькие стали впереди, ближе к иконам, большие сзади, и в каждой шеренге справа были мальчики повыше, слева – пониже. Учителя считали, что молиться надо по росту и в шеренгах, иначе ничего не выйдет. Кроме того, в сторонке стали мальчики, которые наострились в церковном пении, и один из них перед каждым разом, как надо было запеть, тихонько подвывал на разные голоса, что называлось – задавать тон. Пели громко, быстро и безвыразительно, как в барабаны били. Дежурный ученик читал по молитвеннику те молитвы, которые полагалось не петь, а читать, – и читать так же громко, так же безвыразительно. Словом, все было как всегда.

А после молитвы случилось происшествие.

IV

У Епифанова из второго класса пропал перочинный ножик и серебряный рубль. Краснощекий бутуз, обнаружив покражу, поднял плач: ножик был красивый, в перламутровой оправе, а рубль был нужен на самые неотложные дела. Пошел жаловаться.

Начался разбор дела.

Дутиков рассказал, что видел в шинельной, как Шура Долинин шарил по карманам в чужих пальто. Шуру позвали в кабинет инспектора.

Сергей Иванович, инспектор, подозрительными глазами уставился на мальчика. Старому учителю было приятно думать, что вот он сейчас уличит воришку. Потом будет экстренное заседание педагогического совета, потом воришку исключат.

Казалось бы, во всем этом нет ничего хорошего. Но уж очень насолили шаловливые и непослушные мальчуганы старому учителю, – со злорадством сыщика смотрел он на смущенного, раскрасневшегося мальчика и медленно задавал ему вопросы:

– Зачем ты был в шинельной во время молитвы?

– До молитвы, Сергей Иванович, – тоненьким от испуга голосом пищал Шура.

– Допустим, что до молитвы, – с иронией в тоне голоса соглашался инспектор. – Однако я спрашиваю, зачем?

Шура объяснил зачем. Инспектор продолжал:

– Допустим, что за книжкой. А в чужой карман зачем лазил?

– По ошибке, – горестно сказал Шура.

– Прискорбная ошибка, – заметил инспектор, укоризненно качая головой. – А скажи-ка ты лучше, не взял ли ты по ошибке ножик и рубль? По ошибке, а? Посмотри-ка в своих карманах.

Шура заплакал и говорил сквозь слезы:

– Я ничего не воровал.

Инспектор улыбался. Приятно довести до слез. На румяных щеках такие красивые и частые катятся детские слезы, и непременно в три ручья: из одного глаза две струйки слез, а из другого – одна.

– Если не воровал, так чего же плакать? – издевающимся тоном говорил инспектор. – Я и не говорю, что ты украл. Я предполагаю, что ты ошибся. Захватил, что в руку попало, а потом и сам забыл. Пошарь-ка в карманах.



Шура поспешно вытащил из кармана весь тот детский вздор, какому полагается быть у мальчишек, – а потом и оба кармана вывернул.

– Ничего нет, – сказал он досадливо.

Инспектор смотрел на него пытливо.

– А не завалилось ли куда-нибудь за одежду, а? В сапоги, может быть, ножик-то провалился, а?

Позвонил. Пришел сторож.

Шура плакал. И все вокруг плыло в розовом тумане, в безумном обмороке унижения. Шуру повертывали, ощупывали, обыскивали. Понемножку раздевали: заставили снять сапоги и вытряхивали их, стащили, на всякий случай, и чулки; сняли пояс, блузу, брюки. Все вытряхивали и осматривали.

И сквозь все томление стыда, сквозь обиду унижительного и ненужного обряда яркая пронизывала радость: рваная рубашка осталась дома, и под грубыми руками усердного педагога шушала новенькая, чистенькая рубашка.

Стоял Шурка в одной рубашке и плакал. За дверью послышались шумные голоса, веселые крики.

Стукнула дверь, вошел поспешно кто-то маленький, румяный, улыбающийся. И сквозь стыд, и сквозь слезы, и сквозь радость о новой рубашке Шура услышал чей-то не то веселый, не то смущенный голос, слегка запыхавшийся от бега:

– Нашлось, Сергей Иванович. У самого Епифанова. У него дыра была в кармане, – ножик и рубль провалились в сапог. Теперь он почувствовал, что неловко, и нашел.

Тогда вдруг стали ласковы с Шурую. Гладили по голове, утешали и помогали одеваться.

V

То плакал, то смеялся. Дома опять и плакал, и смеялся. Рассказывал маме. Жаловался:

– Совсем раздели. Хорош бы я был в рваной рубашке.

Потом... что же потом? Мама ходила к инспектору. Хотела сделать ему сцену. Хотела потом на него жаловаться. Но на улице вспомнила, что мальчик освобожден от платы за учение. Сцены не вышло. Притом же инспектор принял ее очень любезно. Извинился очень. Чего же еще?

Унижительное ощущение обыска осталось в мальчике. Так врезалось это ощущение: заподозрен в воровстве, обыскан, и стой полуголый, поворачивайся в руках усердного человека. Стыдно? Но ведь это – опыт, полезный для жизни.

И мама сказала, плача:

– Кто знает, – вырастешь, не то еще будет. У нас все бывает.

Снегурочка

I

Просят дети:

– Снегурочка, побудь с нами.

Говорит Снегурочка:

– Хорошо. Я побуду.

Побыла с ними. Тает.

Спрашивают дети:

– Снегурочка, ты таешь?

Отвечает Снегурочка:

– Таю.

Плачут дети.

– Милая, краткое время побыла ты с нами, – что же с тобою?

Тихо говорит Снегурочка:

– Позвали, – пришла. И умираю.

Плачут дети. Говорит добрый:

– И уж нет Снегурочки? Только слезы.

Злой говорит:

– Лужа на полу, – нет и не было Снегурочки.

И говорит нам тот, кто знает:

– Таёт Снегурочка у наших очагов, под кровлю нашего семейного дома. Там, на высокой горе, где только чистое веет и холодное дыхание свободы, живет она, белоснежная.

Дети просят:

– Пойдем к ней, туда, на высокую гору.

Улыбается мать и плачет.

## II

Опять, опять мы были дети!

Ждали елки, праздника, радости, подарков, снега, огоньков, коньков, салазок. Ждали, сверкая глазами. Ждали.

Нас было двое: мальчик и девочка. Мальчика звали Шуркою, а девочку – Нюркою.

Шурка и Нюрка были маленькие оба, красивые, румяные, всегда веселые, – всегда, когда не плакали; а плакали они не часто, только когда уж очень надо было поплакать. Были они лицом в мать.

Хотя их мать звали просто-напросто Анною Ивановною, но она была мечтательная и нежная в душе, а по убеждениям была феминистка. Кротко и твердо верила она, что женщины не плоше мужчин способны посещать университет и ходить на службу во всякий департамент.

С дамами безыдейными Анна Ивановна не зналась. Ее подруги, феминистки, считали ее умницею; другие ее подруги, пролетарки, смотрели на нее, как на кислую дурочку. Но те и другие любили ее.

Ее муж, Николай Алексеевич Кушалков, был учитель гимназии. Очень аккуратный. Верил только в то, что знал и видел. К остальному был равнодушен. Считал себя добрым, потому что никогда не подсиживал никого из сослуживцев. Отлично играл в винт.

Ученики побаивались Николая Алексеевича, потому что он был необыкновенно систематичен и последователен. Поэтому, хотя он преподавал русский язык, гимназисты называли его немчурю (немецкого учителя называли короче – немец).

Приближались святки. Дни были морозны и снежны. Шурочка и Нюрочка бегали в саду около их дома, на окраине большого города. Дорожки были расчищены, а там, где летом трава и кусты, снег лежал высокий.

Мать из окна в гостиной видела иногда из-за высокого снега только красные, пушистые шапочки на детях. Смотрела на детей, улыбалась, любовалась их раскрасневшимися лицами, прислушивалась к звонким взрывам их смеха и думала нежно и радостно: «Какие у меня красивые, милые дети!»

Солнце, красное солнце хорошего зимнего дня светило ярко и весело, радуясь недолгому своему торжеству. Оно поднялось невысоко, – и не подняться ему выше, – стояло близко к земле и к людям и казалось ласковым, добрым и светло-задумчивым. Розовые улыбки его лежали, тихие, не слишком веселые, на снегу по земле, на пушистых от снега ветках, на заваленных мягким снегом кровлях. От этого казалось, что весь снег улыбается и радуется. И такие забавные с кровли свешивались розоватые на солнце ледяные сосульки.

Забавный мир детской игры, маленький сад, был огорожен с улицы невысоким досчатым забором. Слышались за этим забором порою шаги прохожих по захламодавшему мосткам, но дети не слушали их, – своя была у них игра.

Им было тепло, – горячая кровь грела их тела, и мама одела их заботливо, – отороченные мехом курточки, меховые рукавички, сапожки на меху, шапочки из мягкого, как пух, меха.

Бегали долго, крича как стрижи. Но одним беганьем весел не будешь. Играть!

И придумали игру.

### III

Сперва недолго поиграли в снежки. Потом вдруг сказала Нюрочка:

– Я знаешь что, Шурка? Знаешь, что мы сделаем?

Шурочка спросил:

– Ну что?

– Мы сделаем Снегурочку, – сказала Нюрка, – понимаешь, из снега. Скатаем и сделаем.

Шурочка опять спросил:

– Снежную бабу?

– Нет, нет, зачем бабу! – кричала Нюрочка, – мы сделаем маленькую девочку, такую маленькую, как моя большая кукла, знаешь, Лизавета Степановна. Мы назовем ее Снегурочкой, и она будет играть с нами.

Шурка спросил недоверчиво:

– Будет? А как же она будет бегать?

– А мы ей ноги сделаем, – сказала Нюрка.

– Да ведь она из снега! – говорил Шурка.

– А день-то сегодня какой? – спросила Нюрка.

– Какой? – спросил Шурка.

– Сегодня сочельник, – объяснила Нюрка. – Для такого дня она вдруг побежит с нами и будет играть. Вот увидишь.

– А и правда, – сказал Шурка, – сегодня сочельник.

И вдруг поверил. Но все еще спрашивал:

– А на другой день Снегурочка останется?

Нюрка ответила решительно:

– Конечно, останется на всю зиму и будет бегать и играть с нами.

– А весной? – спросил Шурочка.

Нюрочка призадумалась. Долго смотрела на брата, приоткрыв недоуменно ротик. Вдруг засмеялась и сказала весело, – догадалась:

– Ну что ж весной! Весной Снегурочка уйдет на высокую гору и будет жить там, где вечный снег лежит, все лето будет жить там, а зимой опять к нам спустится.

И зарадовались, засмеялись веселые дети.

Шурочка радостно кричал:

– всю зиму будем бегать с нею! и маме ее покажем. Мама будет рада?

Нюрочка сказала серьезно:

– Еще бы! Только не надо будет водить ее в дом, а то она в тепле растает.

Шурка опять спросил:

– А где же ей спать?

Он был мальчик практичный и рассудительный, весь в отца. Нюрочка решила:

– я спать она будет в беседке.

#### IV

Дети принялись за дело. Притихли.

Мать даже обеспокоилась, – что такое, не слышно криков и смеха. Тревожно глянула в окно, – да нет, ничего, ребятишки снежную бабу лепят. Успокоилась. Опять села на диван, продолжала читать книжку Эллен-Кей, – очень хорошую книжку.

И уж как они только ухитрились, – уж не помогал ли им какой-нибудь добрый или злой дух, искусный в созидании тел, особенно там, где замысел жадно ищет возможности воплощения? – но Снегурочка под их быстрыми пальцами выростала, как живая. И все черты, самые тонкие, возникали точно, словно лепилась из снега живая человекоподобная душа. Нежные снежные комья лепились один к другому в сплошное нежное снежное тело.

Дочитала главу Анна Ивановна, посмотрела в окно, – посреди площадки перед окнами, где летом цвел алый шиповник, стояла почти совсем готовая маленькая снежная кукла.

«Ловкие у меня детишки, – подумала радостно Анна Ивановна, – кукла выходит у них прехорошенькая».

И ей было приятно вспомнить, что те новые приемы воспитания и обучения, которых она придерживалась, дают превосходные результаты.

«Искусство в жизни ребенка играет, несомненно, важную роль, и родители, – думала Анна Ивановна, – должны это помнить и всячески развивать детскую самостоятельность».

#### V

В саду Нюрка говорила Шурке:

– Как хорошо, что мы взяли самый чистый снег! Вот она какая славная выходит!

Шурочка говорил рассудительно:

– Еще бы! Ведь этот снег прямо с неба упал; он чистый.

С восторгом говорила Нюрочка:

– Ах, какая она хорошенькая!

Шурочка сказал:

– У нее мордочка похожа на твою рожицу.

Нюрочка весело засмеялась. Сказала скромно:

– На маму похожа наша Снегурочка.

– И ты похожа на маму, – сказал Шурочка.

– И ты, – сказала Нюрочка.

Шурочка принахмурился.

– Я больше на папу похож, – объявил он.

Засмеялась Нюрочка, говорит:

– Выдумал! Мы оба в маму. И Снегурочка у нас в маму.

Смотрели, любовались.

– Знаешь, – сказала Нюрочка, – уж очень она мягкая. Потряси-ка эту яблоню, – вот те ледышки-висюлечки свалятся, мы из них сделаем ей ребрышки. А из тех, что посветлей, глаза.

Сказано – сделано. Вот у Снегурочки твердые ребрышки. Вот у Снегурочки ясные глазки. А вот у Снегурочки и белое платьице. А вот у Снегурочки и белые башмачки. А вот у Снегурочки и белая шапочка.

Готова Снегурочка!

Подбежали к окну, в стекло стукнули, спрашивают:

– Мама, хороша наша Снегурочка?

Мама отвечает из форточки:

– Хороша. Только у вас руки зазябли, идите погрейтесь.

Дети засмеялись. Но мама зовет, надо идти.

– Я как же Снегурочка? – спросил Шурка.

– А ей еще рано, – сказала Нюрка, – она еще постоит, подумает. Мы придем к ней вечером, позовем ее, поиграем с нею.

Побежали дети домой. Говорили маме:

– Мама, сегодня вечером у тебя будет новая дочка Снегурочка.

Смеялась мама, Анна Ивановна. Улыбался папа, Николай Алексеевич: в сочельник он не ходил в гимназию; он сидел дома и читал последнюю книжку «Русского богатства».

VI

Свечерело и вызвездило. Дети опять убежали в сад. Снегурочка стояла. Улыбалась. Ждала их.

Дети подошли к ней тихо.

– Надо ее позвать! – сказал Шурочка.

Помолчали. Вдруг стали робкими.

– Поцелуй ее! – сказал Шурочка.

– Сначала ты, – сказала Нюлочка.

Шурка посмотрел на сестру сердито. Сказал:

– Вообразила, что я боюсь. А нисколечки.

Подошел к Снегурочке и поцеловал ее прямо в бледные, красивые губы.

Оттого ли, что это был сочельник, ночь святая и таинственная, – оттого ли, что крепко верили дети в то, что они сами придумали, – оттого ли, что чародейная сказка обвеяла тихий сад тайными очарованиями и влила в излепленный детскими руками мягкий и нежный снег непреклонную волю к жизни, творимой по творческой свободной и радостной воле, – но вот небывалое совершилось, исполнилось детское неразумное желание, – ожила белая Снегурочка и ответила Шурке нежным, хотя и очень холодным поцелуем.

Тихо сказал Шурка:

– Здравствуй, Снегурочка.

Ответила Снегурочка:

– Здравствуй.

Пошевелила тоненькими плечиками, вздохнула легонечко и сама подошла к Нюрке. И Нюлочка поцеловала ее прямо в губы.

– О, какая ты холодная! – сказала Нюлочка.

Снегурочка тихо улыбалась. Сказала:

– На то же я и Снегурка.

Шурочка спросил:

– Хочешь с нами играть, Снегурочка?

Снегурочка сказала спокойно:

– Ладно, давайте играть.

И побежали все трое по дорожкам сада. Играли долго. И всем трем было весело, как никогда раньше.

#### VII

Накрыли на стол вечером, – пить чай. Дети заигрались в саду. Мама позвала их, – не шли. Только веселые слышались в саду голоса. Тогда Николай Алексеевич сказал:

– Пойду-ка я сам, возьму да и приведу их.

– Надень пальто, – сказала Анна Ивановна.

– Ну, я в одну минуту, – сказал Николай Алексеевич, – разве только шарф.

Укутал шею шарфом, надел теплую меховую шапку, всунул ноги в глубокие калоши и вышел в сад. С крыльца крикнул:

– Ребятишки, где вы? Чай пить, живо!

С веселым смехом бежали дети по дорожке. Разбежались, промахали мимо, и было их трое.

Николай Алексеевич сошел в сад. Крикнул:

– Дети, это вы с кем играете?

Дети повернули обратно; подбежали к нему. Николай Алексеевич увидел прелестную маленькую девочку, беленькую, с легким румянцем на щеках, – и удивился ее

Повести и рассказы. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru  
легкому, не по сезону костюму: юбочка легонькая и коротенькая, башмаки легкие, чулочки коротенькие, коленочки голенькие.

Николай Алексеевич спросил:

– Откуда эта девочка? Дети, ведите ее скорее домой, вы ее совсем заморозите.

Дети, перебивая друг друга, звонкими радостными голосами кричали:

– Это – Снегурочка.

– Это – наша Снегурочка, папа.

– Наша сестреночка.

– Мы ее сами сделали.

– Из снега.

– Из самого чистого снега.

– Она будет играть с нами.

– Всю зиму!

– А весной уйдет на высокую гору!

Николай Алексеевич слушал их с недоумением и досадою. Ворчал:

– Глупые фантазии.

Сказал:

– Ну, живо в комнаты. Ты совсем озябла, малюточка? Да ты откуда?

Белая девочка сказала:

– Я – Снегурка. Я из снега.

Нетерпеливо сказал Николай Алексеевич:

– Пойдемте же греться.

Взял Снегурочку за руку.

– Совсем заморозили вашу гостью, – говорил он, – и откуда вы ее взяли? Руки у нее, как лед.

Повел Снегурочку.

Тихо сказала Снегурочка, упираясь:

– Мне туда нельзя.

И дети кричали:

– Папа, оставь ее здесь.

– Она переночует в беседке.

– В комнате она растает.

Но Николай Алексеевич не слушал детей. Он взял холодную Снегурочку на руки и внес в комнаты.

VIII

– Смотри-ка сюда, Нюточка! – крикнул Николай Алексеевич жене, входя в столовую, – какая-то девочка в одном платьице. Наши сорванцы совсем ее заморозили.

Анна Ивановна воскликнула:

– Боже мой! Девочка! Вся холодная. Скорее к камину.

Дети в ужасе кричали:

– Мамочка! Папочка! Что вы делаете! Снегурочка растает! Это – наша Снегурочка.

Но взрослые всегда воображают, что они все знают лучше. Посадили Снегурочку в широкое мягкое кресло перед камином, где весело и жарко пылали дрова.

Николай Алексеевич спрашивал:

– У нас есть гусиное сало?

– Нет, – сказала Анна Ивановна.

– Я схожу в аптеку, – сказал Николай Алексеевич, – надо потереть ей нос и уши, они совсем побелели от мороза. А ты, Нюточка, закутай ее пока потеплее.

Ушел. Анна Ивановна отправилась в свою спальню за теплым чем-нибудь, – закутать Снегурочку.

Шурка и Нюрка стояли, и растерянно глядели на Снегурочку. А Снегурочка?

Что ж, Снегурочке понравилось. Она сидела на кресле, глядела в огонь, и улыбалась, и таяла.

Нюрка кричала:

– Снегурочка, Снегурочка! Спрыгни с кресла, мы отворим тебе двери, беги скорее на мороз!

Тихонько говорила Снегурочка:

– Я таю. Уже не могу я уйти отсюда, я вся истаяла, я умираю.

Текли потоки воды по полу. В глубоком кресле, быстро тая, оседала маленьким снежным комочком белая, нежная Снегурочка. И где ее ручки? Растаяли. И где ее ножки? Растаяли. – Слабый еще раз раздался нежный голос:

– Я умираю!

И уже только груды тающего снега лежала на кресле.

IX

Заплакали ребяташки, – громкий подняли вой. Пришла Анна Ивановна с теплым одеялом. Спросила:

– Где же девочка?

Плача говорили дети:

– Растаяла наша Снегурочка.

Вернулся Николай Алексеевич с гусиным салом. Спросил:

– Где же девочка?

Плача говорили дети:

– Растаяла.

Сердито говорил Николай Алексеевич:

– Зачем вы ее отпустили!



Уверяли дети:

– Она сама растаяла.

Большие и малые смотрели на остатки талого снега и на потоки воды, и не понимали друг друга, и упрекали друг друга:

- Зачем посадил к огню Снегурочку?
- Зачем отпустили девочку, не согревши?
- Злой папа, погубил нашу Снегурочку!
- Глупые дети, что вы говорите нелепые сказки!
- Растаяла Снегурочка!
- Снегу-то сколько натащили!

Плакали маленькие, а большие то сердились, то смеялись.

И не было Снегурочки.

Несобранная проза

Ниночкина ошибка

I

Был летний вечер или, вернее, летняя ночь. У городского головы нашего маленького города справлялись именины дочери, девицы, приданое которой привлекало много желающих попасть в женихи. Наш городской голова ладил со всем городом, и потому к нему собрались в этот вечер все те, из кого состоит наше так называемое общество. Молодежь танцевала под звуки рояля, а пожилые и солидные люди играли в карты в хозяйском кабинете.

Не мешает заметить, что городской голова у нас был не из купцов, как почти все головы небольших русских городов. Он был из местных дворян, имел в городе большой двухэтажный дом, тот самый, где теперь шел «пир на весь мир», и служил прежде председателем мирового съезда, а теперь уже на второй срок был выбран головою. При этом он вел еще и торговлю, и нижний этаж его дома занят был магазином, где можно было найти и дамские наряды, и чай да сахар, и керосин да свечи. Года три назад он овдовел.

В дверях одной из гостиных, где было не так светло, как в других комнатах, и куда мало кто заглядывал, столкнулись два приятеля: учитель Иглин, сухощавый блондин с близорукими серыми глазами, и городской судья Балагуров, плечистый и полный брюнет с яркими губами и самоуверенными движениями, – оба лет тридцати двух.

- Ты куда так стремишься? – спросил Иглин ленивым голосом.
- Ищу визави, – озабоченно отвечал Балагуров. – Ты танцуешь?
- Нет, где мне! – с усмешкой промолвил Иглин.
- Ну что ж ты, – удивился Балагуров. – Так брат нельзя, таким кисляем быть не годится... А я тут около Ниночки занялся.

Хозяйская дочь, именинница, звалась Антониной Филипповной.

- Надеюсь, с успехом? – все с тою же усмешкой спросил Иглин.
- А вот надо актерика этого хорошенько проучить, Полтавского, ухаживать вздумал, пьяница этакий.
- Уж и пьяница!
- Да что тут, – все здешние актеры те же золоторотцы, босяки. Перестанут в одном городе сборы делать, в другой поплетутся по образу пешего хождения, на своих подошвах, вздев сапоги на палочку... Ну, однако, надо бежать.

– Давно пора, – сказал ему вслед Иглин.

II

Иглин отыскивал молодую именинницу. Молодые люди нашего города отличаются почти все застенчивым нравом и в первую половину вечера предпочитают в антрактах между танцами наведываться в столовую, где в изрядном количестве приготовлены всякие утешительные напитки.

Поэтому случилось так, что Иглин нашел Ниночку в разговоре и, кажется, скучном для нее, с одной из ее подруг. Стул возле Ниночки был свободен. Иглин опустился на этот стул, нагнулся к уху Ниночки и спросил ее тихо и быстро:

– Кто лучше: Полтавский или Балагуров?

– как?

Ниночка вскинула на него удивленные глаза и постаралась придать им строгое выражение. Иглин улыбнулся в ответ на ее недоумевающий взгляд и продолжал, настойчиво глядя прямо ей в глаза.

– Для вас-то кто лучше кажется?

– Послушайте, так нельзя спрашивать, – отвечала Ниночка с легонькой растяжкой, стараясь выдержать строгий тон.

И она повернулась было к своей подруге, с которой только что разговаривала, но той уже не было на месте.

– Полноте, отчего нельзя? – убедительно сказал Иглин.

– Отчего?

Ниночка затруднилась ответом: очень уж самоуверенно спрашивал Иглин.

– Да, отчего? – повторил он свой вопрос.

– Ну вот, – сказала Ниночка, – да только вы способны так спрашивать.

– Но, однако, кто же лучше? – настаивал Иглин.

Ниночка засмеялась.

– Балагуров – ваш друг, – сказала она наставительным тоном, поколачивая легким веером по ладони своей маленькой ручки, затянутой в перчатку.

– О, я не передам ему того, что вы мне скажете.

– Да, в самом деле? – спросила Ниночка, лукаво улыбаясь. – Вы меня утешили. А я боялась, право боялась.

– Боялись Балагурова? Вот уж...

Иглин остановился.

– Что «вот уж?» – спросила Ниночка.

– Нет, это я так... Ну-с, и так, кто же лучше?

И он наклонился к девушке с тем доверчивым видом, который часто заставлял людей быть с ним более откровенными, чем они сами желали.

– Знаете, – нерешительно сказала Ниночка, – ваш друг Балагуров чванен и скучен не по возрасту.

– А не правда ли, – с живостью подхватил Иглин, – как мил и остроумен Полтавский?

Ниночка вспыхнула, смешалась и проговорила смущенно:

– Ах, да, это правда.

– А вы знаете его фамилию? – спросил Иглин, опять принимая насмешливый вид.

– Вот странный вопрос! – с неудовольствием отвечала Ниночка. – Вы всегда шутите, но не всегда удачно.

– Полтавский только на сцене, – медленно говорил Иглин, словно наслаждаясь неудовольствием Ниночки, – а настоящая его фамилия, так вы ее не знаете?

– Нет, – сухо сказала Ниночка, но голубые ее глазки зажглись любопытством.

– Да, так его настоящая фамилия – Фунтиков.

– Вот как, – с удивлением сказала Ниночка, и ее хорошенькие брови легонько приподнялись.

– Да, да, Фунтиков, – продолжал, безжалостный Иглин, – буйский мещанин. Знаете, в Костромской губернии есть такой городишко Буй, – славное имечко, не правда ли?

– Однако, что же из этого? – досаду спросила Ниночка.

– Так, к слову пришлось, – равнодушно сказал Иглин и опустил свои глаза.

Лукавая усмешечка скользила на его тонких губах, под светлыми усами. Ниночка посмотрела на него с досадой и теперь все в нем ей не нравилось, даже эти усы, которые так скверно шевелились.

«Этакий противный!» – подумала Ниночка.

Она была еще очень молоденькая и наивная девочка, не умела еще скрывать своих чувств, и не один Иглин замечал, что ее веселенькие глазки особенно ласково посматривали на Полтавского.

### III

Полтавский был звездой нашего маленького театра. Некоторые из дам, восторгавшиеся его талантом, пророчили ему блестящую будущность, хоть и прибавляли при этом:

– Но, моя милая, вы знаете, что нынче даже и на этом поприще нужен не столько талант, сколько счастье и протекция, особенно протекция.

У Полтавского не было протекции, не было большого счастья, а может быть, не было и большого таланта. Как бы то ни было, его у нас любили, и он делал хорошие сборы. Он нес на своих плечах, – сильный был молодой человек! – почти весь репертуар, играя и городничего в «Ревизоре», и «Гамлета», и все, что придется, пел куплеты в водевилях и оперетках, читал стихи и сцены из еврейского быта в дивертисментах и изображал красавцев или злодеев в живых картинах.

Вне сцены он был красивый и разбитной малый, что называется на все руки мастер и душа компании: мог выпить сколько угодно, а пьян не бывал, и в такие моменты артистически играл в стукалку с опьяневшими молодыми купчиками, которые приходили в азарт и бешено проигрывали.

Впрочем, деньги не держались подолгу в карманах Полтавского, он живо находил для них более или менее веселое употребление.

– Не мы для денег, – говаривал он, – а деньги для нас, стало быть, нечего сквалыжничать.

### IV

Полтавский танцевал с Ниночкой кадрили и бросал ей, в удобные минуты, умоляющие фразы.

Ниночка раздурманилась и опустила глазки.

– Антонина Филипповна, прикажите жить или умереть! – патетически прошептал Полтавский.

– Лучше живите, – нежно сказала Ниночка.

– Без вас мне не жить, – решительно сказал пылкий Фунтиков, – ежели вы отвергните страсть моего сердца, то мне один конец в цвете моих лет: камень на шею и бултых в воду.

– Зачем вы так говорите, – с нежным упреком сказала Ниночка, – ведь вы знаете...

И она замолчала, не кончив: пришла очередь делать фигуру.

– Папенька хочет, чтоб я вышла за Балагурова, – сказала Ниночка, когда они вернулись на место.

– Ах, Антонина Филипповна, погибать мне видно!

– Так ведь это папенька, а я не хочу. Он еще не сделал предложения.

– Антонина Филипповна, разрешите мне переговорить с папенькой вашим!

– О чем? – спросила Ниночка и лукаво усмехнулась, а сама вся пуще прежнего зарделась.

– О счастье всей моей судьбы, о том, чтоб мне отдали вашу божественную ручку вместе с вашим золотым сердечком.

– А если папенька откажет вам? – озабоченно спросила Ниночка.

Фунтиков (он же Полтавский) сделал отчаянное лицо и сказал замогильным голосом:

– Вы, Антонина Филипповна, по приказанию папеньки выйдете за Балагурова, а мне, известно, один конец: камень на шею...

– Ах, нет, нет! – испуганно перебила Ниночка, – я ни за кого не выйду... кроме вас, – совсем тихонько прибавила она.

Фунтиков опять расцвел.

– А в таком случае я добьюсь вашей руки, хоть бы сто кощеев бессмертных стерегли вас.

Я опущусь на дно морское,  
Я полечу за облака!

– Послушайте, ваша настоящая фамилия ведь не Полтавский? – робко спросила Ниночка.

Фунтиков слетел с облаков на землю.

– Нет, – сконфуженно сказал он.

– А как же? – спросила Ниночка, ласково улыбаясь ему.

– Фунтиков, – пролепетал он, как напроказничавший школьник.

– Ну это еще не большая беда, – снисходительно заметила Ниночка. – Я буду госпожа Фунтикова!

И она закусила свои румяные губки, но через минуту не выдержала и засмеялась.

– Забавно, – сказала она, – госпожа Балагурова лучше.

Фунтиков взъерошил волосы и сделал отчаянное лицо.

– Что ж, – уныло сказал он, – мне один конец...

– Нет уж, пожалуйста, – опять перебила Ниночка, – нельзя ли без камня. Пусть уж

Повести и рассказы. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru  
я лучше буду фунтиковой.

Полтавский опять пришел в восторг.

– Позвольте вам сказать, – пылко заговорил он, – что я хоть и Фунтиков, а только что любовь моя к вам на очень много пудов тянет. А тоже и Балагурова фамилия на скоморошью стать смахивает.

Ниночка засмеялась.

V

Кадриль кончилась, но Ниночка и актер продолжали оживленно разговаривать.

Иглин подошел к Балагурову и сказал ему с своею ленивой усмешкой:

– Мне кажется, что наша юная именинница находит Полтавского пленительным.

– Ну это, брат, дудки, – самоуверенно ответил Балагуров.

– Однако посмотри, как они оживленно беседуют, – продолжал Иглин, слегка поводя в ту сторону, где сидела влюбленная парочка своим тяжелым пенсне в золотой оправе.

– А вот я его сейчас спугну, – злобно проворчал Балагуров.

Он подошел к Полтавскому, бесцеремонно хлопнул его по плечу и сказал:

– Ну что тут лясы точить, пойдем, брат, лучше выпьем.

Полтавский принял вид из «Ревизора» и сказал беззаботно, как Хлестаков:

– Пойдем, душа моя, выпьем.

– Уж вы извините, Антонина Филипповна, – обратился Балагуров к молодой имениннице со своею обычной самоуверенно-покровительственной манерой, – я вижу, что он вам надоел хуже горькой редьки.

Полтавский галантно раскланялся с Ниночкой и пошел за Балагуровым.

Ниночка задумчиво посмотрела им в след. «Полтавский красивее, – думала она, – но какая у него фамилия! Балагурова – это гораздо приличнее, но зато он сам противный. Как он смеет так самоуверенно обращаться!»

VI

В столовой Балагуров и актер молча выпили по рюмке рябиновой и молча закусили.

– Повторим, что ли, – угрюмо сказал Балагуров, злобно посматривая на розоватый галстучек актера, повязанный небрежно и сидевший немного вбок.

– Повторим, душа моя, куда ни шла, – беспечно откликнулся Полтавский, потянулся за бутылкой и запел довольно приятным тенорком:

Мы живем среди полей  
И лесов дремучих,  
Но счастливей и вольней  
Всех вельмож могучих.

– Что, брат, не собрался ли жениться, – спросил его Балагуров.

– Справедливое наблюдение изволили сделать, сеньор; публика мало поощряет сценические таланты, и для избежания карманной чахотки женитьба – отличное средство.

– Гм! А где невеста?

– Невесту найдем, почтеннейший сеньор; этим добром Бог всякого накажет.

– Что ж, присмотрели купеческую дочку? – допрашивал Балагуров, все больше и больше свирепея.

– Зачем же непременно купеческую? – ответил вопросом Полтавский с беззаботным и даже легкомысленным видом.

– Ну, мещанскую, что ли?

– Зачем же мещанскую? При наших талантах, да при наших усиках мы и настоящую барышню всегда прельстить можем.

– Ну, брат, гни дерево по себе, – злобно проворчал Балагуров.

Актер сделал лицо приказчика из бытовой комедии:

– Помилуйте, господин, напрасно обижать изволите. Чем мы не взяли: и ростом, и дородством, и обращением галантерейным. Нет уж, сделайте милость, дозвоьте иметь надежду.

– По чужой дорожке ходишь, чужую травку топчешь, – гневно и отчетливо проговорил Балагуров, бешеным взором глядя на Полтавского, – смотри, как бы шею не сломать.

Фунтиков сделал глупое лицо из народной пьесы:

– Ась? – заговорил он. – Это, то есть, к чему же? Невдомек маненечко...

Балагуров пробормотал еще что-то, очень неласковое, отошел от стола и вышел из столовой.

Актер саркастически улыбнулся и покачал головой.

#### VII

На другой день утром Полтавский явился к Ниночкину отцу, Филиппу Ивановичу Животову. У него был торжественный и смущенный вид. Филипп Иванович принял его в своем кабинете. Через полчаса Полтавский вышел оттуда. Вид у него был тоже смущенный, но несколько не торжественный. Животов проводил его до передней и постоял с ним молча, пока актер надевал свое пальто.

– Так, значит, последнее слово? – спросил Полтавский срывающимся голосом.

– Последнее, почтительнейший, – отвечал Животов очень спокойно, но и очень уверенно.

Полтавский вышел. Он услышал, как запирали за ним дверь на замок. Тихонько спускался он с лестницы.

Вдруг из боковой дверцы выскочила Ниночка. У нее было встревоженное и озабоченное лицо.

– Ну что, как? – быстро спросила она.

Фунтиков безнадежно махнул рукой.

– Наотрез отказал и ходить не велел, – уныло объявил он.

Ниночкины глазки засверкали.

– Нет, этому не бывать, – сказала она, сжала досадливо маленькие кулачки и вдруг горько заплакала.

– Эх, Ниночка, – сказал Полтавский, – что горевать, нельзя честью, так мы убегом.

– Нет, нет, я упрощу папеньку, – говорила Ниночка, всхлипывая.

Вдруг она быстро прильнула к Полтавскому, обвила его шею белыми тонкими ручками, шепнула:

– Милый, я только тебя люблю.

Потом быстро поцеловала его прямо в губы и скрылась, бросив ему на прощанье маленькую оговорочку:

– Хоть ты и фунтиков.

За дверцой, куда скрылась Ниночка, услышал он ее серебристый смех сквозь слезы и быстрый топоток убегающих маленьких ножек.

#### VIII

Ниночка пошла в кабинет отца с негодующим видом и с решительными намерениями.

– Зачем ты отказал ему? – запальчиво спросила она.

Отец поднял на нее строгие глаза, и Ниночкина запальчивость мигом растаяла.

– Зачем? – тихонько повторила она, села у дверей на стуле и заплакала.

Она достала из кармана платок и спрятала в него хорошенький, покрасневший носок.

– Затем, что он прохвост, – спокойно отвечал отец, откидываясь на спинку кресла плотным станом, начинавшим жиреть. Его быстрые черные глаза пристально осматривали Ниночку.

– Беден, так уж и бранить его, – ворчливо сказала Ниночка.

– Беден? Не беспокойся, он игрой в карты проживет: играет с пьяными и наверняка обыгрывает.

– Это неправда, неправда, – закричала Ниночка, – на него наклеветали.

– Он тебе не пара, малообразованный, постоянно ломается, пьяница, мот, картежник, и еще есть за ним художества, о которых я тебе и говорить не стану.

– Я люблю его, – с отчаянием заговорила Ниночка, – и ни за кого не пойду, кроме него. Он хороший, хороший, я его люблю, люблю.

И Ниночка горько заплакала и застучала по полу маленькими своими ножками, как избалованный ребенок.

– Антонина! – строго сказал отец, и в его голосе зазвучала такая бешенная нотка, что Ниночка мигом угомонилась. – Довольно, Антонина, – продолжал отец, – я тебе объяснил, почему ему отказано. Иди, мне некогда.

Ниночка подбежала к отцу, стала на колени и, ласкаясь и плача, шептала:

– Папенька, я люблю его. Я не могу без него жить.

– Проживешь, голубушка, – сказал отец, принимая опять спокойный тон. – Иди, иди, Ниночка, ты мне мешаешь.

#### IX

После обеда в большом саду Ниночкина отца, на скамейке под развесистым деревом сидели Ниночка и Балагуров. Ниночка имела недовольный и огорченный вид, Балагуров был самоуверен как всегда.

– Я вас люблю, Ниночка, – повторил он.

– Да я вас не люблю, ведь я вам сказала.

– Этого не может быть, – уверенно говорил он, – я люблю вас так сильно, так пылко, так горячо хочу вашей любви, что такая любовь не может остаться без ответа.

Ниночка встала и хотела уйти. Балагуров удержал ее.

– Извините, Ниночка, еще одно слово.

Ниночка вспыхнула ярким румянцем.

- Не смейте называть меня Ниночкой. И знайте, что я не вас люблю.
- Полноте, Ниночка, Полтавского вы не любите, это только детская прихоть.
- Люблю, люблю.
- Да и он вас не любит.
- Да? – насмешливо спросила Ниночка.
- Да, Ниночка, вы будете моею и полюбите меня.
- Никогда. И как вы смеете... Вы – нахал...
- Благовоспитанные барышни не ругаются, Ниночка. Вы полюбите меня, потому что я силен и честен, и смею любить, и люблю вас больше моей жизни. Я не хочу жить без вас. Только мертвый уступлю я вас другому, и вы будете любить меня, клянусь честью.

Разгоревшееся и смелое лицо было в эту минуту так мужественно красиво, что негодующая и раскрасневшаяся Ниночка смутилась, и какая-то смутная боязнь пробежала по ней. А глаза Балагурова глядели так властно и в тоже время с такою мольбою, что Ниночка не могла отвести от них своих голубых глазок.

- Никогда, – повторила она неуверенным голосом.
- А вот и залог вашей любви, – страстно шепнул Балагуров, охватил могучими руками ее тонкую талию и поцеловал ее прямо в пунцовые губки.

Ниночка отчаянно вскрикнула и рванулась из его рук. Балагуров не удерживал ее.

- Целовал ли он вас так? – спросил он ее, когда она быстро побежала от него к дому.

Ниночка приостановилась, положила руку на грудь, тяжело перевела дыхание и крикнула:

- Конечно нет. Он не такой дерзкий.

Балагуров радостно засмеялся и пошел к Ниночке. Она вскрикнула и убежала.

В тот же день вечером Ниночкин отец объявил ей, что Балагуров просит ее руки.

- И я надеюсь, – прибавил Филипп Иванович, – что ты согласишься.

Ниночка и плакала и просила, отец стоял на своем.

Ниночка знала, что насильно ее замуж не выдадут, но знала и то, что отец настойчив. И вот она написала Фунтикову о своем горе, а преданная ей горничная, Любаша, вызвалась доставить письмо по секрету.

Ниночкино письмо попало актеру между двух рюмок водки, пятнадцатой и шестнадцатой, – и он мигом составил план овладеть Ниночкиной рукой и ее приданым; не даром говорится, что пьяному море по колено. Хотя Фунтиков от водки не пьянел, но все же делался отважен.

Х

На другое утро Полтавский явился в дом Животова еще торжественнее и решительнее, чем в прежний раз.

- Доложи Филиппу Ивановичу, – сказал он Любаше, снимавшей с него пальто, и что-то сунул ей в руку.

Любаша зарделась от удовольствия и пошла докладывать. Фунтиков охорашивался перед зеркалом.



Любаша вернулась, смущенная.

– Просят извинить, не могут принять.

– Скажи, что я по делу, важному дня самого Филиппа Ивановича, – спокойно приказал Фунтиков.

Любаша пошла и принесла тот же ответ. По-видимому, Фунтиков этого ждал. Пока она ходила, он карандашом написал на своей карточке: «Совершенно необходимо поговорить с Вами наедине. Задержу недолго и в последний раз. Дело щекотливое; я могу передать его через посторонних, но, уверяю вас, для вас самих лучше без огласки».

Он отдал карточку Любаше, и она пошла третий раз. Через минуту она вернулась и сказала:

– Просят пожаловать.

– Давно бы так, – проворчал Фунтиков и пошел за Любашей.

Любаша отворила ему дверь кабинета.

Животов встретил его холодным поклоном, руки не подал и с сухой вежливостью пригласил сесть. Фунтиков раскинулся в кресле с видом победителя.

– Чем могу служить? – спросил Животов, пристально и строго глядя на актера.

Полтавский слегка поклонился:

– Имею честь, – сказал он с улыбкой, – просить у вас руки вашей дочери.

– Больше ничего не имеете сказать? – ледяным тоном спросил хозяин.

– А это глядя по ответу, – развязно сказал Полтавский, засовывая руки в карманы.

– Это дело между нами окончательно покончено.

– Так-с, – протянул актер. – А только все-таки я вас убедительно прошу передумать, потому что я люблю..

– Все это я слышал, – перебил Животов, – если больше ничего не имеете, то и говорить не о чем.

– Иметь-то я имею, почтеннейший Филипп Иванович, только лучше..

– Говорите прямо, без предисловий, – нетерпеливо прервал хозяин.

– Как угодно-с, – поклонился Полтавский и нахально усмехнулся, – прося руки вашей дочери, я исполняю долг честного человека, поймите, долг..

Но продолжать было не надо. Актер почти испугался действия своих слов. Весь побагровевший, шатаясь, поднялся Животов со своего кресла и тяжело двинулся к Фунтикову, который тоже встал.

– Лжешь, негодяй, – прохрипел Животов и тяжело опустил руку на плечо актера.

Актер струсил, но старался скрыть это.

– Полегче, любезнейший, – сказал он, – честью любимой девушки не шутят.

– Где? – бешено крикнул Животов.

– Да в вашем же саду.

Животов упал в кресло и схватился руками за голову.

– Ты, пьяница, шулер, альфонс! – бешено вскрикивал он. – Ты посмел подойти к моей дочери.

– Я не буду пить, – угрюмо сказал Фунтиков, – я не буду играть, любовь меня возвысила.

– И ты думаешь, что я отдам тебе свою дочь! – закричал Животов, яростно вскакивая. – Вон, негодяй!

– Что ж, в городе узнают, – нахально сказал актер.

Животов схватил со стола тяжелый подсвечник. Полтавский мигом очутился у дверей.

– Стой, – крикнул Животов, догоняя его, – признайся, ведь ты солгал! Ты оклеветал ее, мою невинную голубку.

Актер внимательно посмотрел на несчастного отца.

«Ну нет, – подумал он, – сегодня же за мною пришлешь».

– Я сказал правду, – начал он, но тотчас же поспешил скрыться.

Филипп Иванович метался в кабинете, как бешенный зверь. На его неистовый звонок появилась Любаша.

– Барышню ко мне, – приказал он.

Перепуганная Ниночка пришла сейчас; она слышала бешеные вскрики отца и уверения актера, что все обойдется, не успокоили ее.

Бедная девочка не могла взять в толк, на что гневается ее папенька и какого признания от нее требует. Она плакала и лепетала что-то наивное, а отцу казалось, что она признается. Его бешенству, казалось, не было предела. Но он удерживался изо всех сил, чтобы не ударить Ниночку: ему казалось, что он может теперь убить дочь, если даст себе волю.

– Ну, дочка, – сказал он наконец, – осрамила ты мою седую голову. А за Фунтиковым все же тебе не бывать. Иди в свою комнату и жди, жди розог, ты их заслужила.

XI

На Ниночкино счастье приехала как раз в то время, когда Ниночка замирала от страха в своей комнате, ее тетка, Надежда Ивановна Яхонтова, приехала к брату погостить из Москвы, где жила с своим мужем.

Она выслушала бешеный и нестройный рассказ Животова, потом пошла к Ниночке.

Тетя и племянница просидели вместе часа два. Ниночка плакала, тетя очень осторожно выпрашивала ее.

Вдруг Ниночкины глазки засверкали.

– Ах, тетя, – воскликнула она дрожащими губками, – какой он подлец!

Тетя перекрестила ее, потом с веселым лицом пошла к брату.

– Конечно, это клевета, – сказала она, входя в его кабинет.

Через полчаса Ниночку опять позвали к отцу.

– Извини, голубка моя, – сказал ей отец, нежно обнимая ее, – я погорячился и, оказывается, напрасно. А чтобы вознаградить тебя за напрасную обиду, я позволяю тебе, уж если ты непременно хочешь, выходи за...

– Нет, нет, папочка, ни за что, я не хочу теперь и слушать о нем, – перебила Ниночка, ласкаясь к отцу.

Животов улыбнулся и поцеловал ее.

– То-то, мой друг, я тебя не обманывал... Теперь сама видишь, что за человек.

## XII

Балагуров добился-таки своего. Ниночка его полюбила и осенью была их свадьба.

Ниночка очень счастлива с мужем.

Когда она хочет капризничать, муж называет ее «madame Фунтикова». Ниночка смеется и делается опять нежною и ласковою. Да и как же иначе! Ведь муж так горячо, так страстно любит ее.

Царица поцелуев

Сколь неразумны бывают и легкомысленны женские лукавые желания и к каким приводят они страшным и соблазнительным последствиям, тому примером да послужит предлагаемый рассказ, очень назидательный и совершенно достоверный, о некоторой прекрасной даме, которая пожелала быть царицею поцелуев, и о том, что из этого произошло.

В одном славном и древнем городе жил богатый и старый купец по имени Бальтасар. Он женился на прекрасной юной девице, – ибо бес, сильный и над молодыми, и над старыми, представил ему прелести этой девицы в столь очаровательном свете, что старик не мог воспротивиться их обаянию.

Женившись, Бальтасар раскаивался немало, – преклонный возраст не давал ему в полной мере упиться сладостями брачных ночей, а ревность скоро начала мучить его. И не без основания: молодая госпожа Мафальда, – так звали его жену, – скучая скучными ласками престарелого супруга, с вождением смотрела на юных и красивых. Бальтасару же по его делам приходилось отлучаться из дому на целые дни, и только в праздники мог он неотлучно быть с Мафальдою. И потому Бальтасар приставил к ней верную старую женщину Барбару, которая должна была неотступно следовать всегда за его женою.

Скучна стала жизнь молодой и страстной Мафальды: уже не только нельзя было ей поцеловать какого-нибудь красивого юношу, но и украдкой брошенный на кого-нибудь умильный взгляд навлекал на нее суровые укоры и беспощадные наказания от ее мужа: ему обо всем доносила сварливая, злая Барбара.

Однажды в знойный летний день, когда было так жарко, что даже солнце тяжело задремало в небе и не знало потом, куда ему надобно идти, направо или налево, заснула старая Барбара. Молодая Мафальда, сняв с себя лишнюю одежду и оставив на себе только то, что совершенно необходимо было бы даже и в раю, села на пороге своей комнаты и печальными глазами смотрела на тенистый сад, высокими окруженный стенами.

Конечно, никого чужого не было в этом саду, да и не могло быть, так как единственная калитка в заборе давно уже была наглухо заколочена и попасть в сад можно было только через дом, – а в дом никого не впускали крепко запертые наружные двери. Никого не видели печальные очи пленной молодой госпожи. Только резкие тени неподвижно лежали на песке расчищенных дорожек, да деревья с блеклою от зноя листвою изнывали в неподвижном безмолвии замороженной своей жизни, да цветы благоухали пряным и раздражающим ароматом.

И вдруг кто-то тихим, но внятным голосом окликнул Мафальду:

– Мафальда, чего же ты хочешь?

Промолчать бы ей, уйти бы ей в комнаты, закреститься бы ей от нечистого наваждения, – нет, Мафальда осталась. Мафальда встrepенулась. Мафальда с любопытством огляделась кругом. Мафальда лукаво усмехнулась и шепотом спросила:

– Кто там?

И недалеко от нее, в розовых кустах, откуда пахло так томно и нежно, засмеялся кто-то тихо, но таким звонким и сладким смехом, что от непонятной радости замерло сердце Мафальды. Вот только пошептала она с лукавым искусителем – и уже подпала под власть его поганых чар.

И опять заговорил неведомый гость, и ароматом повеяли его обольстительные слова:

– Госпожа Мафальда, что тебе в моем имени? И показаться я тебе не могу. Ты же поспеши сказать мне, чего ты желаешь и о чем ты томишься, и я все исполню для тебя, прелестная дама.

– Почему не хочешь ты показаться мне? – спросила любопытная Мафальда.

– Госпожа, ты так легко одета, – отвечал Мафальде неведомый посетитель, – длинны и густы твои черные косы, но все-таки они не закрывают совсем твоих восхитительных ног, и если я выйду сейчас, то тебе, госпожа, будет стыдно.

– Ничего, никто нас не увидит, Барбара спит, – сказала Мафальда.

Но чуток сон злых старух, стерегущих молодых красавиц. Барбара услышала свое имя и проснулась. Стала на пороге рядом с госпожою, подозрительно осмотрелась и спросила:

– Госпожа Мафальда, с кем ты разговаривала сейчас? Кто был у тебя в этом саду?

– С кем говорить мне! – досадливо ответила Мафальда, – здесь никого не было, да и кто мог бы попасть в этот сад? Разве только нечистый, а что мне с ним разговаривать? Не большая улада!

Но старуха недоверчиво покачивала головою и бормотала:

– Хитры молодые жены старых мужей. Я чувю, что здесь был кто-то: не чертом пахнет здесь, а молодым кавалером в бархатном берете и красном плаще. Крутя одной рукою черный ус и другою рукою опираясь в бок около рукоятки своей острой шпаги, он стоял там, за розовым кустом, и говорил тебе слова, за которые твой муж заплатит тебе уже звонкою монетою.

Настала ночь, но не стало прохладно. Такая же душная, такая же томная, как день, была и черная ночь.

Жестоко высеченная мужем по доносу злой Барбары, долго плакала Мафальда и не хотела заснуть. Рядом с нею на супружеском ложе тихо похрапывал почтенный купец Бальтасар, насладившийся в меру своих старческих сил вынужденными ласками наказанной жены.

И вдруг опять услышала Мафальда над собою тот же искусительный сладкий голос:

– Мафальда, говори скорее, чего же ты хочешь? Говори скорее, пока не проснулся муж, пока никто не знает, что я здесь.

И уже не медлила Мафальда ни минуты и сказала, приподнявшись на подушках и в темноту ночную обратив вожделяющий взор:

– Хочу быть царицею поцелуев.

Засмеялся неведомый посетитель, и опять все стало тихо. Но в себе почувствовала Мафальда какую-то перемену. Еще не знала она, в чем состоит эта перемена, но уже радостно ей было.

Она заснула сладко и крепко и видела радостные и страстные сны. Многие прекрасные юноши приходили к ней и осыпали ее такими пламенными поцелуями, каких, казалось, никто еще не ведал ни на земле, ни на небе. И снилось Мафальде, что сила ее нескончаема и что она может перецеловать всех юношей того города и многих других городов и всех их одарить пламенными ласками до утомления, до смерти.

И утро настало, и загорелась великая в теле Мафальды жажда поцелуев. Едва только ушел на свою торговлю ее муж, Мафальда сбросила с себя все одежды и вознамерилась выйти на улицу.

Барбара закричала неистовым голосом, призывая слуг, и хотела силою удержать в доме госпожу. Но Мафальда быстрым ударом повергла на пол злую приставницу свою, локтями и кулаками растолкала всех слуг и служанок и выбежала на улицу нагая, громко вопия:

Повести и рассказы. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru

– Прекрасные юноши, вот иду я на перекрестки ваших улиц, нагая и прекрасная, жаждущая объятий и пламенных ласк, я, великая царица поцелуев. Вы все, смелые и юные, придите ко мне, насладитесь красотой и буйным дерзновением моим, в моих объятиях испейте напиток любви, сладостной до смерти любви, более могущественной, чем и самая смерть. Придите ко мне, ко мне, к царице поцелуев.

Заслышав пронзительно-звонкий зов Мафальды, отовсюду поспешно сбежались юноши того города.

Красота юной Мафальды и еще более, чем эта красота, бесовское обаяние, разлитое в ее бесстрашно и дерзко обнаженном предо всеми теле, распалили желания сбежавшихся юношей.

Первому же из них открыла юная Мафальда свои страстные объятия и упоила его блаженством сладостных поцелуев и страстных ласк. Отдала она его желаниям свое прекрасное тело, простертое здесь же, на улице, на поспешно разостланном широком плаще ее любовника. И пред очами вожделеющей толпы юношей, испускающих вопли страсти и бешеной ревности, быстро насладились они горячими ласками.

Едва разомкнулись объятия первого любовника, едва склонился он к ногам прекрасной Мафальды в страстной истоме, желая кратким отдыхом восстановить любовный неистовый пыл, оттащили его от Мафальды. И второй юноша завладел телом и жаркими ласками Мафальды.

Густая толпа вожделеющих юношей теснилась над ласкающимися на жестких камнях улицы.

– Им жестко, – сказал кто-то благоразумный и добрый, – подложим им свои плащи, чтобы и для себя приготовить пышное ложе, когда придет наш черед возлечь с царицею поцелуев.

И вмиг гора плащей воздвиглась среди улицы.

Один за другим бросались юноши в бездонные объятия Мафальды. И отходили в изнеможении один за другим, а прекрасная Мафальда лежала на мягком ложе из плащей всех цветов, от ярко-красного до самого черного, и обнимала, и целовала, и стонала от беспредельной страсти, от не утоляемой ничем жажды поцелуев. И свирельным голосом вопила, идалече окрест был слышен голос ее, зывающий так:

– Юноши этого города и других городов и селений, ближних и дальних, придите все в объятия мои, насладитесь любовью моею, потому что я – царица поцелуев, и ласкания мои неистощимы, и любовь моя безмерна и неутомима даже до смерти.

Разнеслась по городу быстрокрылая молва о неистовой Мафальде, которая лежит обнаженная на перекрестке улиц и предает свое прекрасное тело ласканиям юношей. И пришли на перекресток мужи и жены, старцы, и почтенные господа, и дети, и широким кругом обступили тесно сплотившуюся толпу неистовых. И подняли громкий крик, укоряли бесстыдных и повелевали им разойтись, угрожая всею силою родительской власти, и гневом Божиим, и строгою карою от городских властей. Но только воплями распаленной страсти отвечали им юноши.

И Бальтасар пришел и рвался к жене, яростно вопия, расточая удары и кусаясь. Но не пустили его юноши к Мафальде. Обессилел старик и, стоя поодаль, рвал на себе одежду и седые волосы.

Пришли городские старейшины и повелели бесстыдному сборищу разойтись. Но не послушались юноши и продолжали толпиться вокруг прекрасной обнаженной Мафальды. И уговоры патеров не подействовали на них. И уже долго длилось позорище, и уже клонился к вечеру день.

Позвали тогда стражу. Воины набросились на юношей, избивли многих, других кое-как разогнали. Но вот увидели они обольстительное, хотя уже измятое многими ласками тело Мафальды и услышали ее свирельно-звонкий вопль:

– Я – царица поцелуев. Придите ко мне все, жаждущие сладостных утешений любви.

Забыли воины свой долг. И тщетно восклицали старейшины:

– Возьмите безумную Мафальду и отнесите ее в дом к ее супругу, почтенному Бальтасару.

Воины, как перед тем юноши, обступили Мафальду и жаждали ее объятий. Но так как они были грубые люди и не могли соблюдать очередь, как делали это учтивые и скромные юноши того города, хорошо воспитанные их благочестивыми родителями, то они разодрались, и пока один из них обнимал Мафальду, другие пускали в ход оружие, чтобы решить силою меча, кто должен насладиться несравненными прелестями Мафальды. И многие были ранены и убиты.

Не знали старейшины, что делать. Совещались на улице близ того места, где неистовая Мафальда вопила в объятиях солдат и осыпала их неутомимыми ласками.

Случай, который при всяких других обстоятельствах следовало бы признать ужасным, пришел на помощь сгорающим от бессильного гнева и стыда старейшинам города. Один из солдат, юный и сравнительно с другими слабый, но страстный не менее остальных, не мог дожидаться возможности приблизиться к обольстительному телу Мафальды. Он ходил вокруг места, где сладостные звучали поцелуи, где неистощимая любовь дарила не сравнимые ни с чем наслаждения его товарищам, – и отталкивали его от этого милого места товарищи его и грубо смеялись над ним. Он лег на камни мостовой, жесткие, холодные, – ибо уже целый день прошел и ночная тьма спустилась над городом, – лег на камни, закрыл голову плащом и завыл жалобно от обиды, стыда и бессильного желанья. Сожигаемый злобою, украдкой схватился он за свой кинжал и тихо, тихо, как в траве крадущаяся змея, пополз между ногами толпившихся солдат. И приблизился к Мафальде. Ощупал горячими руками ее похолодевшие ноги и в трепещущий бок ее вонзил быстрый кинжал.

Громкий визг раздался и прерывистый вой. В руках ласкавшего ее солдата умирала Мафальда и стонала все тише. Захрипела. Умерла.

Обрызганный ее кровью, поднялся солдат.

– Кто-то зарезал царицу поцелуев! – завопил он свирепо. – Кто-то злой помешал нам насладиться ласками, которых еще никто не знал на земле, потому что первый раз к нам сошла царица поцелуев.

Смутились солдаты. И стояли вокруг тела.

Тогда подошли старцы, уже бесстрастные от долготы пережитых ими лет, подняли тело Мафальды и отнесли его в дом к старому Бальтасару.

В ту же ночь молодой солдат, убивший Мафальду, вошел в ее дом. Как случилось, что его никто не заметил и не остановил, не знаю.

Он приблизился к телу Мафальды, лежащему на кровати, – еще не был сделан гроб для покойницы, – и лег рядом с нею под ее покрывалом. И, мертвая, разомкнула для него Мафальда свои холодные руки и обняла его крепко, и до утра отвечала его поцелуям поцелуями холодными и отрадными, как утешающая смерть, и отвечала его ласкам ласками темными и глубокими, как смерть, как вечная узорешительница смерть.

Когда вззошло солнце и знойными лучами пронизало сумрак тихого покоя, в этот страшный и томный, в этот рассветный час в объятиях обнаженной и мертвой Мафальды, царицы поцелуев, под ее красным покрывалом умер молодой воин. Разъединяя свои объятия, в последний раз улыбнулась ему прекрасная Мафальда.

Я знаю, что найдутся неразумные жены и девы, которые назовут сладким и славным удел прекрасной Мафальды, царицы поцелуев, и что найдутся юноши столь безумные, чтобы позавидовать смерти ее последнего и наиболее обласканного ею любовника. Но вы, почтенные, добродетельные дамы, для поцелуев снимающие одни только перчатки, вы, которые так любите прелести семейного очага и благопристойность вашего дома, бойтесь, бойтесь легкомысленного желанья, бегите от лукавого соблазнителя.

Томление к иным бытиям

слова начинательные

Дню моему – сон и мечтание, ночи – томление.

Так начертано в книге судеб, и неизменно это начертание, неизменно до конца.

Когда для других восходит яростное солнце, призывающее к трудам и достижениям, тоска моя говорит мне хриплым голосом:

– Еще один день ненужного, бесцельного бытия. Но не бойся, – я с тобою. На всех путях твоих я с тобою.

Так утешает она меня: она думает, что я боюсь одиночества. Но приходят сны и мечтания и озаряют бесконечную пустыню ненужного дня.

И сны мои странные для людей, и кто из них не назвал бы их жестокими!

И мечтания мои еще страннее и жесточе. Ибо они совсем и во всем – мои, и я веду их в долину странного инобытия.

Созданная по образу и подобию земного мира, населена она вампирами и кошмарами, – самое, однако, миролюбивое население. Неба и солнца нет в долине инобытия, – свет исходит только от созерцающего и только для него. Никому не дается с принуждением созерцать образы чуждого мира.

Истинно, свобода обитает в долине инобытия.

Свобода и союз. Все вместе, и все по законам своей и моей свободы. И если проливается кровь, то это – только моя кровь, радостно пролитая.

Когда же наступает ночь, успокаивающая трудившихся человечков, приходит ко мне томление мое и говорит мне:

– Не бойся, я опять с тобою.

И оно думает, что я боюсь одиночества.

Боюсь ли я одиночества?

Если бы вампиры и кошмары оставили меня, я не был бы одинок. Из тьмы небытия извел бы я к свету истинного инобытия иные сны, иных вампиров извел бы я от небытия. Источающих мою кровь и пожирающих плоть мою. Ибо я не люблю жизни, бабищи румяной и дебели.

1

В ожидании истязаний, задуманных мною, я томился тоскою и страхом, на узкой сидя скамье.

Я был один, – пока еще один. Келья моя была мала и тесна и заперта извне на крепкий замок. Стены у нее были голые и мрачные, как стены темницы. А за стеною шептались и смеялись заглушёнными голосами, чтобы я не слышал.

Но только я и мог слышать. И кто же иной мог здесь быть, и видеть, и слушать?

Окно кельи было высокое, под мрачным сводом моей темницы томилось оно, и как будто бы его и вовсе не было. И если был свет, то не из этого окна. А свет был. И при этом свете видел я и окно, высокое, узкое, загражденное решетками. И видел дверь, железную, тяжелую, холодную, с тонкою ржавостью широких скреп и темных петель.

И видел холодные, гладкие плиты каменного пола.

2

С визжанием и скрежетом зашевелилась ручка у двери, и это были звуки противные и страшные. Неизбежное приближалось, созданное мною же, но чего уже нельзя было отворить или изменить. И насмешливый скрежет как бы говорил:

– Хочешь, не хочешь, – все равно сбудется. Тебя не спросят.

В этом визгливом и все же хриплым голосе слышалось торжество гнусного победителя, тщеславящегося незаконною победою. Унижение для меня звучало в этих звуках, но никого не радовали они. Призраки не радуются. Они ранят, и убивают, и даже унижают, и сами бесстрастны, – они, приносящие отчаяние и стыд.

И пока медленно открывалась дверь, я смотрел на нее глазами, полными ужаса и тоски. И медленно открывалась дверь. А открывавшие ее тихо говорили о чем-то, торжествуя и не торопясь, и тихий смех слышался в звуках их шепота.

3

Уже когда дверь открылась наполовину, но входящие еще не показались, заметил я, что свойство освещения стало иным. Я отвел глаза от двери, в ту сторону, где почудилась мне перемена, – и там было отраженное пламя. Тускло-красное, оно ширилось. И вот оно коснулось моих глаз. Я увидел светочи, с дымом горевшие и изливавшие тусклый и неверный свет. И потом увидел людей. И ужаснулся.

То были обнаженные, прекрасные и ужасные отроки. Их было семь, и в руках их было то, что сулило радость истязаний. Тела их краснели в дымном озарении светочей. Широкие груди их дышали медленно и спокойно, и все движения их казались исполненными страшной силы и непоколебимого спокойствия. По их медленным и неотразимым движениям понял я, что они – исполнители.

Лица их сияли невиданною на земле красотой, но глаза их сверкали такую свирепую радостью, точно это демоны вышли из ада. Но то были только люди, созданные мною по тому же плану, как и первозданная Эдемская чета. И только человеческая радость трепетала в их раздувающихся ноздрях, – они предчувствовали радость тех мук, которыми они наслаждаются. О, они еще не знали, чем и как будет завершена их потеха! Они не знали, что они только рабы-исполнители, обреченные таким же мукам сами.

4

Первые два отрока держали в руках по светочу из черных листов пергамента, пропитанного смолою и еще каким-то составом, усиливающим горение и замедляющим сгорание. Пламя держалось на верхних концах высоких светочей, иногда даже оно как бы отрывалось от светочей и поднималось на краткий миг в воздухе, словно стараясь убежать с этого смолистого и нечистого ложа, но потом снова возвращалось к обугленным вершинам светочей и с тихим треском тихонько сползало еще немного ниже. Дым от светочей подымался немного, и затем легкую тучкою уносился назад, в отворенную теперь настезь дверь.

Эти два отрока смеялись, как веселые и добрые мальчики, и зубы их сверкали, белые, крепкие зубы хищного человека. В глазах у них сверкали искры, отраженные от светочей или от внутреннего огня.

Они подошли ко мне близко и стали по обе стороны рядом со мною. Улыбаясь жестокою и бесстыдною улыбкою, они заглядывали мне в лицо. От них пахло сладко и нежно, кожа на их телах умощена была благовониями, и смрад светочей смешивался с благоуханием, исходящим от их тел. Стопы их ног казались покрасневшими от холода каменных плит.

5

Другие два отрока держали в руках по связке веревок. Это были обыкновенные бечевки средней толщины, пеньковые, прочные, добросовестно сделанные. Такими бечевками связывают небольшие узлы и маленькие сундуки для недалеких путешествий.

Бечевки были сложены в несколько раз и почти доставали до полу. Они колебались в руках отроков и слегка ударяли их по бедрам и голням.

Отроки улыбались закрытыми губами, и казалось, что их зубы слегка сжаты. Иногда они сами слегка похлопывали себя бечевками по бедрам и сладострастно вздрагивали.

Эти отроки были ростом больше первых двух, и мускулы их были более могучими. Они подошли ко мне тихо, словно крадучись, и стали за моею спиною. Они стали так близко, что я чувствовал на своей шее их сдержанное дыхание.

Беспокойство заставило меня обернуться назад, – беспокойство, одолевающее того, за кем стал некто враждебный. Но один из них посмотрел на меня с такою злобою, что я содрогнулся.

Он наклонился ко мне и гортанными звуками сказал мне что-то на языке незнакомом,



Повести и рассказы. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru  
грубом и странном, – что-то непонятное, но, очевидно, угрожающее. Я отвернулся от него и увидел подходящего ко мне пятого отрока.

6

Пятый отрок держал в правой руке длинный свиток пергамента. Он держал свиток ближе к верхнему краю. Свиток изгибался широкими изгибами, потому что пергамент был толстый и прочный и почти касался пола своим нижним концом.

Отрок со свитком стал передо мною и устремил на меня внимательный взор. Он не улыбался, прекрасное лицо его дышало спокойствием и равнодушием. И долго смотрел. И томительно было ожидание.

Потом он опустил глаза на свиток и стал читать шепотом, останавливаясь часто, и при каждой остановке смотрел на меня внимательно и равнодушно, словно сличая мои приметы с тем, что было начертано на пергаменте. И ему было все равно, сбудется или не сбудется замышленное. Он следил лишь, чтобы предметы предметного мира сходились с тем, что предсказано по писанию, которое он держал в своей нетрепетной руке.

Он был самый покойный из всех семи отроков, – он был книжный и отвлеченный. Тело его нежно пламенело в дымном озарении светочей и казалось почти прозрачным. Члены его были тонки и стройны, и движения его медленны и исполнены необычайной и волнующей прелести.

7

Повинуясь обаянию его шепота и его переходящих со свитка на меня и обратно взоров, я посмотрел на себя с таким странным и спокойным любопытством, словно взирая на чужого и нового человека. И со спокойным удивлением я увидел свое тонкое тело, облеченное в старое и пыльное одеяние.

Это была та одежда, которую носят все горожане в Европе, – скучная, черная одежда, повседневная и обременительная, как вериги.

Твердые поручи и твердая кираса на груди стесняли движения, но не защищали ни от чего, – и твердость их была обманчивая, и побуждалась простою и даже не теплою водою. Убогое золото блестело на груди в столь скудном количестве, что не соблазнило бы оно и голодного вора. Черная обувь когда-то зачем-то блестела, и кто-то другой в поте лица заботился о том, чтобы она с каждым восходом солнца воспринимала новый блеск, – но теперь она покрылась пылью. Далека и трудна была дорога, по которой пришел я в эту темницу.

Переводя глаза то на себя, то на читающего свой свиток отрока, я почувствовал, что в отроке есть нечто, смутно беспокоящее меня каким-то еще новым беспокойством, – не тем страхом, как от первых четырех, но чувством неизъяснимо волнующим. И с усилием всматриваясь в его черты, я наконец понял, что это – я. Я сам стоял перед собою и читал свой приговор.

В стране инобытия свершаются иные возможности, неслыханные на земле.

И слова свитка зажглись передо мною тусклым пламенем, но я не стал их читать, ибо знал их наизусть.

Сколько раз в томительные дни, в тоскливые ночи читал я и перечитывал этот свиток, прежде чем отдал его исполнителям!

8

И тогда увидел я последних двух отроков. Они таились сначала сзади других и шептались и смеялись негромко, и теперь подошли и стали рядом с отроком, читающим свиток.

Это были самые сильные и высокие из всех отроков. Их широкие и могучие плечи, их высокие груди, медленно и сильно дышащие, их слегка согнутые руки со вздутыми мускулами, – все это внушало страх. Истинно, это были исполнители, и лица их дышали жадным, веселым и беспощадным смехом и издевательством. В руках у каждого из них виднелось по связке длинных и крепких бичей, похожих на змей.

Эти отроки смеялись, прыгали от нетерпения, щекотали друг друга концами бичей и при этом повизгивали от нетерпения и восторга. Они жадно и насмешливо смотрели

Повести и рассказы. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru  
на меня и шептали что-то.

Отрок со свитком кончил читать и сказал спокойно:

– Верно. Это – он.

Остальные шесть отроков обрадовались и засмеялись громко. И громче всех смеялись отроки с бичами. И сказал я отрокам:

– Чему вы смеетесь? Разве вы не знаете, что это – я?

Отроки замолчали, и испуг выразился на их лицах. Но отрок со свитком сказал медленно и спокойно:

– Не бойтесь. Это – только он. И даже больше того скажу вам. Это – тело, преданное нам на забаву. Ибо мы – дети и хотим играть.

Отроки опять обрадовались и засмеялись еще громче прежнего. И отрок со свитком сказал, обращаясь ко мне:

– Даже и правдою ты не соблазнишь нас, величайшим из соблазнов – правдою. Потому что мы только исполнители.

9

Возвысив голос, начал говорить он так, при наставшем внезапно молчании:

– Это тело, слабое и больное, отягощенное пороками и грехами всего мира, надлежит уничтожить. Как мастер мнет глину, когда изваяние не удалось, так и это порочное тело надлежит смять и уничтожить. И вот повеление исполнителя.

Он развернул свиток и читал медленно и спокойно:

– Тело, которое вы найдете в темнице двигающимся, рассуждающим и чувствующим, предадите вы жесточайшим мучениям, истязаниям невыносимым, даже до смерти. Вы обнажите преданное вам тело и подвергнете его поруганиям по произволу вашему. И потом распротрете вы его на полу темничном и свяжете столь крепко, чтобы оно не могло избежать жестокости вашей. И будете бичевать его медленно и долго. Но не до смерти. И потом отрежете руки и ноги его, и остальное ввергнете в медленно горящее пламя. И темница его да будет предана огню. И память о нем да истребится на земле.

Он окончил чтение, и отроки радостно засмеялись. И сказал он:

– Таково повеление повелителя.

И я сказал:

– Повелитель – я.

Отрок со свитком ответил мне:

– Нам все равно, кто повелитель. Мы – исполнители. И исполним повеление.

И обратясь к другим отрокам, он сказал им:

– Утвердите свечки ваши в стене и начните.

Холодный сочельник

I

В сочельник утром Мимочка проснулась поздно.

Первою радостною у нее мыслью было: сочельник, – значит дома, значит не идти в редакцию.

Там – ничего, – шумно, весь день народ, болтовня, время летит незаметно. Зато вечером, когда вернешься домой, часто болит голова, и потом надо вставать рано, чтобы к десяти поспеть в Измайловский полк, – тяжело иной раз до слез.

То ли дело потягиваться под мягким, стеганым одеялом, не смотреть на часы, тикающие в изголовье, и думать, думать, закинув руки за голову.

Обрывочные сменяются мысли: «Если годовая подписка не поднимется, то к лету „Художественное обозрение“ закроют, и Мимочка очутится на улице... На балу художников кто-то назвал ее „Офелией“ за белое платье и маки в распущенных, ниже колен, волосах... Как хорошо пишет Кнут Гамсун! Какая у него должна быть нежная поэтическая душа!»

Но мало ли о чем есть еще подумать! И пролежать так можно до вечера. А из-за отвернувшейся кисейной занавески выглядывает небо, такое чистое, такое ясное. Манит встать.

Одним движением плеч Мимочка сбросила одеяло, соскользнула на пол, накинула вязаный платок на голые плечи, всунула хрупко-белые ноги в стеганые, без задников, серенькие туфли и побежала к двери, под которой белеет письмо. Оттуда, от Сони. Спеша разорвала конверт, торопливо бежит глазами по четким строчкам.

«Прости, Белочка, что ничего не могу тебе прислать с оказией... Дела так...»

Господи, ну зачем это? Разве я маленькая, разве не понимаю? Откуда в деревне могут быть деньги?

Вздыхнув, идет к зеркалу одеваться. Выспалась отлично, и синие глаза весело блестят из-под разбившихся золотистых волос. За эту косу в прошлом году парикмахер давал восемьдесят пять рублей, да пожалела. Ведь все богатство Мимочки в этих золотых жгутах, разложенных короной на маленькой голове, – они и профиль смягчают, и закрывают большие уши.

А все-таки тяжело получать письма от «своих». Так живешь день за днем, забываешь, теряешь ощущение времени, пространства. А письмо придет, – взбудоражит, заглядывает в душу, выщупывает. И грустно становится, а отвечать – надо бодриться, придумывать веселое.

Кнут Гамсун в золоченой рамке скучает на письменном столе, окруженный книжками и картинками. Не подозревает, как мил он девушке с детскими плечиками и золотыми, ниже колен, волосами.

Надо воспользоваться праздником, сегодня же ответить Соне. Только о чем писать? Разве открытку, – так, несколько слов, – поздравление.

С чужими легче, ну хотя бы с Катю. Говоришь часами и не боишься обнаружить «лицо». А перед Сонею, перед матерью, чего-то стыдно, жалко и их, и себя, до боли жалко.

Но разве она виновата? Когда, два года тому назад, она ехала сюда, разве она думала, что жизнь такая неумолимая, разве знала, что так немилостиво примет ее старый брюзга, город?

И вот, неумолимая истомила, измучила. И все-таки до того события, о котором она вспоминает порою с холодной тяжестью, она чего-то ждала, на что-то надеялась. Думала, что есть предел страданиям, что есть положения, пережить которые невозможно.

А теперь Мимочка знает, что люди – такие слабые, такие запуганные, и хотя жизнь – такая мука, хотя перевешивают страдания, а все-таки у них никогда не хватит дерзости сложить один гигантский костер или подвести что ли под весь мир одну гигантскую мину и взлететь всем на воздух.

Стук в дверь.

– Нет, я не одета, не могу отворить.

– Да это я, – слышен веселый знакомый голос.

– А, это ты, Катюша. Сейчас.

Катя всего на три года старше Мимочки, но куда опытнее! Она равнодушна и к Книту

Гамсуну, и к вселенскому пожару, и очень не одобряет того категорического нет, которым Мимочка пока еще отвечает на все предложения жизни. Катя любит и Ницше, и Пьера Луиса, но вообще предпочитает «жизненную» философию всяким «книжным умствованиям». Отлично сложена, одета с претензией на шик. Задорное смуглое личико с болтающимися в ушах полумесяцами-серьгами делают ее похожей на певичку или маленькую актрису. Она недавно перекочевала из телеграфисток в натурщицы, нашла, что это выгоднее и веселее.

– Вы, лежебоки, царские слуги, вечно празднуете, – говорит Катя, с шумом входя в комнату.

– Разве ты и сегодня позируешь, Катечка?

– Конечно. Выставка уж открыта, а у моей «Баядерки» только нос да глаза намазаны. Я по дороге, занесла тебе подарок.

И Катя разворачивает хрупкий, точно восковой гиацинт, бережно окутанный синей бумагой.

– У меня целая корзина, – говорит она небрежно, – художник прислал.

Никогда она не называет по имени этого противного рыжеволосого Стрицкого, которого Мимочка просто не выносит. Но интонация, с которой Катя произносит это слово, сразу дает понять, что это не имя нарицательное.

Болтают о том, о сем. Пьют шоколад, сваренный Мимочкою на спиртовке, перебирают знакомых, вспоминают бал.

– Это была сногшибательная идея – красные маки в твоих золотых волосах, – говорит Катя, играя побрякушками цепочки, которые при каждом ее движении звенят, точно колокольчики. Меня все спрашивали: кто эта Офелия? Новенькая? А кстати, кто тебя провожал с бала домой, Мимочка?

– Никто, – говорит Мимочка тихо и краснеет оттого, что не может ответить иначе.

Катя в раздумье качает головой.

– Нет, Мимочка, смотрю я на тебя и просто изумляюсь. Куда ты себя готовишь? В монастырь, что ли? Наконец, до каких же пор ты намерена разыгрывать Царевну-Недотрогу?

В волнении Катя быстро ходит по комнате, шелестя юбками, гремя побрякушками.

– Надеюсь, что твое место в редакции – еще не венец всех твоих желаний? По-моему, тебе нужно теперь же, не теряя времени, заняться своим голосом. Я тебе уж давно твержу. И, что бы там ни говорили, все-таки карьера артистки чуть не единственная для женщины, не желающей обращаться в наседку или в синий чулок.

У Кати, несмотря на ее легкомысленный вид, имеются на все собственные взгляды, свое «мировоззрение». Она отвергает брак, не приемлет содержанства; больше же всего ненавидит буржуазных жен, которых величает «паразитками», «легальными проститутками» и другими нелестными именами.

– Мы зарабатываем хлеб в поте лица, а «ее» поди содержи двадцать-тридцать лет за то, что имел неосторожность покатасть когда-то в лунную ночь на лодке.

И с раздувающимися от негодования ноздрями Катя в сотый раз принимается доказывать Мимочке, что всячески нужно способствовать разложению института брака, основанного на лжи и предрассудках.

– Ох, и ненавидят же меня эти законные жены, – говорит она, самодовольно усмехаясь. – Скоро, кажется, во всех порядочных домах принимать перестанут. На днях забавный анекдот вышел. Захожу я к художнику, чтобы одной не тащиться в ресторан обедать. Отворяет супружница. Величественно: «Моего мужа нет дома». А я: «Сударыня, мне до вашего мужа нет никакого дела, – я зашла за моим любовником». Если бы ты видела эту физиономию!

– Господи, Катя, как ты могла!

– Уверяю тебя, я точно бокал шампанского выпила. Ах! Ты ведь еще ничего не понимаешь. Одни эти рожи чего стоят!

И по адресу «рож» энергичское выражение.

Мимочку ужасно шокируют все эти Катины словечки, жесты, восклицания. Притом она не совсем разбирается в Катиной логике. Катя брак отрицает, но сама живет со Стрицким, правда, неоткрыто. Денег от него не берет, – только цветы, безделушки. И когда Мимочка робко задала ей вопрос, могла ли бы она прожить с ним год на необитаемом острове, Катя расхохоталась и назвала ее в лицо дурочкою. Может быть, это и так, но ведь Милочка еще так недавно и так наивно мечтала уехать с Дицом туда, где бы никого кроме них двоих не было, – где бы всегда они были одни, вдвоем!

О, этот жестокий Диц! Чего только Мимочка не делала ради него! Сколько раз расплетала и заплетала свои золотые, ниже колен, косы, – пела ему свои милые родные песенки, – даже из дому боялась уходить, чтобы не пропустить ни одного его прихода. Но Диц был женат, и чрез это Мимочка не могла перешагнуть; и он рассердился и уехал путешествовать со своею старою некрасивою женою. Как Мимочка плакала, как молила его не уезжать! Даже руки ему целовала, – каждый палец на этих властных, неумолимо строгих руках! А когда он уехал, Мимочка поняла, что никому на свете нет до нее дела, – что она может целыми часами рыдать в своей комнате, и никто не услышит, разве только хозяйка придет спросить, не заболела ли она. Тогда-то Мимочка додумалась и до всемирного пожара, – пусть лучше все погибли бы, – и отравиться хотела, да Катя убедила, что этим ведь все равно никому ничего не доказать.

Теперь Диц далеко, – и время и разлука утешили боль исстрадавшегося сердца. Но рана не зажила и ноет всякий раз, когда Мимочка вспоминает, что теперь она одна, одна во всем мире, – некому даже пожаловаться на тоску, заменившую умчавшуюся радость. И все-таки она не может, как Катя... И страх, и тоску нагоняют на нее все эти рассуждения о карьере, о перемене жизни, – всех этих жестоких вещах, которые все равно не вернут ей счастья. Вот и сестра Соня, с тех пор, как убили Володю, милого, с кроткими, голубыми глазами, – она все равно что не живет, – заживо схоронила себя в глуши.

– Ты где будешь вечером? – спрашивает Катя, прикалывая перед зеркалом огромную, похожую на капор, шляпу с развевающимися перьями-султаном.

– Не знаю, – говорит Мимочка.

И сердце у нее сжимается от мысли, что ей некого ждать; хоть стой всю ночь у дверей, не услышишь на лестнице шагов, от которых вдруг заколотится сердце и всю обдаст горячим туманом.

– Может быть, ко мне придешь? – говорит Катя, стоя перед зеркалом, нарядная, прямая, решительная. – Художник придет, еще кой-кто. Что же тебе для праздника одной сидеть! Ну, прощай, крошка. А на днях я с тобою поговорю серьезно.

Уходит, шелестя юбками, гремя побрякушками, уверенно закинув головку назад, – такая славная, никогда не унывающая Катя.

Долго после ее ухода в комнате еще пахнет астрисом, заглушающим слабый запах гиацинта, белеющего на столе. Мимочке грустно, как-то не по себе; что-то надо найти, что-то вспомнить, но что, не знает, и ходит по комнате, бесцельно перебирая попадающиеся на глаза вещи. Наконец, вспомнила! – пойти на вокзал опустить письмо Соне.

## II

Ярко освещенная улица, сверкающие витрины, огненные транспаранты. Снег широкою полосой посреди улицы, и морозная серебристая мгла в воздухе, и инеем запушены окна, шапки встречных, полости саней, а тротуары песком посыпаны, будто и не зима. И высоко над всем этим синее, глубокое, всегда серьезное, всегда задумчивое небо.

Озабоченно, деловито бежит трамвай, – сейчас ему нужно посмотреть, что делается на том конце проспекта, чтобы вернуться к вокзалу через десять минут. Во

мглистом сумраке раннего вечера ярко белеют электрические шары, точно огромные опалы, опрокинутые в воздухе. Проспект, нарядный, изукрашенный гирляндами огней, – фонарей, вывесок, – блистает, – неутомимая блудница, разрядившаяся к вечеру. Людей так много, что кажется тесною огромная широкая улица.

Мимочке странно, что она одна с пустыми руками в этой толпе, где всякий несет что-нибудь, – цветы, игрушки, конфеты, красивые забавные вещи. А лица-то у всех такие сумрачные, озабоченные, со злым, напряженным выражением. Все покупают, суетятся, толкаются, но все это без радости, точно по принуждению, по обязанности. И жутко от мысли, что пожалуй и вправду когда-нибудь этого огромного города не хватит для всей этой массы людей, – все увеличивающейся, все прибывающей.

Город, огромный, холодный. Уже два года живет здесь Мимочка, но все еще не может привыкнуть.

«Я сама по себе, – ты сама по себе, и всякий сам по себе», – точно слышится Мимочке постоянно в его неумолчно глухом гуле.

Вспоминается Мимочке, как раз, прошлою весной, не дождавшись Дица в сквере, шла она домой, печальная, задумчивая. Был светлый вечер, фонари не горели, и проспект шумел беспокойным оживлением северной городской весны. Безотчетно, рассеянно смотрела Мимочка на мелькающие лица прохожих, – все чужие, все похожие друг на друга. Машинально вошла в дверь, расцвеченную зелеными, красными фонариками. И целый час машинально смотрела; как двигаются, мелькают, обнимаются на экране чьи-то темные, отчетливые тени, чужие, все похожие друг на друга.

Да, город точно синематограф. С утра до ночи мелькают, двигаются, исчезают, снова появляются силуэты близких, чужих, встречных, случайных. На миг любят, на мгновение встречаются, вмиг забывают. Так Диц, так и все.

Жизнь – словно не настоящая, а так, – только похожая на настоящую. Китайские тени, деревянные раскрашенные забавно фигурки, картонные марионетки, кукольная игра, смешная и страшная.

Мимочка не любит города, боится толпы, не выносит сутолоки. На улице ей всегда кажется, что ее опрокинет трамвай, переедет извозчик, обвалится карниз, рухнет мост. И снова охватывает ее растерянность и беспокойство, как во время Катиних наставлений.

Улица, магазины, даже степенный, деловитый трамвай, – все сегодня словно сговорились, твердят Мимочке одно и то же, – смеются, дразнят.

«Надо торопиться... Карьера артистки», – шепчет лебяжье боа в витрине французской красильни.

«Напрасно ты отказалась!» – твердит, качаясь, бархатная эгретка в окне шляпного магазина.

«Мы ждем тебя, маленькая Офелия», – лепечут нарциссы, опрокинутые в темной зелени хрустального бокала.

«Как чудесно кружится голова! – напоминает заплесневелая бутылка, выглядывающая из груды золотистых ананасов. – Помнишь, как весело было там, в огромном зале, где стоял аквариум, величиною со всю твою комнату? Вернись к нам, к веселью и жизни».

На вокзале – толпа, давка. Мимочка сразу растерялась; она подавлена этим гулом торопливых восклицаний, прощаний, приветствий. Кто-то молодой, веселый, торопится, едет домой. Второй звонок. Носильщики, нагруженные огромными корзинами и кулями, спешат на платформу; и уж им не попадайся, – оголтелые от спешки, не замечают никого.

У Мимочки кто-то чуть не вырвал из рук сумочку. Полная дама в ротонде раскричалась, – зачем Мимочка чересчур долго возится у ящика. Мимочка смешалась, – она не умеет так отвечать, как смелая Катя. Тоскливо на душе, и кажется, что дама в ротонде, и все эти неприветливые люди в надвинутых на глаза шапках, в шубах с поднятыми меховыми воротниками насмеваются над нею, над ее неумелостью,

Повести и рассказы. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru  
над ее беспомощностью. Злые, злые!

Дома Мимочку дожидается юный поэт Борегар. Очень милый, говорят, что талантливый, из начинающих. Пока ему, кажется, не особенно везет, – всю зиму он щеголяет в летнем пальто и в препотешных дамских ботиках. Мимочке он принес, – для «Художественного обозрения», – заметку об его напечатанных стихах, написанную одним из приятелей.

– Кстати погреюсь у камина, ветер сегодня архипредательский, – говорит он, пожимаясь тонкими плечами, потирая похолодевшие маленькие руки.

Мимочка молча и застенчиво улыбается.

– В вашей комнатке всегда так уютно, так веет светлую атмосферу труда, – говорит Борегар.

Ему весело, – он согревается. Терпеливо перебирает на столе книжки и картинки, пока Мимочка, еще не сняв калос, готовится озябшими руками чай и разыскивает последнюю книжку журнала, где кто-то назвал по имени «молодого, многообещающего» поэта.

Чай выпит, книжка найдена, и Борегар, согревшийся, довольный, уходит, такой забавный в своих суконных ботиках и широкополой «испанской» шляпе. Из-за двери он шлет грациозный привет «светлому приюту», где всегда готов чай, приятные книжки, милые картинки. Моподец Борегар! Никогда не падает духом, – право, завидный характер.

Вот и вечер тихонько вошел в комнату, неслышно ступая мягкими валенками. Мимочка засветила в углу перед образом лампадку, – еще из дому подарок, – и ходит из угла в угол. Вспоминается детство, еще недавнее, – сочельник дома, милые лица, радость ожидания, елка, звезда. Не хочется ни убирать комнату, ни ехать к Кате, которая теперь, разряженная, шурша юбками, гремя побрякушками, поджидает художника в своей комнате, пропахшей астрисом, загроможденной цветами и безделушками. Мимочка так устала, так тяжело у нее на душе, лучше остаться дома. Платье оттягивает ослабшие плечи, от шпилек разболелась голова.

В голубом халатике, вся окутанная разбившимися волнами тяжелых золотых волос, Мимочка садится в кресле у окна, где так любила сидеть с дицом.

– Маленькая статуэтка на этажерке моей жизни, – вдруг слышится ей капризно-звенящий голос. – Поймите, я люблю в жизни одно искусство.

– Ну да, – все они выбрали только одно: Диц – живопись, Борегар – поэзию, даже у Кати и то теперь – «ремесло». А вот она, Мимочка, выросшая, как цветок в поле, никогда не думала: зачем, для чего. Ей нравится глядеть на небо, когда зажигаются ласковые вечерние звезды, обирать ландыши там, дома, в лиственной роще, читать Кнута Гамсуна. И быть может, всего этого хватило бы на ее немудреную жизнь, если бы не большой, холодный город, насмешливые витрины, суетливый трамвай, «приставашка» Катя.

Может быть, все они правы. Может быть, надо что-то сделать, на что-то решиться. Но Мимочка так не привыкла думать, так устала, так одна.

Очутиться бы ей теперь дома, в бабушкиной комнате, где пахнет мятой и лампадным маслом, забраться бы ей с ногами в большое дедовское кресло и заснуть бы сладко, позабывши все!

В комнате тепло, почти жарко. Нежный, восковой благоухает гиацинт, – томно раскрыл свои объятия и ждет. Его аромат, сладкий, мечтательный, что-то напоминает Мимочке, одурманивает усталую голову.

«Праздник, – думает она тоскливо. – Зачем это каждый год, зачем теперь?»

Дремлется, клонит ко сну... Тишина жуткая, пытливая, тягостная... Машинально, сквозь сон, оглядывает Мимочка вокруг, обводит рассеянным взглядом стены комнаты. Какие гадкие желтые обои, какой низкий потолок. Как могла она прожить здесь целый год, не замечая!

А что, если она проживет здесь еще десять, двадцать лет? Так вот, – просидит у окна, за которым шумит город, гудят трамваи, свистят автомобили? И ей страшно, вдруг так страшно, как еще никогда в жизни. Точно черная пропасть раскрылась вдруг.

Нет, ни за что! Она пойдет на все, послушается Катю, только не это. Лучше смерть, – только не эти желтые обои, не этот низкий потолок!

Форточка приотворилась, – снаружи доносится гул улицы, смягченный высотой. Свистят суетливые трамваи, звонят неугомонные конки. Ни на один миг не смолкает огромное, ненасытное чудовище. В монотонно непрерывном ритме его движений снова те же неумолимые слышатся Мимочке голоса, те же властные призывы.

А из дома напротив, где освещены только два крайние окна, несутся звуки, тихие, жалобные, и кто-то, тоже одинокий и забытый, тоже тоскующий в этот вечер радости и печали, плачет о том, что розы осыпаются, песни умолкают, все проходит, ничего нет вечного.

И, уронив голову на руки, закрывшись разбившимися прядями тяжелых золотых волос, Мимочка плачет, долго и неутешно. Плачет об убитом Володе с кроткими, голубыми глазами, – о Соне, схоронившей себя заживо, о милом, далеком Дице, – о ландышах, по которым соскучилась, – обо всем светлом, мгновенном, преходящем, никогда не повторяющемся.

Потом, от горьких слез и тяжелых, докучливых мыслей, она засыпает, вся окутанная плащом рассыпавшихся золотистых волос. И снится Мимочке, что где-то она с Дицом на голубых качается волнах в раззолоченной лодочке, и ей так весело, так весело, так легко!

Лампада горит, освещая светлую голову, улыбающуюся последнему радостному сну. Маленький, белый ангел, который знает, что сегодня доцветают Мимочкины золотые сны, слетает с образа и задумчиво благословляет ее на долгую, мучительную, скорбную жизнь.

#### Золото королевы

Королева опять разлюбила. Молодая и прекрасная, изменчивая и жестокая, она пришла к Мануэлю де Монкайо последний раз ночью, когда луна стремилась, печальная, по безоблачному темно-голубому небу, – пришла к нему в сад королевского замка, в ту беседку над обрывом, где сказала ему два месяца тому назад первые слова любви. И теперь, холодная и спокойная, она говорила:

– Мануэль, я не люблю вас. Я в вас ошиблась. Прощайте.

И в ту же ночь он застрелился.

Торжественно хоронили его. Знаменитый публицист произнес на его могиле прочувствованную речь. Знаменитый поэт прочитал превосходное стихотворение, и оно произвело потрясающее впечатление на присутствовавших. Было много девушек, принесших цветы. Смерть из-за любви всегда волнует молодое воображение.

Через несколько дней после похорон Мануэля де Монкайо, королева облеклась в глубокий траур, чтобы посетить его могилу. Никому не сказала, от всех утаила, ушла одна, через комнаты своей верной, привыкшей молчать, камеристки, через огороженную под окнами покоев королевы часть королевского парка, через узкую калитку в стенке, выходящей на пустынную улочку святой Варвары, что узкою каменной тропкою вьется над лазурным морем. На этой улочке королева опустила на лицо густую черную вуаль. Вышла на тихую площадь святой Варвары, против бокового фасада своего замка. Там королева взяла наемный экипаж до кладбища.

Тоскуя, вошла она в каменные ворота. Тоскуя, шла среди могил.

Аллея кладбища мирною своею тишиною отвеивала грусть молодой королевы. Какая успокоенность там, в земле!

Королева нашла кладбищенскую контору. На скамье у входа в дом сидели, разговаривая, несколько сторожей с серебряными галунами на воротнике и на рукавах. Они встали, увидевши подходящую к ним нарядную, в черном, черным вуалем прикрытую даму.



Королева тихо сказала:

– Покажите мне могилу Мануэля де Монкайо.

– Я знаю, – сказал угрюмый высокий старик. – Это в моем участке. Недавно хоронили. Как же, знаю!

Взял ключи, повел королеву. Бормотал:

– Рядом с женою положили. Не очень-то он долго о жене сокрушался. Королеве приглянулся. Да королева его разлюбила. Не вынес, бедняга, застрелился. Много на его могилу дам ходит. Цветы носят. Нужны ему цветы!

Скрипел, пересыпался песок под ногами королевы, скрипела, сухо пересыпаясь в ее ушах, старческая воркотня. Ах, сказка города – любовь королевы! Сказка, чтобы рассказать с полуулыбкою, легкая, забвенная сказка – вся жизнь королевы! Пройдет легким дымом, словно только приснилась кому-то, – синеокой, далекой, счастливой.

Прямы, расчищены дорожки. Цветы у могил. Кирпичные склепы, как нарядные дачки, в зелени прячутся. У них узкие окна, у них железные двери, над железными дверьми благочестивые надписи из святой книги да имена, полузабытые близкими; за дверьми мрак и молчание.

Остановился у одного склепа старый, сказал:

– Здесь. Шли, шли, да и пришли.

У входа в склеп Мануэля де Монкайо цвели красные цветки кошениального кактуса, – красные, как только что пролитые капли благородной крови.

Цветок сорвала королева, палец уколола, – капля крови на белом пальце красная выступила.

Маленькая капелька крови за всю его любовь, за всю кровь его!

Старик долго гремел ключами и ворчал тихонько что-то. Наконец он подобрал ключ и открыл дверь. Сказал королеве:

– Войдите. Осторожнее, – дверь низкая. Пять ступенек вниз. Я тут близко побуду, подожду.

Королева одна спустилась в прохладно-влажный сумрак склепа, – и холодны были ступени, и холодна была стена, на которую опиралась тонкая, в черной перчатке, рука молодой королевы.

Две каменные плиты лежали рядом. Одна была засыпана свежими цветами. Золотые буквы сложились в его имя, из-за цветов едва видны.

Долго стояла, безмолвно тоскуя, королева над гробницею Мануэля де Монкайо.

Она вспоминала о своей любви, об его любви. Сладостные, радостные припомнились ей ночные минуты, когда луна ворожила над их любовью, и вскипающие зеленоватую пеною под скалами волны шумно пели хвалу любви. И вспоминались золотые, дневные часы радостных ожиданий.

И за что она отвергла его, осудила? Так поспешно осудила, словно спеша уйти от него. Куда уйти? К кому, к чему?

Кто-то сказал ей, что ее любовью Мануэль мечтал воспользоваться для своего личного возвышения. Показали его письма, доказали, что он интриговал, заботился о делах, о связях. Поверила жестокая королева коварному навету. Всегда верила, когда ей говорили злое. Привыкла видеть в людях неискренность, лживость.

Но он любил ее сильнее, чем любят жизнь, – и вот убил себя. И что же теперь королеве честолобие его и его бедные интриги! Перед бледным ликом смерти, под черным покровом печали, как все это казалось ей теперь ничтожным! И думала она: «У него была нежная и гордая душа. На высоту хотел взойти он, чтобы оттуда

Повести и рассказы. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru  
господином и победителем смотреть на широко синеющие дали жизни и мечтать о прекрасном и высоком, недоступном вовеки. Но не хотел он скупой и мелочной торговаться с жизнью. Когда она его обманула, когда она посмеялась над ним, он спокойно и гордо ушел».

Шептала королева:

– Прости меня, как я тебя прощаю.

Стала на колени, склонилась к его могильной плите, заплакала и шептала:

– До свидания в лучшем мире.

Слезы падали на холод камня. И, как этот камень могильный, холодна и спокойна была душа королевы.

Опустивши черную вуаль на лицо, королева вышла на аллею кладбища.

Ясно было вокруг и тихо. Синевато-золотая вечерняя грусть смиряла душу.

Старик, брэнча ключами, из-за могил подошел к королеве. Бормотал:

– Долго ждал, а все же дождался. Да мне что ж! Я все равно при деле, – посмотрю, поправлю. Я не заглядываю в дверь, как другие.

Королева молча положила старику в руку золотую монету и тихо пошла к воротам.

Старик долго смотрел вслед за нею. Смотрел на золотую монету, качал головой и думал: «Должно быть, это сама королева. Приходила поплакать, помолиться, побыть с милым».

Тряся дряхлую голову, поплелся он к своему месту у дверей кладбищенской конторы.

Сидя там опять на скамье со своими товарищами, он долго бормотал что-то невнятное. Лицо его было желто и строго. Молодой могильщик сказал:

– Скучно что-то стало! Хоть бы ты, старина Хозе, рассказал нам про старые годы.

– Старина Хозе! – ворчливо ответил старик. – Хозе, ты думаешь, простой человек? Хозе служил самой королеве, отворял ей двери опочивальни.

Молодые люди смеялись. Но старик сказал строго:

– Над старым Хозе не надо смеяться. Старый Хозе умрет сегодня. Старый Хозе знает больше, чем надо.

Перестали смеяться и смотрели на старика с удивлением. Старик, тяжело шаркая подошвами пыльных башмаков, пошел в свою каморку. Там он положил золотую монету к ногам деревянной Мадонны в белом кисейном платье.

– Старый Хозе служил самой королеве, – тихо говорил он Мадонне. – Сама милостивая королева подарила старому Хозе золотую монету. Моли Господа Бога, пресвятая Дева, за грешную душу нашей королевы.

Изнемогая от сладкого восторга, чувствуя, как вся сила оставляет его, он склонился на пол к ногам деревянной Мадонны в белом кисейном платье, вздохнул глубоко и радостно, как засыпающий тихо ребенок, – и умер.

Говорили потом суеверные могильщики:

– Старый Хозе был праведник. Прекрасная дама в трауре приходила возвестить ему час его смерти.

Имогена

(из «Творимой легенды»)

Нежная графиня Имогена Мелладо наскучила принцу Танкреду. Письма его к Имогене с острова Кабреры были нежны, но кратки. Вернувшись в Пальму, принц Танкред

Повести и рассказы. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru  
посещал Имогену все реже и реже и, наконец, оставил ее совсем.

Имогена неутешно тосковала. Она все боялась чего-то и плакала. Не смела никому открыть своего горя. Догадывалась, что отец знает. Но он молчал и был печален, и это еще более угнетало Имогену.

В это время внезапно вернулся в Пальму, взяв отпуск на два месяца, жених Имогены, молодой Мануэль Парладе-и-Ередиа, секретарь миссии в Париже. Он приехал раньше, чем его ждали дома и у Мелладо.

В Париже Мануэль Парладе получил несколько безымянных писем из Пальмы. В них сообщалось, в выражениях откровенных и грубых, что Имогена полюбила принца Танкреда, что принц Танкред часто посещает ее и что об их связи уже знает вся Пальма.

Мануэль Парладе не поверил этим письмам ни на одну минуту и с презрением бросил их в огонь. Да и как было им верить! Письма от Имогены, правда, приходили к нему не так часто, как в первое время после их разлуки, но все-таки были нежны, как и раньше. Правда, очень кратки были иногда эти милые письма, но Мануэль Парладе объяснял это себе однообразием жизни Имогены в доме старого отца. Не о чем писать, и не пишет. Да и сам Мануэль Парладе не очень-то любил писать письма. И некогда было, – так много если не дел, то развлечений, удовольствий, интересных встреч, светских вечеров и веселых ночей.

Не поверил Мануэль Парладе злым рассказам, но смутное беспокойство все же торопило его на родину.

В первый же день, полный нетерпеливого восторга, мечтая об Имогене сладко и влюбленно, он поехал из Пальмы в замок отца Имогены, маркиза Мелладо. Быстро мчал его легкий автомобиль. Быстро проносящиеся мимо, полуприкрытые пепельно-золотой дымкой виды широких морских побережий казались Мануэлю Парладе очаровательными. Безумное благоухание роз кружило ему голову и навевало сладостные мечты. В шуме волн и в шелесте листья слышалось ему милое имя, а лазурь небес, облеченная в золотистый багрянец, напоминала фиалковую синеву глаз Имогены и смуглую багрянность ее щек.

Старый маркиз Альфонс Мелладо принял Мануэля Парладе приветливо, но казался печальным и утомленным. Мануэлю Парладе показалось, что он сильно постарел за эти несколько месяцев, когда они не виделись.

После нескольких минут обычного незначительного разговора о родных и друзьях, о последних новостях светской жизни в Париже и в Пальме в гостиную тихо вошла Имогена. Маркиз Мелладо сейчас же поднялся со своего места. Сказал:

– Простите меня, дорогой Мануэль. Я устал и плохо чувствую себя сегодня. Позвольте оставить вас с Имогеною.

Он ушел. Имогена проводила его грустным, боязливым взглядом и робко подошла к Мануэлю Парладе. Мануэль Парладе, целуя руки Имогены, говорил:

– Как я рад, что опять вижу тебя, милая Имогена!

Имогена принужденно улыбнулась.

– Давно из Парижа? – спросила она.

Мануэлю Парладе показалось, что Имогена словно испугана чем-то и очень смущена. С ловкостью благовоспитанного светского человека он пытался развлечь ее непринужденною болтовнёю. Все более и более удивляла Имогена своею молчаливостью, бледностью, подавленными вздохами. И тем, что она так похудела, даже немножко подурнела, и оттого стала еще более милая. Мануэлю Парладе жаль было ее. И глаза у нее были с таким выражением, точно она недавно много плакала. Наконец Мануэль Парладе спросил ее тревожно:

– Имогена, дорогая, что с тобою?

– Со мною? Нет, ничего, – тихо ответила Имогена.

Глаза опустила, отвернулась стыдливо.

Тихо по зеленым коротким травам ковра и по его рассыпанным алым розам подошла к рояли, приподняла черную, блестящую над клавишами крышку и дрожащими смуглыми пальчиками взяла несколько беглых аккордов. Потом стала перед роялем, как виноватая, склонила голову и перебирала желтую ленту около пояса. Улыбалась смущенно и жалко, дышала прерывисто. Бросила ленту, прислонилась спиной к доске рояли и руками делала маленькие неловкие жесты. Сказать что-то хотела, – и не решалась.

Мануель Парладе подошел к Имогене.

– Что ты скрываешь от меня, милая Имогена? – спросил он.

Заглянул ласково и тревожно в ее фиалково-синие глаза, опущенные опять к ровной мураве ковра. Имогена смущенно отвернулась. Ее лицо покраснело, как у ребенка перед плачем.

Мануель Парладе спрашивал Имогену нежно и осторожно, – что с ней? Что ее огорчает? Любимая кукла сломалась? Или его она разлюбила? Он целовал ее тоненькие, смуглые, смешные ручонки с длинненькими, тоненькими пальчиками – ручонки, привыкшие к забавным детским жестам. Имогена горько заплакала, по-детски громко, – и вдруг все лицо ее стало мокро от слез.

– Милый Мануель, я недостойна вас! – горестно воскликнула она.

– Дорогая, милая Имогена, что вы говорите! – в ужасе восклицал Мануель Парладе.  
– Или случилось с вами что-то страшное?

Плача говорила Имогена:

– Я очень нехорошая. Я скрывала мою вину от вас. О, какая нехорошая! Вот, я вам все расскажу.

Горько плача, рассказала ему Имогена о своей измене, о кратком своем счастье и о своем горе.

– И вот оставил, бросил, забыл меня!

Такими словами закончила Имогена свой простодушный рассказ. С ужасом и с тоскою смотрела она в побледневшее лицо Мануеля, надменно-прекрасное молодое лицо, на котором боролись гнев и отчаяние.

– Ты мне изменила! – воскликнул Мануель Парладе. – Ты обманула меня, Имогена!

Имогена, рыдая, стала перед ним на колени. Воскликнула:

– Убейте меня, милый Мануель! Я не стою того, чтобы жить в этом свете, чтобы смотреть на это солнце. Убейте меня и потом забудьте, простите мне то горе, которое я вам причинила, и будьте счастливы с другою, более достойною вас.

Тронутый слезами и мольбами бедной Имогены, Мануель Парладе поднял ее, нежно обнял и утешал как мог. Воскликнул:

– Бедная Имогена, ты не виновата. Не ты виновата. Я отомщу ему за тебя!

В мрачном отчаянии ушел Мануель Парладе от Имогены. Ему казалось, что жизнь его разбита навеки, что счастье для него уже невозможно, что гордое имя его предков покрыто неизгладимым позором.

Опять быстро мчал его легкий автомобиль, резкими металлическими вскриками сгоняя с дороги чумазых, черномазых ребятишек и возвращающихся с работ грубо крикливых и неприятно хохочущих женщин и девушек в белых грязных одеждах. Быстро пронесившиеся мимо полуприкрытые пепельное-золотою дымкою виды широких морских побережий казались Мануелю Парладе страшными картинами страны отверженной и проклятой. В безумном благоухании роз кружилась его голова и тоскою сжималось сердце. В шуме волн и в шелесте листья слышались ему слова укора и проклятий. Яркая лазурь небес, облеченная в золотистый багрянец, распростирала над ним

Гневная, торопливая решимость умереть быстро созрела в нем. Пусть злое солнце совершает своей ликующий в небесах путь, сея на землю жгучие соблазны и распалая кровь невинных глупых девочек, – Мануэль Парладе уже не выйдет навстречу его смеющимся лучам.

Он написал несколько писем родным своим и друзьям и уже готов был умереть. И уже последние, предсмертные мысли бросили на его душу торжественный свет великого успокоения. Не прощая жизни и не досадуя на нее, уже чувствовал он холод в своей душе и покой и в последний раз, прощаясь, смотрел, как чужой, на привычную обстановку кабинета, не жалея любимых с детства вещей.

Но его мрачный вид и его суровое молчание заставили домашних опасаться, что, потрясенный изменою невесты, он лишит себя жизни, – и за Мануэлем следили. Навязчивые и милые, домашние враги, всегда мешавшие гордым намерениям! Графиня Изабелла Альбани, старшая сестра Мануэля Парладе, вошла в его кабинет в то время, когда он заряжал свой револьвер.

– Что ты делаешь, Мануэль, безумный! – воскликнула она и бросилась к нему.

Мануэль Парладе поспешно выстрелил себе в грудь. Рука его от торопливости и смущения дрогнула.

– Не мешай мне умереть! – воскликнул он, стреляя.

Пуля пробила грудь слева от сердца, задела левое легкое, роя в теле темный путь вверх и влево, засела сбоку, между ребрами и, утративши всю свою силу, уже не могла пробиться еще на сантиметр, чтобы выйти на свободу из своего влажного, горячего плена. Мануэль Парладе тяжело упал на руки подбежавшей сестре и лишился сознания.

Весть о несчастном случае с молодым Мануэлем Парладе быстро разнеслась по городу. Узнала об этом и бедная Имогена. Ей сказала утром девушка, помогавшая ей одеваться. Острая боль пронзила сердце Имогены, и она почувствовала вдруг, что опять любит Мануэля.

В отчаянии бросилась Имогена к отцу. Она упала к ногам седого старика, простодушно-детским, отдающимся движением простирала к нему трепещущие руки, испуганная, горько презирающая себя и свою жизнь, и кричала:

– Это я во всем виновата! Негодная порочная, проклятая я!

Старый маркиз Альфонс Мелладо поднял Имогену и обнял ее. Руки его дрожали, и слезы струились из мутных синих старческих глаз на изрытые морщинами смуглые щеки и на седые усы. Он утешал Имогену нежно и горько бранил ее. Его ласковые слова исторгали из ее фиалково-синих глаз потоки слез и стыдом пронизали ее сердце, – его суровые укоры были радостны ей. Целуя дряхлые отцовы руки, умоляла отца Имогена:

– Накажи меня жестоко, меня, проклятую! Убей меня или заточи меня в монастырь! В подземную темницу посади меня, где бы я не видела света, голоса людского не услышала бы никогда. Но только теперь позволь мне идти к Мануэлю, молить, чтобы хоть на минуту пустили меня к моему милому. А не пустят, – хоть постоять на улице у порога его дома, посмотреть на окна, за которыми он лежит. И потом вернусь, и возмездия буду ждать покорно.

Старый маркиз благословил Имогену и отпустил ее к Мануэлю Парладе.

В тоске и страхе стояла Имогена у дверей спальни Мануэля Парладе. Графиня Изабелла Альбани укоризненно и ласково смотрела на Имогену. За нежно любимого брата готова была бы графиня Изабелла острый нож вонзить в грудь легкомысленной девочки, и повернуть нож в ране, и окровавленное тело бросить на землю, и топтать его ногами. Но сердцем любящей женщины Изабелла так понимала Имогену, так жалела ее, что сама охотно пошла бы к Мануэлю просить его, чтобы он простил Имогену.

Имогена, горька плача, целовала ее руки и говорила:

– Я знаю, что не стою того, чтобы вы пожалели меня, и той милости не стою, о которой молю. Но вы все-таки будьте милосердны ко мне, сжальтесь над бедной грешницей, дайте мне только взглянуть на него, только взглянуть!

Графиня Изабелла сказал ласково и строго:

– Войдите, Имогена, но не волнуйте его ничем. Сегодня вы останетесь с ним только ненадолго, – он еще совсем слаб. Держите себя спокойно, не плачьте. Все идет хорошо. Не отчаивайтесь. Врачи говорят, что он встанет, – но теперь ему вредно волноваться.

Обрадованная Имогена лепетала:

– Бог наградит вас за вашу доброту, милая Изабелла. Я буду совсем тиха, я сниму здесь мои сандалии, я войду к нему босая и уйду скоро и плакать не стану.

Тихо ступая легкими ногами по бездыханно-прекрасным розам ковра, в полумраке прохладного покоя подошла Имогена к постели Мануеля Парладе и тихо, тихо стала на колени у его ног. Глаз не поднимая, едва только смея дышать, молитвенно сложивши руки, долго стояла на коленях Имогена. Услышала тихий голос Мануеля.

– Имогена! – едва слышно позвал он.

Тогда приподняла голову и молящий сквозь ресницы устремила взор на бледность его лица. Мануель Парладе лежал неподвижно и спокойно глядел на нее.

И тихо говорила Имогена:

– Милый, Мануель, это – я, Имогена. У ваших ног ваша Имогена. Вам лучше сегодня? Правда, лучше, Мануель?

– Да, – тихо ответил ей Мануель.

Имогена осторожно подвигалась, не поднимаясь с колен, ближе к его лицу и говорила:

– Я дам вам пить, если вы хотите. Но вы, милый Мануель, ничего не говорите, только покажите мне глазами, – и я догадаюсь, пойму. Я буду хорошо служить вам, – правда, – и вы не гоните меня, пожалуйста, милый Мануель.

Побледневшие губы Мануеля сложились в легкую улыбку. Его права рука, лежавшая сверх белого покрывала сделала легкое движение к рукам Имогены.

– Милая, – тихо сказал он. – Глупенькая! Только не плачь.

– Я не буду плакать, – сказала Имогена и заплакала. – Я не буду плакать, – повторила она плача, – это только так, немножечко. Я сейчас перестану.

– О чем же ты плачешь, глупая? – тихо спросил Мануель.

– Простите меня, – говорила Имогена. – Я люблю вас, а не его. То был только сон. Злой сон, потому что вулкан на Драгонере так странно и страшно дымился, и тонкий пепел плыл по ветру, и точно недобрая вражья сила освободилась из глубоких недр земли и внушала людям злое. Это был только сон, – и все то время, пока вас, милый Мануель, не было здесь, было для меня, как одна долгая ночь, тревожная багряно-красная ночь. Ах, какой злой, тяжелый сон! – сказала Имогена, прижимаясь мокрою от слез щекою к краю его постели.

– А теперь моя Имогена проснулась? – спросил Мануель.

– Да, – сказала Имогена. – Солнце мое восходит надо мною, и сон мой развеялся по ветру серым пеплом. И солнце мое красное – вы, Мануель!

Протянула к нему обнаженные, трепетно-тонкие руки и тихо приникла пылающим лицом к белой прохладе его покрывала. Высокий узел черных кос расплелся, его заколы с мягким стуком упали на ковер, и черные косы развиваясь, до полу свесились.

Мануэль Парладе видел легко вздрагивающие, худенькие, полудетские плечи Имогены и смущенно успокоенные, полуприкрытые складками белого платья стопы ее ног.

День шестьдесят седьмой

Новелла

Ирина была юная, телесно чистая, прекрасная, и более всего на свете любила себя, любила свое стройное, гибкое, девственно-свежее тело, для сладостных созревшее объятий, для знойных радостей налившееся в совершенные формы.

Уже давно порочные помыслами подруги открыли Ирине тайны внешней любви, роковые соблазны грубой жизни. Но недолго томила ее ребяческая, преждевременная похотливость, – эта полная ранних предчувствий отравка скоро истощилась в томных ласках и нескромных объятиях ее сверстниц в жуткие и темные минуты робких уединений.

Когда же юная окрепла грудь, упруго выдавливая из нежной плоти совершенство чистых форм, и рдяностью налилась пара млечных почек, упругим натяжением кожи раздвинутых широко одна от другой, над пологими склонами к той очаровательной долине, на дне которой бьется пламенный родник, когда колыхания этих дивных склонов стали подобны приливу и отливу очаровательных волн, – когда синими зарницами очей и алыми зорями щек явственные чертились руны темных ворожащих сил, вождения и стыда, – Ирине стала противна страшная мысль, что грубый варвар, овладев ею, изомнет пленительное цветение, достойное эллина. И варварски разграбит высокое достояние, совершенный и блаженный мир.

Совершенный и блаженный мир!

Ирина чувствовала в те дни, что весь мир замкнут в пределах ее нежной, озаренно-жемчужной, радостно-тревожной кожи. Вся жизнь восторгами пламенеющего мира таилась в этом пронизанном токами юной страсти тела, и все горизонты смыкались на прельщающих ее взор тонких очертаниях розовеющих пальчиков ее ног. И не было иной жизни, и не было и не могло быть иных времен.

Зенит и надир, оба полюса и экватор, все было на ее восхитительном теле, на этой радостно зеркалами стекла, воды, тусклых сталей и ярких воображений отраженной дивной плоти, от пышного океана черных волос, ниспадающих вдоль очаровательных изгибов, до попирающей доски и землю милой, ласканий и целований трепетно избегающей поверхности. И что же солнце! Яркий многоценный алмаз на светлой бирюзе ее венца. И что же луна! Легкий серебряный кокошник на темно-синем море ее бархатного убруса. И что же звезды! Золотые жужжащие пчелы на влажных шорохах ее покрывала.

Как счастлив будет тот смелый искатель, который пламенным ножом дерзких желаний рассечет ее пояс над жемчужною обнаженностью чресл?

Но неужели одни только грубые достижения подарит он ей? А где же изысканно-сладостные утехи, чередование ощущений, пронзающих и нежных, многозвучные и яркоцветные симфонии желаний, томлений, страстностей, наслаждений и стелющихся ласканий?

Придет он, скажет приличное, совершат обычное, золотое наденут кольцо, повезут ее, томную, скромную, без румянца на лице к венцу, и пойдет канитель без конца!

Да не будет позора скучных объятий, разрешенного соединения!

Если я – воистину я, необъятная и блаженная вселенная, из себя изведшая и ворожащие мерцаниями сонмы золотокрылых звезд, и ясным холодом мечтающую луну, и пламенного, мечущего стрелы Дракона лазурных высот, если во мне жизнь – моя, моя единая, мною мне для меня ликующая, то что же мне закон, власть, предел? Призрачным врагом на меня брошенная призрачная сеть!

Призрачная сеть, – и я бьюсь в ее липких петлях. Зачем? Разорву, разорву душевные плены!

Обнажая в своем строгом затворе свое невинное тело, мечтала и томилась Ирина. Смотрела на себя и еще себя не узнавала в этой сжатой связками платий томительности тела. И еще было стыдно любоваться им.

Как чиста и благоуханна невинная, свободная плоть! Пленительно пахнет все девичье тело, и особенно сладки запахи колен и плеч, и еще слаще пряный и влажный аромат, исходящий из тех заросших тонкими, вьющимися волосками ложбинок, глубоких и чутких, лежащих между пышностью груди и упругою силою стройных рук.

Но ароматы, поднимающиеся от ее тела, еще казались Ирине отчасти чуждыми, смешанными с измятыми запахами одежд, с металлическими благоуханиями духов, с избыточными испарениями пота. И еще было стыдно вдыхать ароматы милого тела.

Это тело было обнажено и освобождено, но еще не было оно нагим и свободным, и еще не созрела смелость нести его навстречу вожделениям чистого и бестрепетного искателя, – навстречу его мечте и его страсти.

Было счастьем то, что начиналось тогда лето. Настояла на том, чтобы отпустили ее одну в далекую глушь. Оградилась пустынною просторов и жила, как хотела.

Там, невидимая никем, уподобясь воскресшей дриаде или русалке, проводила Ирина под открытым небом долгие дни нагая. Входила в пустынные воды, надолго отдавалась широким, холодным объятиям глубин, ускоряющим биение пламенного сердца. Лежала на прибрежном пригретом песке, перебирая загорелыми пальцами его легкую и сухую сыпучесть. Шла по мягким и твердым почвам, по орошенным травам и по мягко-сухим мхам, по липким доньям дождевых луж, то пачкая теплыми землями, то омывая прохладными водами нагие стопы.

И стала вся гибкая, тонкая, сильная, бронзово-загорелая. Грудь дышала глубоко и сильно, и голос приобрел яркую звонкость и далеко слышную силу. Под эластичною кожей радостною и прекрасною стала игра сильных мускулов. Кожа стала более упругою, неподатливою и плотною, и уже ветки лесных кустарников не так сильно царапали бедра, икры и спину, и уже голые стопы смело перебежали через мощные дороги по их острым камешкам. Все внешние восприятия стали точны и чутки, точно раздвинулся, расширился, запестрел и зазвучал невиданными и неслыханными восторгамми весь мир, – ее блаженный мир. Свободный мир!

Шестьдесят шесть дней Ирина ни разу не надела другой одежды, кроме легкого иногда прохладными вечерами покрова, и ни разу не обула ног.

И настал день шестьдесят седьмой. Знойный день в конце июля, утро.

Ирина тихо шла по узкой долине в лесу. На светлой зелени трав и мхов, и на темной зелени листвы ее тело золотилось и пламенело, являя на своей поверхности неисчислимы переливы теплых тонов, созданные сочетанием просвечивающей сквозь кожу крови, пламенных поцелуев высокого Дракона, резвых прикосновений ветров и глубинных объятий вод. И казалось это тело сложенным из первобытной красной глины.

Когда Ирина проходила в тени деревьев, пронизанная светом листва набрасывала на ее тело трепещущую сеть, зыбко сотканную из расплавлено-золотых, скользких и переливающихся кружочков. Вся от этого сделавшись пестрою, Ирина улыбалась радостно и смущенно, как будто льющееся по ее груди и животу навстречу ее шагам горячее солнышко щекало ее. Зеленые рефлексии на ее золотящемся многотонным золочением теле делали ее похожею на лесную деву, из недр земли первоначально восставшую. И лесным, первоначально ясным смехом искрились и сияли ее глаза.

Это был день шестьдесят седьмой, начало знойного и страстного дня. Радостная ликовала уверенность, что сегодня придет он, желанный и жданный.

И вот, выходя из лесу, в сквозном просвете ветвей, показался он, юный и прекрасный и совсем не похожий на поэта наших дней.

«Он?» – вопросительно подумала Ирина и с сожалением осмотрела его светлую летнюю одежду, сшитую просто и хорошо, потому что он приехал из большого города, издали, гонимый мечтою найти ее, удалившуюся от людей прекрасную деву, ту, тело которой подобно цветом первоначальной глины.

Ирина остановилась в тени дерев, в стороне от дороги, по которой ему бы идти, – и он уклонился от своей дороги и направился к тому дивному дереву, под которым яркими и жгучими переливами знойных сверканий сияла нагота нетрепетной и нестыдливой девы.



Кому-то обещанной.

«Ему ли?» – думала она.

«Мне ли?» – думал он.

И смотрели друг на друга, очи в очи. Подобный испугу ощущали восторг, и мгновенный синими холодными молниями вспыхивал стыд, ускоряя вдруг стук двух сердец, в лад одно другому бившихся, потому что высоко вздымались две знойные, две пламенные темные волны, яркие два колыхая на своих вершинах рубина, два напряженно-ярые цветка.

Если улыбается роза уст нагой девы на знойной смуглости ее лица, то какое белое открывается в ее легком раскрытии сверкание!

Если, синяя и колеблясь сквозь длинные, дымно-стрельчатые ресницы, дрожат зарницы в двух небесах бездонных глаз нагой девы, то синий там холод претворяется в синее пламя, и вся она, обнаженная дева, – неопалимая купина.

Расплетенные, тяжелые упали косы по сторонам головы, упали на плечи, за плечами струятся, и зыбок их темный смех.

И его первые услышала слова:

– Если ты ждешь меня, вот, я пришел к тебе, милая царевна.

Сладко смеется радость, и радостное сладостно трепещет тело. Мерцали зарницы, и свирельные сказала слова, золотые сронила к цветам звоны:

– Разве я царевна? У царевны – диадема, а я только лесная дева.

Улыбался и говорил, и ясными смотрел на нее глазами, как небо смотрит в небо:

– Ты пришла сюда белою девою зыбких лент, ты возникла здесь золотою царевною голубых высот. Ты не лесная, потому что легкий стан твой объемлем, и твоя кожа опалена бессильною похотью злого Змия, мечущего яркие стрелы, – только стрелы, а ты для меня, – целуемое для моих уст, объемлемое твое для моих объятий, и мне почивать в колеблемом твоим лоне, потому что перед тобою я.

– Да, – сказала Ирина, – ты пришел ко мне, и о имени твоим не спрошу, чтобы от меня не увлек тебя по неведомым волнам белый лебедь к святыне твоего Грааля.

И обняла его одною рукою за шею, и в быстром беге увлекла его в долину, куда никому не придти, где никому не увидеть. Увлекаемый ею в быстром беге, на своей шее чувствовал он трепет тонких жилок ее руки, и влекущую тяжесть ее руки, знойное обаяние власти, очарование ее руки.

Там, в неведомой долине, ясное сияло солнце, там, в неведомой долине, в широко дышащую грудь сладостный и чистый вливался эдемский воздух первобытного, добрую землю возвращенного рая, – потому что у входа в неведомую долину совлекла с него и бросила прочь скучные городские одежды, злую закутанность юного тела. И тело его было бело, прекрасно и стройно, и оно не было таким, как тела у поэтов наших дней, тусклых и порочных дней.

И обняла его, и целовала его, и хотела его любви, и поцелуев, и объятий, и ласканий.

И если были небеса и земля, то они были первозданны и новы. И сияло ли солнце четверем небесам, – двум в двух отразившимся близко и блаженно, – сияло ли солнце высокой лазури? И струилась ли от реки прохлада двум прижавшимся одна к другой грудям, – его белая грудь на колебаниях ее смуглых грудей, – струилась ли живая и сладкая прохлада дуновением свежим и отрадным для быстрых и счастливых вздыханий? Деревья и травы, берега и волны, шорохи и шумы, угретье камни и холодные ящерицы, – что предстояло и что проносилось? И вся жизнь была в согласном ритме двух тел.

Так невинно было очарование ее лобзаний, что долго лежали они, обнимаясь и

целуясь, и сладостные говоря слова, но не вкушая последнего и сладчайшего счастья.

Склонясь к его белому плечу, Ирина раскрыла смеющийся рот, и нажала зубами на кожу его плеча, и легким укусом разбудила в нем ярость сладострастия. Чувствуя на своей шее сплетенные ее руки, и на лице своем частое и стелющееся ее дыхание, он обвил ее тело руками, и соединил руки за ее спиной, и крепко обнял ее, и страстно приник, содрогаясь, к ее телу.

Насладясь первыми ласками, лежали рядом, томно пламенея и сладкие ощущая томления первого стыда. И опять соединили свои объятия, и поцелуи, и ласки желанных достижений.

Неведомой долине явлен, длился знойный день, а для них, знойных, юных и прекрасных, сгорало время. И свилось небо близким шатром над головами, и земля была ложем отрад, и земля была для легкого бега, игр и пляски. И в реке была вода для прохладной забавы, и, радужно дробясь, звонкие и плескучие взлетали над водою брызги. Выходили опять на берег, где мягкая была под ногами глина, и хрупкий песок, и ласкающая ноги трава, – и сплетались руками, и кружились, и плясали, и мчались в быстром беге, и падали на мягкое ложе трав в широкой тени деревьев возобновить радости сладких достижений.

Длился день, и сгорало время, и неистощимы были желания и страсть, – но что же ты, бедное тело человека? Утомление владеет тобою, и к смертной клонит тебя истоме. Уже прерывисто стало дыхание, и неровны биения сердец, и усталые бессильно раскинулись на земле руки и ноги, и томные глядели не глядели глаза.

Но, преодолевая усталость, приникли друг к другу, и соединили свои тела и свои вожделения для последних ласк. Насладились в последний раз, остаток страстных сил соединили и сожгли в блаженном пламени.

Лежали в изнеможении. К его плечу приникла ее голова, разметавшая косы черными струями. Поперек его белого тела лежала ее смуглая рука, бессильно протянутая. Лежали в изнеможении.

И уже не было дня, и уже заря отгорела, и холодной синевой покрылись небеса, и белые дымы закачались над рекою. Из-за вершины дальних деревьев, там, за рекою, поднялась и бесстрастно глядела на недвижные тела ясная круглая луна. Свершила все свои живые круги, истощила все свои любовные вздохи и влеклась теперь навеки холодная и бесстрастно-печальная.

Познала покой последнего утешения. И, утешая, ворожила мертвыми чарами.

Тогда она, имени которой не назову, она, блуждающая окрест и никогда не показывающая человеку своего земного лица, вышла из безмолвного леса, и приблизилась к спящим. Долго сидела над ними и глядела на их усталые лица. Под неподвижным взором косны и холодны были их прекрасные тела. И она томилась, и вздыхала, как ты, как ты, моя...

Сама себя вопрошала:

– Разве надо?

Сама себе отвечала другим вопросом:

– Зачем?

Сама с собою наконец решила:

– Сотку им новые покровы, и к земным отпущу их дням, к созиданию новой жизни.

С шеи своей сняла малый сосуд и открыла его неспешно, – но уже роковая решительность была во всех ее движениях, – и обрызгала их такую холодную водою, что долго дрожали их стройные тела. Ворожащими движениями рук быстро соткала из неведомой пряжи на станке из лунных лучей широко-мягкую ткань, и другую такую же, и двумя отрадными покрывала одеяниями Ирину и того, кто был с нею.

Когда ровным стало их дыхание и глубоким, и ровным и сильным стал стук их

Повести и рассказы. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru  
согласных сердец, она, ворожащая в тайне, ушла, легкий оставляя за собою по росе  
на луне слабо блестящий след.

И сохранили знак ее печали.

Барышня Лиза  
Над вымыслом слезами обольюсь.

А.С. Пушкин

Глава первая

Барышня Лиза была девушка высокая, тоненькая, стройная. У нее были очень черные, пламенные, веселые глаза, – черные, как вороново крыло, слегка вьющиеся волосы, – и густые, черные брови, которые сходились вместе, когда она хмурилась.

– Всю родню наша Лизанька свела, – говорили тогда про ее забавно нахмуренные бровки.

Нравом барышня Лиза была живая, веселая. Она была единственное дитя у своих родителей, отставного майора Николая Степановича Ворожбинина и его жены Надежды Сергеевны, урожденной Ремницыной. К Лизе должны были отойти их имения, – большое село Ворожбино, где они постоянно жили, и еще две деревни, Ремницы и Сухой Плес, в смежных уездах той же губернии. Богатая наследница, завидная невеста была поэтому барышня Лиза.

Так как Лиза была единственная дочка, то родители в ней души не чаяли. Потому они баловали ее, хотя и не слишком. И выросла Лиза своевольная девушка, шалунья.

– Характерная барышня, – говорили про нее в дворне, – никому не уважить.

Правда, Лизино своеволие не выходило за пределы приличного дворянской девице, и шалости ее были невинными детскими забавами и резвостями. Да и как могло быть иначе? И отец, и мать ее были добрые, почтенные люди, всеми в окружности уважаемые не только за их любезность и радушие, но и за семейственные их добродетели. Радуясь на свою дочку, они думали, что у Лизаньки золотое сердечко, и еще и поэтому не строжили ее.

Барышне Лизе шел семнадцатый год, – самое счастливое время жизни. Была весна, и эта весна сулила Лизе счастье и любовь. Потому Лизины мысли были беспокойны, и сны тревожны.

Однажды в начале мая барышня Лиза с вечера долго не могла заснуть, сладостно и невинно мечтая. Поэтому она проснулась утром не так рано, как всегда. В ушах ее еще звучал смех приснившихся ей черных арапов, и вся картина странного сна еще была ясна перед нею, – а в саду за окном было по-утреннему свежо и светло. Лиза открыла глаза, очутилась в своей постели и с удивлением припоминала наполненный пасмурно-фиолетовым светом чертог ее сна.

В Лизиной кровати за кисейным пологом было с вечера уютно, мило и радостно, и так приятно было повернуться на правый бок, закрыть глаза и предаться мечтаниям, непрямо переходящим в сон и вновь из краткого сна возникающим. А теперь, к утру, сбились и слишком потеплели белые простыни, и складки хотя и очень тонкой ткани были томны. За окном ранний, словно обмытый росой, свет еще невысокого солнца и птичьих чириканья звали к холодной воде. И уже веселая, краснощекая Лушка стояла у порога с кувшином холодной ключевой воды, которую умывались господа для свежести и для здоровья.

– Что ты, Лушка? – спросила Лиза.

– Воду принесла, барышня, – сказала Лушка, – будто кликали?

– Никто тебя не кликал, – сказала Лиза. – Погода хороша ли сегодня? Да нет ли ветра?

Получив от Лушки ответ, что погода ясная и теплая и что ветриночки не веет, Лиза приказала Лушке раскрыть окно, а сама опять повернулась смуглым личиком к стене и еще с минуту помечтала в постели.

Отгоняя темное очарование тусклого сна, что-то невыразимо сладостное встало в ее еще смутной памяти, такое сладкое, что Лиза вся затрепетала и, быстро откинув одеяло, вскочила с постели.

Лиза вспомнила, что сегодня опять приедет молодой Алексей Львицын. Она обрадовалась и почему-то застыдилась. От этого Лизино смуглое лицо стало очень милым, и черные Лизины глаза так радостно засияли, что и Лушка зарадовалась, – барышня встала веселенькая.

Почему-то вспомнились теперь Лизе слова ее милого:

– Рано или поздно взойдет день внезапный.

Непонятные слова! Лиза уже не первый раз над ними призадумывалась, не зная, в каком смысле следует их понимать. И теперь опять, глядя на ясный день, подумала Лиза: «А разве теперь ночь?»

И, улыбаясь, подумала: «А если ночь и впрямь, то где же над нами звезды? Ведь сами-то мы ничем не блестим. Живем себе смирно».

«Он был в чужих странах, – думала об Алексее Лиза, – а там живут не по-нашему».

Из раскрытого Лушкой окна доносилось благоухание ранней весны. Забилося Лизино сердце. Засмеялась Лиза. Выглянула в окно.

Высокое окно Лизиной спальни выходило в сад. Упругое качание веток, росинки на траве, гомон птичий, – все радовало Лизу. Окинув быстрым взглядом веселых черных глаз деревья, лужайки и цветники сада, Лиза принялась проворно умываться.

– Папенька с маменькою встали? – спросила она.

Лушка широко усмехнулась, – забавная, красная, круглолицая, как полный месяц, – и отвечала простодушно:

– Эвеси! Давно уже встали, чай кушают. Уж барыня хотели посылать будить вас, да барин заступился, – пусть, мол, понежится.

Лиза опять засмеялась, – от утренней радости, от домашнего уюта. Она сказала самой себе вслух:

– Что же это я так заспалась нынче?

Лушка ответила ей с тем же простодушием:

– Видно, хороши сны снились, барышня.

Лиза вспомнила свой странный сон, вспомнила, что Лушка ей приснилась. Лушкины слова показались ей странно соответствующими ее сну. Лиза свела свои брови и сказала строго:

– Тебя видела. А вот ты, Лушка, болтаешь много. И в поварню бегаешь не за делом. Елевферий хоть и читает евангелие, а все же знать никак не может того, что кому на том свете будет.

Лушка замолчала. Вдруг вспомнила Лиза, что ее ждут. Она покраснела и зашпешила одеваться. Обыкновенно она просыпалась рано, и теперь ей стало стыдно, что она после родителей придет в столовую. Лиза оделась торопливо, но все же внимательно оглядела себя в зеркало. Тонкий, стройный стан, весело смеющиеся глаза и мило вьющиеся вокруг смуглого лица локоны глянувшей на нее из зеркала красавицы понравились ей чрезвычайно. Послав тоненькими пальчиками воздушный поцелуй своему отражению, ответившему ей тем же, Лиза поспешила в столовую.

Быстро и легко постукивая каблучками своих маленьких башмачков, Лиза вошла в столовую, вся светлая и свежая. Мать улыбнулась ей, отец посмотрел одобрительно, и у обоих было такое чувство, как будто вошло к ним некое неземное существо, вея счастьем, радостью и светом. Поцеловав руки отцу и матери, Лиза села за стол и, улыбаясь, смотрела в окно, словно забыв, что на столе стоят столь любимые ею густые, превкусные сливки и не менее любимый ею мед. Нежная улыбка на Лизином

Повести и рассказы. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru  
нежном лице переливалась многоцветным сиянием радости. Надежда Сергеевна обратилась к дочери с несколькими вопросами. Лиза отвечала ей с приметной рассеянностью.

– Да что ты все во двор смотришь, Лизанька? – спросила Надежда Сергеевна. – Что ты там занятого нашла?

Лиза вздрогнула от неожиданного вопроса, смешалась и сказала:

– Так точно, маменька.

Надежда Сергеевна посмотрела на нее с удивлением и спросила:

– Что с тобою, Лизанька? Отвечаешь невпопад, как сонная.

Николай Степанович, нюхая табак из серебряной табакерки, глядел на Лизу посмеиваясь, от чего Лиза еще более смутилась. Краснея, она призналась:

– Я сегодня странный сон видела, маменька. А к чему он, не знаю.

И она засмеялась.

– Что за сон? – недовольным голосом, но с немалым любопытством спросила Надежда Сергеевна.

Ей весьма не нравилось, что Лиза в последнее время стала часто видеть странные сны.

Странность этих снов казалась Надежде Сергеевне чрезмерною и даже неприличною для барышни. И даже трудно было по соннику разгадывать их значение, так что никак нельзя было понять, к чему они, и радоваться ли им или печалиться. Снам Надежда Сергеевна верила, и потому неразгаданность их причиняла ей немало огорчений. Николай Степанович с неудовольствием сказал:

– Пошли сны свои рассказывать да разгадывать. Сколько лет я тебе, мать моя, твержу одно и то же, все в толк взять не можешь, что никакого предвещательного значения сон не имеет. О чем днем думаешь, то ночью и снится, а разгадывать сны пристойно деревенским бабам.

– Что ты, Николай Степанович! – возражала Надежда Сергеевна. – Иной раз то увидишь во сне, о чем и думать-то давно позабыла, а то так никогда и в голову не приходило.

– Да вот позабыла, не думала, – спокойно отвечал Николай Степанович, – а тут вот взяла да и подумала, засыпая.

– Ну, батюшка, – с досадою сказала Надежда Сергеевна, – понес свое. Знаю я тебя, – вedomый вольнодумец. Сказывай, Лизанька, какой же ты сон видела!

Лиза, краснея, сказала:

– Ах, маменька, право, глупости. И говорить не стоит.

– Изволь рассказывать, сударыня, – уже построже сказала Надежда Сергеевна.

Лиза слегка смутилась от этой строгой нотки в материнском голосе и принялась рассказывать:

– Сначала снилось мне что-то совсем непонятное. Я уж даже и позабыла. Потом пришел арап, сам черный весь с головы до ног, как гуца кофейная, а губы красные-красные, на голове пунцовый тюрбан. И говорит мне громко: «Собирайся бесперечь, Лизавета Николаевна, к славному и великому королю Крысиному».

– Такого и короля нет, – с неудовольствием сказала Надежда Сергеевна.

– Ах, маменька, да ведь это во сне! – возразила Лиза.

Николай Степанович нюхал табак и неодобрительно покачивал головою, ворча:

– Обоих бы вас послать к королю Крысиному на выучку.

Нянька, старушка старая, из девичьей, где выговаривала она девкам за леность, заслышав, что речь о снах идет, пришла в столовую и стала у дверей. Стояла, слушала, головою качала, бормотала что-то невнятное. Ничего, господа на нее не сердились, многое ей позволяли, – она и барыню вынянчила, и барышню Лизу. Лиза продолжала:

– Ну вот, иду я будто бы в королевский чертог. Дорога гладкая как скатерть, синелью вышита и бисером, а идти по ней страх как трудно. По сторонам дороги ученые медведи пляшут, а передо мною арап идет. Идет, а сам все оборачивается, страшный такой, за красными губами зубы белые сверкают. В чертоге богато и пышно, колонны высокие, много свеч горит, свечи желтые как мед, а свет от них лиловый и дымный. У дверей арапы стоят и придворные кавалеры. Вот вошла я в тронный зал, смотрю, а на троне сидит Лушка. На ней корона и порфира и башмаки золотом шитые. А сама румяная, смеется во весь рот. На себя смотрю, – я в сарафане, как простая девка. Да и сарафанишко-то совсем плохонький, рваный.

– Ну и сон! – сердито сказала Надежда Сергеевна.

– Лушка мне говорит, – продолжала Лиза: – «Здесь первые станут последними, как в Евангелии сказано, а ты, барышня, целуй мою ручку, а потом воду носить будешь».

– Ах она подлянка! – воскликнула Надежда Сергеевна и руками всплеснула. – Да как же это она осмелилась? Да что ж ты ее не уняла, Лизанька?

Николай Степанович сердито глянул на дверь, из-за которой выглядывали любопытные дворовые девушки, и сказал:

– Во сне унимать нечего. Что приснится, то и смотри. А вот наяву построже бы за ними глядели, чтобы не стояли в дверях, господские разговоры подслушивая.

Спугнутые этими словами, девушки скрылись, и только слышен был быстрый топот их ног, а нянька, ворча, пошла вслед за ними в девичью выговаривать им за непорядок. Меж тем Надежда Сергеевна говорила, раскрасневшись от гнева:

– Подошла бы к подлянке, да по щекам бы ее, по щекам!

– Мне так стыдно стало, – сказала Лиза, – что я проснулась.

– Ну еще бы! – воскликнула Надежда Сергеевна. – Лушкину руку целовать!

Потом Надежда Сергеевна рассердилась и на Лизу. Она говорила строго:

– Ну уж, матушка, и сон! Хорош, нечего сказать! Постыдилась бы такие сны видеть!

– Да разве я виновата, маменька! – оправдывалась Лиза. – Ведь я не нарочно.

Николай Степанович внушительно постучал табакеркою по столу и сказал:

– А ты, сударыня, матери не отвечай. Не дело. Наставления родителей выслушивай с покорностью и со вниманием. О чем не надобно думаешь, такие и сны видишь.

Лиза посмотрела на отца опасливо. Постукивая по табакерке с изображением чужого короля, он ворчливо говорил:

– Вот вам нынешнее воспитание! В мое время девицы таких снов не смели видеть. У них благородные были мысли, и сны им снились благопристойные.

Лизе было стыдно, что ее обвиняют в нескромности. Она потупилась и зарделась. Надежда Сергеевна сердито говорила:

– Ты на красных каблучках ходишь, а она голыми пятками пристукивает, так тебе с ней даже и во сне равняться не стать. Все это Елевферкин яд. Давно тебе говорю, Николай Степанович, унять его надобно. У наших хамов ни стыда, ни совести нет. Если бы им дать волю, так они бы себя показали. До сей поры Емельку Пугачева, поди, забыть не могут.

Николай Степанович молчал. С поваром Елевферием он собирался поговорить сегодня же утром, но не считал нужным сообщать жене свои намерения относительно этого предмета. А Лизе было так стыдно, что она собиралась уж было заплакать. Но Надежда Сергеевна решила:

– Надобно пойти с бабушкой посоветоваться, как тут быть. А то что-то повадилась ты, милая, неподобные сны видеть. Пойдем-ка, сударыня, к бабушке.

Надежда Сергеевна и Лиза пошли в бабушкины покои. Лизе страшно стало и немного стыдно, и у нее было такое чувство, словно ее повели наказывать. Николай Степанович сердито ворчал, нюхая табак:

– Пошли к оракулу своему! Ох уж эти мне бабы.

Глава вторая

Бабушка, Елизавета Павловна, сидела в покойном кресле у окна, раскладывала на ломберном столе пасьянс и слушала горбатую шутиху. Та рассказывала бабушке все здешние новости, пересыпая рассказ нелепыми ужимками и глупыми прибаутками. При входе Надежды Сергеевны и Лизы шутиха с подобострастными поклонами выкатилась из комнаты.

Бабушка была уже очень старая, но еще совсем бодрая. Глаза у нее были голубые и весьма приятные. Лицо у бабушки было свежее и почти без морщинок. Из-под кружевного белого чепца с синими бантами видны были седые букли. Одета была бабушка, как всегда, парадно, – хоть сейчас к гостям выходи. На ней был лиловый, – цвета Лизина сна, – шелковый капот. Через правое плечо ее была перекинута старая желтоватая, цвета апельсинной завялой корки, турецкая шаль. У бабушкина кресла стоял костыль. Он помогал ей в прогулках, а также и в исправлении строптивых или ленивых девок.

Бабушка имела свое собственное имя в той же губернии. Знали, что она хочет оставить его Лизе, хотя у нее были и другие внуки и внучки. Николай Степанович говаривал:

– Не велик кусок, а все же Лизаньке пригодится.

Поэтому за бабушкой здесь ухаживали и очень слушались ее.

Лиза, войдя к бабушке, присела очень низко, придерживая юбочку тоненькими пальчиками опущенных и разведенных рук. Бабушка ласково потрепала ее по щеке. Надежда Сергеевна рассказала бабушке, в чем дело. Лизе пришлось повторить свой рассказ. Лиза чинно стояла перед бабушкой и говорила о своем сне, точно урок строгому учителю отвечала. Бабушка выслушала рассказ очень внимательно, не выразила никакого удивления и сказала тоном женщины, привыкшей к тому, что к ее словам прислушиваются:

– Знаю, от чего эти сны, – от Елевферкиных сказов. Елевферку давно пора пробрать хорошенечко. Лушке строго сказать, чтобы не смела барышне сниться. Не уймется, – наказать построже. А тебя, сударыня...

Бабушка внимательно, с неопределенным выражением не то усмешки, не то угрозы, посмотрела на Лизу и помолчала. Лизино сердце забилося. Бабушка пожевала сухими малинового цвета губами и сказала Лизе:

– Ты, ветреница, книжки читаешь, я слышала. Отец научил, старый вольнодумец. Вышивала бы лучше бисером или синелью. От книжек сны глупые. Вышивай, – слышишь?

– Слушаю, бабушка, – робко сказала Лиза, – я и то вышиваю в пальцах.

– Вышиваешь, да не кончаешь, – сказала бабушка. – Кажется, уж скоро полгода будет, как начала подушку вышивать, а всего еще полвеночка роз вышито. Ты не думай, – ведь я все знаю, что у вас там делается. Ну, идите себе с Богом, устала я с вами.

Ушли и мать, и дочь, обе немного смущенные, как всегда после визита к бабушке.

\* \* \*

Между тем как Надежда Сергеевна и Лиза ходили к бабушке, Николай Степанович занялся делом, к управлению относимся, или, точнее говоря, к отправлению правосудия. Лизин сон напомнил ему вчерашнее донесение бурмистра Титьча о происшествии соблазнительном и неожиданном. Старый повар Елевферий, трудами и способностями которого господу были отменно довольны, уже давно замечаем бывал в пристрастии к чтению. Хотя читал он книги церковные и душеспасительные, преимущественно Евангелие и Четы-Минеи, но все-таки Николай Степанович глядел на это чтение неодобрительно. Не раз, призвав повара к себе, Николай Степанович выговаривал ему:

– Эй, Елевферий, смотри, не доведет тебя до добра твое пристрастие к чтению. Я и больше тебя разума имею, как господин прирожденный, да и то книг не читаю, кроме иногда книг Вольтеровых, – на что всякие книги надобны? А ты – отродье хамово, и разум у тебя худой, хоть руки у тебя и золотые. Читаемое тобою ты можешь понять превратно, отчего и сделается в тебе повреждение. Тогда куда же ты пригодишься, сам подумай! Господам поврежденный повар опасен. А на другую работу ни на какую ты уж и не способен.

Выждав минуту, когда барин остановится понюхать табаку, Елевферий говорил:

– Позвольте доложить, барин, что я пустых книг не читаю, а читаю токмо то, что к спасению души относится, ища, как угодити Богу паче человек.

Николай Степанович покачивал головою и говорил:

– А ты знаешь, кто Библию прочтет всю насквозь, от доски до доски, тот с ума сойдет? Слышал ли ты это?

Елевферий понятливо усмехался и говорил:

– Я тоже с пониманием читаю, барин. Апокалипс я и не читаю, не нашей мудрости требует эта книга. А Евангелия чтение пресладостно и преплезно, и простецам понятно, потому что и сам Господь наш Иисус Христос проповедовал простому люду, неученым рыбарям, и ловцами человеков поставил их.

– Смотри, Елевферий, – говорил барин, – говорю с тобою сегодня добром, жалеючи тебя за то, что дело свое гораздо разумеешь, – эй, говорю, не предавайся сим высокоумным упражнениям. На то есть ученые люди; попы в церкви тебе все прочтут и пропойт, что надобно, да еще и ладаном надымят. А тебе это ни к чему.

Понюхав табаку и помолчав, Николай Степанович говорил внушительно:

– Иди себе, Елевферий, да помни, – не послушаешь словца, так отведаешь дубца. Я – хозяин ласковый, угостить сумею так, что прибавки не попросишь.

Елевферий шел к себе, книги прятал, а сам свирепо напивался. Николай Степанович, узнав об этом, спокойно говорил:

– Пусть лучше иногда выпьет человек, чем книги читать. Водка – слабость, простому русскому человеку весьма свойственная. Да и я до крайности не допущу и пресеку во благовремени. Пристрастие же к чтению – от высокоумия и гордости, а гордость – грех смертный. Сей бес, однажды в человека вошедший, изгоняется нелегко.

Некоторое время после бариновых увещаний не слышно бывало, чтобы Елевферий читал. Потом опять принимался он за прежнее и опять бывал увещаем. Но вот вчера вечером бурмистр Титьч доложил Николаю Степановичу, что к Елевферию ходят дворовые люди и девки, а он им читает Евангелие и объясняет, будто бы на том свете первые будут последними.

– Ну, это еще на том свете будет, – сказал Николай Степанович. – Однако скажи, чтобы к нему ходить не смели, да и ему строго прикажи не читать другим и не учить никого. Не его ума дело. Впрочем, я сам завтра утром все это разберу.

Зная хорошо верность и преданность своих холопов и будучи вполне уверен в действительности тех средств, коими располагает помещик для обуздания своеволия своих подданных, Николай Степанович не был обеспокоен Титьчевым донесением, а к утру чуть было и не позабыл о нем. Быть может, так бы и прошло на этот раз, –



Николай Степанович встал сегодня в хорошем расположении и не склонен был судить и наказывать. Но утренний Лизин рассказ о ее сне заставил его думать, что Елевфериевы речи мутят дворню. И он велел позвать к себе Елевферия. Думал: «Видно, Лизаньке девки шепнули, чего ей не надобно было слушать, она, ложась спать, думала об этом, вот ей и приснилась эта белиберда, от которой пришла она не в малое расстройство».

Скоро перед Николаем Степановичем стоял повар Елевферий, высокий, красивый, благообразный старик. Только красный нос портил его лицо, – повар Елевферий любил выпить, разделяя страсть, обуревающую в России многих «умственных» людей. Борода его была старательно пробрита, а бакенбарды были холеные, седые, пушистые. Представ перед барином, Елевферий степенно поклонился ему в пояс, коснувшись рукою пола. Николай Степанович строго спросил его:

– Ты что же это, Елевферий, моих людей мутить вздумал? Чему это ты их учишь, скажи, сделай милость!

Елевферий поклонился барину в ноги движением степенным, словно свершая значительной важности обряд и, поднявшись, чинно сказал:

– От священного писания изъясняю.

– А кто тебя поставил изъяснять? – строго спросил Николай Степанович. – Ты – повар, так и пеки пироги. Не учась в попы не ставят, так-то вот, любезный. А тебя всяческим риторикам да философиям кто учил?

Елевферий степенно отвечал:

– Как есть у меня свое понимание...

– А ты помолчи, – прервал его Николай Степанович. – Понимание у тебя дурное, и изъяснять ты никому ничего не можешь. Слепой слепого поведет, оба в яму ввалятся, только и всего прибытку. Ну вот скажи мне к примеру, что есть писано строфокомил?

Задавши этот вопрос, Николай Степанович с торжествующим видом посмотрел на Елевферия, будучи почему-то уверен, что Елевферий этого слова объяснить не сумеет. Но, к изумлению и досаде Николая Степановича, Елевферий принялся обнаруживать свое понимание.

– Строфокомил, сиречь строфус, – объяснял Елевферий, – кур пустыни, ростом ужасен, нравом кроток, пером курчав, телом тяжел, и посему летать не может, а бежит по пескам втрикраты быстрее ветра, вопя гласом велиим. Дает перо для украшения рыцарских шлемов, но без великой хитрости иман быть не может, ибо, скрыв голову под крыло, становится незрим.

– То-то вот, – наставительно сказал Николай Степанович, – без великой хитрости не токма что строфокомила, сиречь строуса, не поймашь, но и прочих дел никак не сообразишь. А ты в какие рассуждения втяпался? Кто мы, благородные, и кто вы, холопы наши? Ты это понимаешь ли, кур кухонный? Ростом и ты ужасен, и волосом пушист, а есть ты сущий хам и остолоп, телепень ты этакий несосветимый! Ты что там толкуешь? Мы, господа, на том свете будем позади, а вы, рабье племя, вперед пойдете? Так, что ли, по-твоему?

Елевферий опустил глаза, вздохнул и степенно молвил:

– Есть на земле ваша господская над нами воля, а только что действительно обещано в писании, что в царствии Божием несть слуга, ни господин.

Николай Степанович покраснел от гнева. Нервически постукивая табакеркою по круглому столику красного дерева, у окна стоящему, он сказал:

– Ты что ж, рыцарь слоеный, на коня сядешь, а я тебе стремя держать буду? Ты в шлафрок на диван развалишься, а я тебе трубку подавать стану?

Елевферий, не поднимая глаз, смиренно, но упрямо сказал:

– Здесь, на этом свете, есть ваша господская воля, а там, по грехам нашим и по

Повести и рассказы. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru  
великой милости Божией, воздастся коемуждо по делом его.

Николай Степанович встал, пылая гневом.

– Я тебе покажу коемуждо! Я тебе воздам! Позвать Титыча! – крикнул он голосом, слышным во всей усадьбе.

И уже барское правосудие готово было совершиться. Уже казачки и девки вихрем помчались во все стороны разыскивать Титыча. Но в это самое время, как волна встречного вихря, вслед за вошедшими в столовую Надеждою Сергеевну и Лизою, вбежала запыхавшаяся расторопная девка Степанида, крича:

– Барыня, едут! Гости едут, гости, от Заозерья!

– Что кричишь, оглашенная! – прикрикнула на нее Надежда Сергеевна. – Не можешь доложить спокойно? Может быть, еще и не к нам едут.

А сама засуетилась. Пошла в гостиную к зеркалу и тревожно оглядывала себя с головы до ног, нет ли какой неисправности в туалете. И уже слышен стал звон бубенчиков, все приближающийся.

Глава третья

Николай Степанович быстро прошелся по всему дому, покрикивая на слуг:

– Ну, вы, засони! Везде непорядки!

Но так как на самом-то деле везде все было в отменном порядке и к принятию гостей весьма готово, то Николаю Степановичу делать было нечего. Он, опять забывши об Елевфери, пришел в гостиную. Здесь уже Надежда Сергеевна сидела на диване с каким-то рукодельем в руках, опираясь локтем на вышитую подушку, меж тем как у окна Лиза, тонкими пальчиками отодвинув край кисейного занавеса, а левую руку трепетно держась за один из стволов бронзового канделябра, стоявшего на маленьком овальном столике, выглядывала на дорогу, торопясь узнать верно, кто едет. Николай Степанович взглянул на Лизу и сказал, посмеиваясь:

– Видать сразу, что Львицын молодой едет.

Лиза покраснела и бросила на отца стыдливый, умоляющий взгляд. Отец погрозил ей пальцем, засмеялся и сказал:

– Все вижу, плутовка быстроглазая. От меня и под землю не скроешься.

Лиза засмеялась и убежала. Николай Степанович подмигнул жене и сказал:

– Пошла наша Лизанька прихорашиваться.

– Дело девичье, – улыбаясь, отвечала Надежда Сергеевна.

– Львицын и есть, – сказал Николай Степанович, всмотревшись в подъезжавший к воротам усадьбы экипаж. – Почтенных родителей сынок, – дай Бог им царство небесное, – и ведет себя скромненько, а все что-то странное в нем есть. Служить нигде не служит и не хочет служить, хозяйством своим не занимается, ездит с места на место, смотрит, где лучше. Чужие края хвалит, а наши порядки ему не нравятся.

– Вот женится, – сказала Надежда Сергеевна, – привяжется к месту, остепенится.

«А кто же привяжет молодого человека к месту? Никто, как наша Лизанька», – думала Надежда Сергеевна.

\* \* \*

Пока Лиза, принаряжаясь, старалась успокоить свое волнение, прошло немало времени. В гостиной ее родители беседовали со своим гостем, молодым Алексеем Павловичем Львицыным, соседом их по имению. Алексей, вынув из бокового кармана своего серого фрака письмо, сказал:

– С вашего позволения я прочту вам несколько строк из сего письма. Из них вы изволите усмотреть, почему чужие края меня привлекают, и почему в глазах

Повести и рассказы. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru  
европейца самое имя России есть синонима варварства.

– Однако, – возразил Николай Степанович, – эти самые варвары освободили сих пресловутых европейцев от несносного деспотизма Наполеонова.

– Чем других спасать, – сказал Алексей, – «не лучше ль на себя оборотиться?» Вот пишет мне из Петербурга мой дядюшка...

– Его превосходительство Григорий Алексеевич? – спросил почтительно Николай Степанович и, получив утвердительный ответ, осведомился о здоровье его превосходительства, его супруги и его детей.

Отвечая поспешно и невнимательно на эти вопросы, Алексей вертел в руках дядино письмо, горя нетерпением скорее прочесть занимавшее его место из этого письма. Наконец, получив к тому возможность, он начал:

– Так вот что пишет мне дядюшка:

«Расскажу тебе прекуриозное происшествие, приключившееся здесь недавно. Некая молодая и красивая собою девица Амалия К.»...

– фамилию позвольте умолчать, – сказал при этом Алексей и продолжал чтение:

«...проживала у старшей своей сестры, которая имела любезного и нередко ревновала его к сестре. Однажды сия чета, воспользовавшись хорошим днем, отлучилась из квартиры погулять; в отсутствие их и Амалия ушла к своей тетке. Добрая женщина отлично знала, что житье молодой ее племянницы у старшей сестры не блистательное, что она исполняет часто обязанности служанки и живет с нею потому лишь, что некуда деваться. При прощании она дала ей сорок копеек, которые Амалия завернула в один из углов платка. Возвратясь домой, старшая К. не нашла ночного капота и придралась к сестре; та ударилась в слезы. Понадобилось ей вытереть глаза; доставая из кармана платок, она выронила подаренные теткою монеты. Эти несчастные деньги были причиною, что старшая К. обвинила младшую в краже капота, который она будто бы продала за сорок копеек. Напрасно последняя ссылаясь на тетку; это ей на суде не послужило в пользу, так как тетки в столице не оказалось: она отправилась на богомолье во внутренние губернии. Заподозренная в краже, Амалия не знала ни того, откуда она родом, ни к какому состоянию принадлежит по рождению, почему уголовная палата и присудила ее к наказанию розгами. После исполнения над Амалиею наказания, в управу благочиния присланы были документы, удостоверявшие дворянское происхождение Амалии; к тому же времени вернулась с богомолья тетка, которая подтвердила ее показание. Несчастливая Амалия покорилась своей участи и не искала за бесчестье, но чиновники палаты, движимые состраданием к молодой и красивой особе, пострадавшей из-за ревности сестры, сложились и вручили ей сто пятьдесят рублей».

Слушая чтение, Надежда Сергеевна с соболезнованием покачивала головою и восклицала:

– Ах, бедная Амалия! Ах, несчастная!

Николай Степанович внушительно сказал:

– Поторопились судьи напрасно. Жаль бедную девушку, – такого стыда деньгами не искупишь. Впрочем, нет худа без добра, – девица получила хорошее приданое. Я чаю, что и женишок ей скоро найдется, если она точно столь хороша собою, – из тех же чиновников, пожалуй, кто-нибудь.

В это время в гостиную вошла наконец Лиза. Алексей встал со своего места, учтиво кланяясь ей. Лиза, взглянув на его длинные, до плеч, волнистые русые волосы, на его небрежно, но красиво повязанный галстук, вспыхнула, и сердце ее забилось. Пролетав невнятно слова привета, она скромно села рядом с матерью на стул под портретом одного из ее предков, воинственного полковника с величавою осанкою. Томный взор Алексея, слегка презрительный и насмешливый, оживился, когда в комнату вошла Лиза. Продолжая начатый разговор, но уже не в силах будучи отвести взора от белого кисейного Лизина платья, он сказал:

– Чувствующему и размышляющему человеку ненавистны эти проклятые потемки, в которых держат нас.

Его разговоры всегда несколько удивляли соседей, и те выводы, которые он делал из частных явлений, казались им преувеличенными.

Николай Степанович спросил:

– Но кто же нас держит? Да и какие у нас потемки? Россия имеет людей весьма просвещенных.

Алексей возразил:

– Просвещенный человек, истинный гражданин и сын отечества, питает ненависть к деспотизму. А мы, скитающиеся по сей обширной и безвыходной пустыне, к сему деспотизму так привыкли, что уже и не возмущаемся им.

Бросив при этом нежный и томный взгляд на Лизу, Алексей сказал:

– Намерен я вскорости поехать в Германию.

– Батюшка, Алексей Павлович, да зачем так далеко вам ездить? – спросила Надежда Сергеевна. – Разве же у нас худо? Я бы с этими немцами и дня не прожила, – говорят не по-нашему и едят не по-нашему, – легко ли к чужим порядкам привыкать?

Лиза покраснела и досадливо нахмурилась. Алексей отвечал:

– Там нет ужасных позорищ, извлекающих у чувствительных сердец слезы сострадания, и при которых истинный друг человечества содрогается. Там добродетель освещается не вечерним светом правды, и народы прислушиваются к голосу философов и поэтов. Там хочу я упражняться в добродетели и в науках.

– Дело семинаристов, – возразил Николай Степанович. – Дворянские занятия – военная служба, охота, имение управить. Об этом в Лизанькином песеннике я вычитал очень хороший стишок.

Николай Степанович понюхал табаку, и с чувством прочитал наизусть:

Деревенское житье –  
Счастье непорочно.  
Упражнение мое  
Мне с друзьями прочно.  
Время с пользой провожу,  
Дальних бед не видя,  
Все забавы нахожу,  
Ближних не обидя.  
Алексей возразил:

– Вы, Николай Степанович, как почитатель великого Вольтера и как человек глубокого ума, не можете не видеть, что в сей стране слепых господствуют кривые.

Улыбаясь тонко, польщенный словами Алексея, Николай Степанович сказал:

– Кривые-то, государь мой, все же лучше видят, чем вовсе слепые.

Обед подан был рано, по-деревенски. Ровно в два часа распахнулась дверь из гостиной в столовую, и молодой курносый лакей в кафтане горохового цвета с бронзовыми пуговицами выкрикнул:

– Кушать подано.

– Милости просим, – сказал Николай Степанович, вставая со своего кресла, – чем Бог послал.

Пошли обедать. Обед прошел в обычных незначительных разговорах, в которых иногда принимали участие и несколько обедавших за тем же столом небогатых дворян и дворянок, живших в барском доме и во флигелях в Ворожбинине. Из этих гостей некоторые приезжали на несколько недель и потом уезжали к другим своим знакомым, чтобы по истечении времени появиться здесь снова; другие же оставались на целые годы. Обращаясь к одному из таких приживальщиков, седенькому, плешивому старичку

Повести и рассказы. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru  
во фраке, с длинным носом и с резною табакеркою, Николай Степанович спросил, усмехаясь с таким видом, как бы обещая гостю забавный ответ:

– Скажите, Петр Евсеевич, как супруга ваша поживает? Все ли в добром здоровье?

– Что ей сделается! – отвечал Петр Евсеевич, махнув рукою и сморщившись, как бы при воспоминании о неприятном. – Живет у матери своей. Меня ведь насильно с нею обвенчали.

За столом кое-кто засмеялся, другие слушали, как давно известное. Алексей смотрел на говорящего с изумлением и ждал объяснения его странных слов.

– Да как же так? – возразил Николай Степанович. – Ведь священник спрашивал же вас: «Имаши ли благое и принужденное произволение пояти себе в жену уже пред собою видиши?»

– Да, – говорил Петр Евсеевич, – теперь помнится, у меня что-то такое спрашивали: да тогда я не спохватился отвечать, а нынче уж поздно, не воротись. Вот мы недавно отпраздновали и серебряную свадьбу у тещи в деревне. Бог с нею совсем!

Над старичком смеялись, но видно было, что рассказ этот здесь уже привычен. Алексей не стал спрашивать о причинах этого венчания, боясь, чтобы при Лизе не зашел разговор о предметах, которые могли бы оскорбить ее скромность. Меж тем обед приблизился к концу. Николай Степанович встал, поклонился гостям и сказал:

– Сыто, не сыто, а за обед почтите. Чем Бог послал.

Глава четвертая

Николай Степанович и Надежда Сергеевна, извинившись перед гостем, пошли после обеда отдыхать. Лиза и Алексей гуляли в саду. Вешний день был тих и ясен. Таяли тучки в вешней синеве. Лиза повела Алексея во фруктовый сад, а потом через просторный двор, почти весь заросший высокою травюю, в блюденую, еще не старую еловую рощу. Там Лиза показала Алексею находящийся посреди рощи четырехугольный продолговатый неглубокий пруд.

– Смотрите, Алексис, – сказала при этом Лиза, – какая здесь прозрачная вода.

И точно, песчаное дно пруда и плавающие в нем рыбы были ясно видны.

– Вода здесь так же прозрачна и ясна, – сказал Алексей, – как ясна и прозрачна ваша, Лиза, невинная душа, в которой я вижу, мне кажется, все ваши непорочные чувства.

Лиза слегка зарделась, потупилась и принялась рассказывать Алексею, как зимою здесь катаются с горки и как она летом удит здесь рыбу. Она сказала с простодушною гордостью:

– Кроме меня папенька никому не позволяет здесь ловить рыбу.

Вернувшись в сад, Лиза обратилась к Алексею с невинным выражением и спросила:

– Скажите, Алексис, за что я так люблю березку? Кажется, нет в ней ничего особенного, а ее вид всегда меня радует и запах ее листочков по весне.

– Береза мила нашему сердцу, – отвечал Алексей, – потому, что это – наше национальное северное растение, к которому привыкли мы с детства. Как жителя пышного юга веселят его гордые пальмы, так нас веселит наша скромная родная березка.

– А вы знаете, я и дождик люблю, – сказала Лиза. – Летний дождик очень веселый.

Алексей, волнуясь необычайно, заговорил:

– Лиза, я вижу, что вы всегда говорите со мною доверчиво и чистосердечно. Я вижу, что мои посещения не противны вам.

– Да, Алексис, – сказала Лиза, – я бываю очень рада, когда вы к нам приезжаете.

– Откройте мне ваше сердце, – говорил Алексей, – будьте совершенно доверчивы со мною. Ваши милые глаза сияют, когда вы встречаете меня, и улыбки на ваших очаровательных устах выдают тогда радость и волнение. По этим признакам могу ли я заключить, что я любим? Новая заря моей жизни пылает ярко, но не обманчиво ли? Взгляни, Лиза, на эти растущие рядом два цветка, – они сильнее благоухают оттого, что они вместе. Я люблю тебя, Лиза, ты это знаешь, ты не можешь этого не знать.

Раскрасневшаяся Лиза потупилась и молчала. Алексей продолжал страстно и нежно:

– Елизавета Николаевна, вы с первого взгляда завладели моим сердцем, и если бы я осмелился предложить вам мое преданное и верное сердце, а также и руку, то что бы вы мне ответили на это?

Лиза, едва сдерживая волнение, сказала:

– Очень благодарю вас, Алексей Павлович, за ваши чувства и за честь, мне вами оказываемую, но я не завишу от себя, у меня есть папенька и маменька, и я должна прежде просить их разрешения.

Алексей, радостно улыбаясь, сказал:

– О, я только хотел прежде знать ваше согласие, Лиза, а тогда, конечно, буду и у них просить вашей руки. Но вы-то сами что скажете мне на мое предложение, от чистого и верного сердца исходящее?

Лиза тихо шепнула задрожавшими вдруг губами, нежными, как уста весенней зари утренней:

– Я согласна.

При этих словах вся она вспыхнула, и слезы показались на ее глазах. И от этого она стала вдвое очаровательнее. Алексей нежно целовал Лизину руку и шептал голосом, полным волнения и любви:

– В этот сладостный час земля и небо исчезли перед нами. Благодарю, небесное создание, тысячу раз благодарю.

Об руку с Лизой Алексей вошел в дом.

– Мы должны немедленно открыться твоим родителям, – сказал он. – Как сожалею я, что мои возлюбленные родители не дожили до этого блаженного дня! Как бы радовались они моему блаженству!

Узнав от казачка, что Николай Степанович только что проснулся и требовал квасу, но из опочивальни еще не выходил, Алексей прошел в гостиную ждать его. Лиза же, смущенная и радостная, пошла было к себе, но, услышав шаги отца, вышедшего из спальни в шлафроке и мягких сафьянных бабушах, она поспешила к матери. Застав Надежду Сергеевну только что вставшею с постели, бросилась Лиза к ней на грудь, вскрикнула:

– Ах, маменька, он меня любит!

И залилась слезами. Мать радостно говорила, глядя ее по голове:

– Ну и слава Богу! Слава Богу!

Меж тем в гостиной Алексей просил у Николая Степановича Лизиную руку. Николай Степанович, выслушав слова, которые не были для него неожиданными, сказал:

– Я очень рад за Лизаньку, и лучшего мужа я ей не желаю. Но в этом предмете решение принадлежит ей самой, – надобно ее спросить.

– Я уже спрашивал, – сказал Алексей, – Елизавета Николаевна согласна.

Николай Степанович, запахивая халат, встал и сказал:

– Если дочь моя избрала вас, то и я также избираю и вручаю ее вам, сделайте ее счастье.

Он хотел быть спокойным и важным, но прослезился. Дрожащим голосом сказал он:

– Надобно спросить и у матери.

Он крикнул:

– Эй, кто там! Пригласить сюда барыню!

А за дверьми уже толпились, таясь и с жадным любопытством прислушиваясь, дворовые девушки. Надежда Сергеевна вышла с заплаканными глазами, но с веселым лицом. Вывела с собою упирающуюся, стыдящуюся Лизу, которая смеялась и плакала в одно и то же время. Помолились все вместе перед образом. Алексея и Лизу родители благословили.

\* \* \*

Вечером в своей спальне Лиза разговаривала со своими горничными девушками. Лушка раздевала барышню, а Степанида пришла рассказывать новости, что за день в усадьбе и на селе случилось, что по соседству слышно. Рассказала, как перепугались деревенские девки сегодня по утру, повстречав лешачиху.

– Что за лешачиха? – спросила Лиза. – И почему они так перепугались?

Степанида объяснила барышне, что лешачиха ходит голая и живет о крае болота. Ростом она с самое высокое дерево, волосы у нее косматые, серые, а лица вовсе не видно. Лиза засмеялась и сказала:

– Какие глупости! Это все – суеверие, никаких леших и лешачих на свете нет, и бояться их нечего. Девкам старая береза спросонок за лешачиху показалась.

– Не знаю, барышня, – сказала Степанида, – что мне сказали, то я и передаю. Сама не видела, врать не стану, а девки на селе болтают.

Потом Степанида рассказала Лизе и про случай с Елевферием, как барин с ним утром разговаривал.

– Барин хотели его наказать, – говорила словоохотливая Степанида, – да для сегодняшней радости помиловали. Мудрит выше головы наш Елевферий. На том свете что еще будет, про то нам неизвестно, а на этом свете надобно господам угождать. Будешь господам хорош, и тебе будет хорошо, а иначе не прогневайся, – сама себя раба бьет, коли не чисто жнет.

Лиза благосклонно улыбнулась ей, а Лушка, всегда соперничавшая с нею из-за расположения юной своей госпожи, сказала ей с насмешливою ужимкою:

– А сама небось к Елевферию-то ходила, сказы его слушала. Почитай, Елевферушка, растолкуй, Елевферушка, сами-то мы, вишь, глупые.

Степанида покраснела и, при всей своей речистости, не знала, что сказать. Наконец пробормотала смущенно:

– Экая ты язва, Лушка!

Лиза нахмурила брови, – всю родню свела, – и приказала им обоим замолчать. Потом, вспомнив, как ей приснилась нынче Лушка, Лиза засмеялась и сказала:

– Смотри, Лушка, ты мне опять сегодня не вздумай присниться, – маменьке пожалуюсь.

В Лушкиной памяти еще свежо было полученное ею сегодня от барыни наставление. Она отвечала:

– Да уж будьте спокойны, барышня, спите себе с Богом.

Степанида же злорадно усмехалась.

Едва только девушки ушли, Лиза встала с постели, села к окну и долго мечтала, глядя на ясные полуночные звезды. Из-за ближнего леса медленно взошел багровый полумесяц и напомнил Лизе прочтенные ею недавно стихи, которые понравились ей чрезвычайно:

Луг сделан для овец,  
Для луга чисты воды,  
Луна для всей природы,  
Любовь для всех сердец.

Эти слова вызвали слезы на Лизины глаза, и сердце ее было размягчено умилением и радостью. Вообразив, как счастлива будет она с Алексеем, она спокойно отошла ко сну. В эту ночь Лизины сны были чувствительны и благопристойны. Ей снились милые девушки-пастушки и любезные юноши пастушки, чрезвычайно чисто вымытые и необычайно тонко чувствующие. Потом приснились ей палаты царя Афрона, про которого сказывала ей сказки старая нянька. Сама Лиза была Елена Прекрасная, а милый ее Аликсис-царевич сидел рядом с нею и глядел на нее нежно, благополучно окончив все свои подвиги при помощи Серого волка, который мирно щипал травку на лужайке. Проснулась Лиза на заре, нежно веселая.

– Что, Лизанька, Лушку нынче во сне видела? – спросила ее утром Надежда Сергеевна.

– Нет, маменька, – весело отвечала Лиза.

Николай Степанович, ласково поглядев на нее, засмеялся и сказал:

– Знаю, знаю, черноглазая плутовка, кто тебе снился: Аликсис-царевич прекрасный всю ночь во сне грезился.

Лиза покраснела и воскликнула чистосердечно:

– Ах, папенька, как же это вы сумели отгадать мой сон!

Чему ее родители немало смеялись.

Алексей теперь уже бывал в доме, как признанный жених. Редкий день не приезжал он в Ворожбино. Расстояние меж их усадьбами было всего две версты, но пешком ходить нельзя, – кто же в гости пешком ходит! Это хорошо только для крестьян. Впрочем, Лиза иногда, тайком от родителей, бегала росистым утром через поля к мостику через ручеек на границе их владений. Она знала, что Алексей любил прогуливаться там рано утром, и, дойдя до этого ручейка, предавался мечтаньям меланхолическим. Краткие встречи с замиранием сердца, как они были сладостны Алексею и Лизе! И кому из двух сладостнее, никто не решил бы. Здесь они вместе ощутили так много разнообразных чувствований! Иногда, не довольствуясь этими встречами и краткими, но не менее оттого нежными беседами, они обменивались письмами, которые прятали они под большим камнем у этого мостика.

Глава пятая

Был вечер. В пахучей траве стрекотал кузнечик. Солнце склонялось к западу, и длинные тени деревьев в саду смешались вместе. Лиза в садовой беседке читала книжку. Это был чувствительный роман о горестях Адольфа и Амалии, родители которых противились их счастью. На Лизиних глазах были слезы. Сентиментальная поэзия, уже вышедшая из моды в столицах, еще волновала тогда сердца провинциальных барышень.

Алексей подошел тихо и стал перед Лизой. Она подняла на него глаза. Он спросил нежно:

– Милая Лиза, о чем эти слезы на ваших глазах?

Лиза воскликнула, протягивая ему раскрытую книгу:

– Ах, несчастная Амалия! Ах, злополучный Адольф!

И при этих словах Лиза вдруг залилась слезами. Алексей воскликнул с умилением:

– Ангел Лиза!



В чувствительной беседе влюбленные не замечали, как проходило время. Меж тем солнце скрылось за далекою чертою горизонта. Меланхолические звуки, донесшиеся от сельской колокольни, возвестили наступление позднего часа. В вечернем сумраке близко пролетела большая черная птица, шелестя крыльями. С полей повеяло прохладой. Невнятный крик донесся издали, из глубины леса, напомнив причудливые и устрашающие образы, созданные народным суеверием. Лиза, ощутив невольный страх, вздрогнула и доверчиво прижалась к Алексею.

Развернутая ею книга лежала в стороне, на столике, сделанном из цельного куска старого дерева, поваленного в позапрошлом году сильной бурей, причинившей в округности немало бед и потому памятной. Бабочка села на книжку, ночная летунья, белая с черным. Крылышки бабочки слабо вздрагивали, и усики ее шевелились, и мнилось, что на ней почиет исходящее из книги очарование красных вымыслов. Алексей смотрел на бабочку, и казалось в эту минуту, что он забыл все на свете, и самую даже свою любовь. Немного обиженная его невниманием, Лиза тихонько тронула локоть его руки и спросила голосом, в котором нежность преобладала над укором:

– О чем вы так глубоко задумались, милый Алексис?

Алексей вздохнул глубоко, как бы возвращаясь к действительности, пожал Лизину руку и отвечал:

– Я воображал бессмертие!

Зашумели мягко ветки влажных от росы вечерней кустарников, послышались на песке дорожек звуки быстро бегущих ног, – усердная Степанида искала барышню. Представ внезапно перед Лизой, запыхавшаяся, она сказала:

– Барыня беспокоятся, что сыро, приказали идти в дом.

Лиза не без сожаления оставила это место чувствительных мечтаний. В столовой уже накрыт был ужин. Надежда Сергеевна беспокоилась, а Николай Степанович уговаривал ее, повторяя, что Лизанькино здоровье крепкое и от вечерней прогулки в саду вреда ей быть никак не может.

После отъезда Алексея Надежда Сергеевна выговаривала дочери:

– Хоть Алексей Павлович тебе и жених, а все-таки статочное ли дело до ночи с молодым человеком в саду прогуливаться! Добрые люди осудят, да и отец, сколь он к тебе ни милостив, может прогневаться.

\* \* \*

Скворцы тучами налетали на вишни. Дребезжанье деревянной трещотки в руках дворового мальчишки разгоняло птиц, столь же робких, как и вороватых. Алексей застал Лизу в саду. Она носила на руках собачку, чего Алексей ранее никогда не примечал. Лиза не очень любила собак, а сегодня на нее вдруг каприз нашел, она подхватила маменькину болонку и побежала с нею в сад, где забавилась с нею, осыпая ее ласками и нежными словами. Увидев Алексея, Лиза заговорила:

– Смотрите, Алексис, какая милая собачка! Погладьте ее, ничего, она не укусит. Какая у нее мягкая шерстка!

Но Алексей не обнаруживал никакого желания приласкать лаявшую на него злую собачонку, которая к тому же показалась ему довольно противною. Когда Лиза поднесла к нему болонку, он отвернулся с приметным неудовольствием. Казалось ему, что, возясь с этою собачонкою, Лиза теряет то нежное очарование, которое влекло его к Лизе, и от этого душе его было нестерпимо больно. Лиза посмотрела на него с удивлением и спросила:

– Что с вами, Алексис? Чем вы так расстроены?

Ее простодушие чуждалось мысли, что в ее поступках что-нибудь может не понравиться ее милому. И потому она удивилась еще более, когда услышала от Алексея эти слова:

– Я вас очень прошу, милая Лиза, не носить собачку на руках.

Лиза нахмурилась, так что черные брови ее сошлись.

– Почему же мне не носить ее, – спросила она, – ежели мне это нравится?

Алексей повторил свою просьбу:

– Сделайте мне приятное, милая Лиза, и отпустите собачку. Вам это непристойно.

– Да зачем же мне ее отпускать! – возразила Лиза. – Ведь я же не делаю ей больно. Я ласкаю ее.

– Неприятно смотреть, – сказал Алексей, – когда девица вашего возраста возится с собаками. Это – неженственно, и более идет охотнику, чем благовоспитанной барышне.

– Паленька и маменька мне этого не запрещают, – с немалою досадою сказала Лиза.

– Но если я вас прошу, Лиза? – настаивал Алексей.

Лиза не отвечала и опять занялась собачкою. Алексей повторил:

– Милая Лиза, оставьте ее. Я вас очень прошу об этом.

Лиза не слушалась. Упрямый чертенок завозился в ее сердце. Она сказала с упорством:

– Я люблю эту собачку, и вы, Алексис, должны полюбить ее, если меня любите.

– Не может быть, – сказал Алексей, – чтобы ваше расположение внезапное к этой собачке было столь сильно, чтобы вы не могли ее оставить, когда вас об этом просят. Поверьте, что этот вид весьма не идет к вам и весьма меня огорчает.

Лизины щеки ярко пылали от гнева, досады и упрямства. Она спросила с насмешкою:

– Разве это – грех?

Алексей, еще не теряя надежды убедить упрямую, говорил ей:

– Кого любишь, того и слушаешь во всем с удовольствием, хотя не всегда бываешь одинаково расположен. Носить собаку на руках – не грех. Но это – неженственно.

Долго еще Алексей уговаривал Лизу бросить собаку, но она не обращала никакого внимания на все его убеждения. Наконец он воскликнул с огорчением:

– Лиза, ты не уважаешь мою просьбу! Мои слова для тебя ничто!

Алексей было досадно, что Лиза не хочет уступить ему. Но в душе своей он пытался оправдать Лизу.

«Ее непослушание есть только ветренность без всякого намерения», – думал он.

Он сказал ей наставительно:

– Ты относишься к моим словам небрежно и без всякого внимания. Но жизнь есть воспитание. Все в ней служит уроком.

– Я не нуждаюсь в уроках, – упрямо ответила Лиза.

– Я не ожидал найти в тебе такого своенравия! – печально сказал Алексей. – Не хотите пожертвовать таким вздорным удовольствием!

Лиза с обидою в голосе сказала:

– Вот вы какой! Вы ни в чем не хотите дать мне воли! Что же будет, когда я стану вашей женою? Вы будете жестоким тираном.

– Нет, Лиза, я не хочу быть вашим тираном, – с великим огорчением сказал Алексей. – Я полагаю мое высшее счастье в вашей благосклонности, Лиза, – могу ли

я при этом быть вашим тираном?

Лиза гладила собачонку и шептала ей нежные слова. Алексей вертел в руках алый цветок шиповника и говорил:

– Всякий твой недостаток, Лиза, удивляет меня потому, что я ценю тебя отменно много.

– Вам ничто не нравится, – сказала Лиза, – вы только немцев хвалите.

– Не скрою, Лиза, – сказал Алексей, – ты сегодня произвела надо мною неприятное впечатление.

Лиза отвечала пылко:

– А вы хотели произвести надо мною неприятное тиранство. Ни папенька, ни маменька так со мною не обходятся. Я не привыкла к тому, чтобы меня обижали.

Стараясь казаться спокойным, но с трудом сдерживая проявления своей досады и огорчения своего, Алексей сказал:

– Я вижу, Лиза, что сегодня ты находишься в дурном расположении духа, и потому мне лучше удалиться. Надеюсь, что ты сама оценишь свой поступок, когда захочешь подумать о нем внимательно и спокойно.

Лиза на это ничего ему не ответила. Алексей холодно простился с нею и уехал, думая, что ее надобно проучить холодностью, и что она тогда одумается и раскается. Лиза же, оставшись одна, скинула с колен собачонку, крикнула:

– Пошла прочь, противная!

И залилась слезами.

Меж тем погода внезапно испортилась. В стекла бил сильный дождь, стучали ветки березок. Лизе было скучно и грустно. Ее знобило. Она грустно думала о деспотизме мужчин и о грустной доле женщины, которая всю жизнь должна покоряться, сначала родителям, потом мужу.

Ночью однообразно кричал перепел, нагоняя на Лизу тоску и страх. Всю эту ночь Лизе снились неприятные, огорчительные сны. Один особенно досадливо вспоминался ей потом. Лизе опять приснилась Лушка, и на этот раз уже словно более прежнего утвердившаяся в своем непристойном озорстве. Она сидела на раззолоченном кресле, одетая в богатые уборы, важничала необычайно и приказывала строго:

– Лизавета, красная краса, черная коса, возьми мою тявку-собачку, веди ее погулять, да смотри, гляди за нею в оба, чтобы с нее шерстиночки не упало, а не то я отдам тебя моим драбантам, они тебя невежливо поучат.

А тявка-собачка злая презлая, и глаз у нее не видно из белой пушистой шерстки, а зубки беленькие да острые. Так и норовит, как бы укусить Лизу.

Глава шестая

Тревожные сны заставляли неоднократно Лизу вскакивать с постели. Лушка и Степанида, спавшие близко, прибежали к ней не раз. Наконец под утро они разбудили няньку и сказали ей, что барышня почивает беспокойно. Было уже светло. Лиза уже не могла заснуть. Но она чувствовала себя совсем нехорошо. Голова болела, не хотелось вставать, не манила в сад опять после дождя наставшая хорошая погода, не радовали птичьи щебеты и цветочные ароматы.

Ворчливо выговаривая девушкам, что они худо смотрят за барышнею, пришла к Лизе старая нянька и спросила ее ласково:

– Что с тобою, лизанька? Да никак ты занедужилась, моя ласточка?

Лиза отвечала ей скучным голосом:

– Ничего, нянечка, это пройдет. Я полежу немного и потом тотчас встану. Няня, ты ничего не говори маменьке, чтобы её попусту не расстраивать.

Няня забеспокоилась. Она проворно вышла из Лизиной спальни и через несколько минут вернулась, держа в морщинистых руках, от старости и от усердия дрожащих, чашку еще дымящегося напитка. Это был только что заваренный ею липовый цвет, средство, по общему мнению, отменно помогающее от простуды. Няня, заботливо наклонясь над Лизою, говорила:

– Выкушай, Лизанька, пропотеешь, и все как рукою снимет. Верно, простудилась как-нибудь. Вчера вечером сыренько было.

Лиза отказывалась было, не желая ничего ни есть, ни пить, но нянька настояла на своем и заставила-таки ее выпить горячее и довольно вкусное питье. Потом она укутала Лизу тщательно и ушла, тихонько ступая на цыпочках, в девичью, где опять стала выговаривать Лушке и Степаниде за недосмотр. Лиза лежала в постели еще часа три и почувствовала себя немного лучше. Она встала и сошла к утреннему чаю грустная и бледная. За чаем Надежда Сергеевна спросила ее:

– Что, Лизанька, как почивала? Сказывали мне девки, что беспокойно почивала, вскидываться изволила. Правда ли?

– Опять мне Лушка приснилась, – сказала Лиза, хмуря брови.

Надежда Сергеевна гневно покраснела и сказала:

– Рассказывай, сударыня, твой сон. Я чаю, опять пустяки видела.

Лиза рассказала. Надежда Сергеевна приказала позвать Лушку. Когда Лушка пришла, Надежда Сергеевна гневно крикнула на нее:

– Лушка, ты что ж это повадилась каждую ночь барышне сниться? Белены объелась, бесстыдная? Думаешь, что на тебя и управы не найдется?

Помня, что от поклона голова не отвалится, Лушка повалилась барыне в ноги. А вставши, она сказала, не обнаруживая никаких признаков страха и раскаяния, как вовсе невинная:

– Помилуйте, матушка барыня, но только я тому делу не причинна. Хоть что хотите со мной делайте, а только я ни в чем не виновата.

– Ты дерзить! – в изумлении закричала Надежда Сергеевна.

– Дерзить я не согласна, – говорила Лушка, – а только и в уме у меня того не было, чтобы сниться барышне. Да нешто я училась, чтобы кому сниться? Да у нас и в роду никого не было, кто бы такие дела знал.

Степанида, стоя у дверей и радуясь тому, что соперница ее попала в беду, шипела тихо:

– Яд-девка! Как только господа терпят! Да я бы на месте господ такого ей жару задала, – небось, перестала бы барышне сниться!

– А ты, подлиза, помолчи, – сказала Надежда Сергеевна. – Без тебя знают, что делать надобно. Уж не взыщи, Лушка, – раз простила, другой не прощу.

И обещанное было совершено, – Лушку наказали. Николай Степанович поспорил было с женою, говоря, что Лушку наказывать не за что, но Надежда Сергеевна решительно заявила ему, что в его дела она не вступается, а в девичьей – ее власть, что разбаловать девок никак нельзя, сладу с ними не будет, и что Лизанькино здоровье для нее всего дороже.

Лиза думала, что Лушке так и надобно, но все-таки было ей как-то неловко. Порою думала Лиза: «Из-за меня Лушку наказали, а может быть, она и не виновата вовсе». Чувствительной Лизиной душе мысль эта была тягостна. Весь день этот прошел невесело. Лиза несколько раз заходила в девичью, которая расположена была близко от господских покоев, рядом с залом, чтобы девки не баловались. Лиза ходила туда посмотреть, как искусные мастерицы, кружевницы и вышивальщицы работают над ее приданым за пальцами, за шитьем, за вязаньем. Но и это сегодня мало забавило ее. Она ждала Алексея, но тщетно, – Алексей в тот день не приехал. Лиза вечером

Повести и рассказы. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru  
пошла в сад к той скамейке над прудом, где вчера встретил ее Алексей, и поплакала не мало. После дождя цветы были особенно благоуханны, и все вокруг было свежо и прекрасно. Но красота природы не утешала грустную Лизу. Воспоминания о вчерашней ссоре с Алексеем разрывали ее сердце, и она горько думала: «Ах, зачем я не послушалась Алексиса!»

Уже Лизе казалось, что счастье ее навеки погибло. Она дала себе твердое обещание, если только Алексей приедет, смирить перед ним свою гордость и уверить его, что вперед она собачку на руках никогда носить не станет.

Алексей приехал на другой день. О собачке он не напоминал, да и Лиза не заводила об этом речи. Мир восстановился сам собою, и милые были больше обычного внимательны и нежны друг к другу. Лиза нашла случай показать Алексею, что она рада исполнять его желания. День кончился бы так же приятно, как и многие иные дни, в которые милые бывали вместе, если бы одна случайность не нарушила вдруг их согласия.

Прогуливались к вечеру в саду все вместе. На повороте одной дорожки встретили бегущую из фруктового сада Лушку. Она несла корзину с только что собранною земляникою. С разбега она не успела вовремя свернуть с дороги и едва не задела за локоть Алексея, слегка вздрогнувшего от неожиданности при виде внезапно появившейся перед ним дворовой девушки. Надежда Сергеевна посмотрела на Лушку строго и сказала ей, не повышая голоса, но внушительно:

– Ты, валанда глупая, чего под ноги суешься? Или уже забыла вчерашнее наказание?

Лушка застыдилась и, закрыв глаза рукавом сорочки, шмыгнула в сторону. Приметив, что Лиза при этом сильно покраснела, Алексей наклонился к ней и спросил ее тихо:

– Не знаете ли вы, Лиза, за что наказывали вчера эту усердную девушку?

Лиза отошла с Алексеем в сторону от родителей и с чистосердечною откровенностью рассказала Алексею о вчерашнем сне своем и о том, как за этот сон пострадала Лушка. Выслушав этот рассказ, Алексей опечалился. Он выпустил из своих рук Лизину руку и воскликнул, обращаясь к голубеющему над ними простору невозмутимо-ясных небес:

– О, бесчеловечное обращение! Доколе Ты, Господи, терпишь это унижение образа и подобия Твоего в рабском зраке? Увидим ли мы народ освобожденный и рабство падшее? Просвещенная свобода, взойдет ли над отечеством нашим твоя прекрасная заря?

Лиза не понимала причин его неудовольствия. Нежным голосом сказала она:

– Алексис, неужели ты думаешь, что я сама захотела увидеть ее во сне? Ей уже говорили, чтобы она мне не снилась. Непослушных детей наказывают, а для помещика крепостные, как дети. Ведь и меня бы папенька и маменька не похвалили, вздумай я их не слушаться. И притом я не жаловалась на нее. Маменька приказала мне рассказать мой сон, я повиновалась, в чем же я виновата перед вами, скажите, Алексис?

Едва выслушав ее оправдания и не стараясь вникнуть в смысл ее простосердечного лепета, Алексей обратил к ней огорченное лицо и сказал с большою силою убеждения:

– Знайте, Лиза, – бессмертная душа человека живет и в сих, подвластных родителям вашим, людях, несчастных не по причине своей вины, а по неравенству, самими людьми учрежденному.

Лиза возразила ему:

– Сам Бог создал мир так, что в нем одни – господа, а другие – рабы. И в писании сказано: «Несть власть, аще не от Бога, всякая же душа властем предержащим да повинуется».

– Пошлюсь на самого батюшку твоего, Лиза, – сказал Алексей. – Как почитатель великого Вольтера, он скажет тебе, конечно, что из рук матери природы все люди выходят равными.

Алексей и Лиза подошли к Николаю Степановичу и объяснили ему предмет своего спора. Он, выслушав их внимательно, сказал им:

– Точно, природа создала людей равными, и все мы, господа и рабы, от одного и того же древнего Адама происходим. Но различие способностей и занятий повело к учреждению разных состояний. Всяк, в своей семье и в обществе себе равных имея обращение, приемлет нравы и понятия, его состоянию свойственные, и все люди от родителей своих с молоком матери всасывают свойства их. От самых младых ногтей каждый к своему состоянию приобвыкает. Как яблоки рождаются на яблоне, а не на рябине и не на осине, так и в людях повелось, что от дворян рождаются благородные, а от хамов – подлые.

Понюхав табак, Николай Степанович прибавил, с видом наставительным обращаясь к Алексею:

– Что же касается книг Вольтеровых, почитателем коего быть не стыжуся, то сказать вам могу, любезнейший будущий зятек мой, что хотя в них много содержится преострого и поистине курioзного, но все ж таки всего без рассуждения принять отнюдь не можно. И Вольтеров острый разум затмевался иногда тучами ложных и суетных предрассуждений. Поживите с мое, государь мой, тогда сами увидите, что с этим народом без грозы обойтись никак нельзя, для их же пользы, которой сами они не понимают. Сама государыня-матушка, покойная императрица, премудрая Екатерина Великая, сия северная Семирамис, хотя и быть изволила в переписке с сим преславным отшельником фернейским, однако, когда супруга ее бывшего фаворита вздумала похвалиться с дерзостью, что я, дескать, от самой государыни муженька отбила, то повелела, сказывают, с этою особою поступить так же, как вчера поступлено было с Лушкою, и повеленное, сказывают, исполнено было неленостно.

Алексей, сильно покраснев от негодования, воскликнул с пылом:

– Сей способ наказания унижает человека весьма и употребляем над людьми быть не должен.

– А пусть человек не превозносится, – возразил Николай Степанович, с благосклонною улыбкою глядя на пылкость молодого человека, которая казалась ему следствием его незнания людей и обстоятельств.

И на этот раз опять милые расстались весьма холодно.

#### Глава седьмая

Однажды, приехав в Ворожбино перед обедом, Алексей застал Лизу идущую в девичью, куда и его повела она за собою. Это была комната, расположенная рядом с залом, просторная, но освещенная только двумя окнами, находящимися в более узкой ее стене. Десятка два крепостных девиц сидели там довольно тесно, склоняясь над работою. Шилось и вышивалось Лизино приданое, – работа, начатая уже давно, и с которою теперь, по обстоятельствам, весьма спешили. Одна лишь из девушек ничего не делала и, стоя у окна, говорила что-то сидящей рядом своей подруге. Когда Алексей и Лиза вошли, она замолчала. Алексей подумал сначала, что она приставлена надзирать за работою других девушек, – но для этой важной обязанности она была, очевидно, слишком молода. Взор ее, обращенный на вошедших, показался Алексею странным. Глаза ее были очень красны. Лиза спросила ее:

– Что, Марфушка, зачем ты здесь?

– Пришла, барышня, с подружками побывать, – отвечала Марфушка.

– Ты им мешаешь работать своими разговорами, – сказала Лиза, – иди себе.

Марфушка вышла странно колеблющимися шагами, придерживаясь за стены. Лиза сказала, обратившись к Алексею:

– Такая досада, – Марфушка ослепла. В глаза ей сор попал, и она теперь едва видит, как сквозь тонкое ситечко. Ходит, на людей натывается и вышивать не может. А самая искусная у нас была вышивальщица. И такая усердная, – ночей не досыпала. Другие девки давно уж носом клюют, а она знай себе шьет.

Алексей всмотрелся, и ему показалось, что у всех здешних вышивальщиц и кружевниц

Повести и рассказы. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru  
глаза покраснели и слезятся. Он прошел между их станками. Работа была мелкая и трудная, свету падало немного, а точность рисунка и тонов доказывала, что сидящие здесь девки не даром ели хлеб свой, видно, смоченный в обилии их слезами. Вышедши из девичьей вместе с Лизой, Алексей сказал ей:

– Я вижу, что эти девушки работают всякий день слишком долго, что вредит их зрению. Можно бы и не так торопить с этой работой. Разве необходимо, чтобы непременно все было готово к дню нашей свадьбы?

Лиза отвечала с неудовольствием:

– Я не хочу войти в твой дом, как какая-нибудь бесприданница.

– Из-за пустого тщеславия, Лиза, – сказал Алексей, – ты допускаешь, что служанки твои слепнут над чрезмерною работою. Ты не хочешь быть для них госпожою милостивою.

Лиза возразила с живостью:

– Марфушка не от работы ослепла, а от ветру, который нанес ей сору в глаза. У нас на селе есть девка слепая, Аннушка, дочь Мирона кузнеца, – что ж, ведь она и не вышивала, да ослепла.

– Посмотри на твоих кружевниц, Лиза, – сказал Алексей, – у них у всех глаза красные.

– Вот кончат мое приданое, – возражала Лиза, – тогда не будет спешной работы, а теперь пусть немного потрудятся для меня. Разве я уж и не стою того, чтобы для меня поработали? Зато у меня будут вещи, которым всякая хозяйка позавидует. Лучше наших вышивальщиц и кружевниц во всей губернии не найти.

– Нет, Лиза, – сказал Алексей, – я не хочу, чтобы в мой дом вошли вещи, над которыми теряли зрение эти несчастные. Человеколюбие запрещает мне участвовать в этом.

Лиза чувствовала, что Алексей огорчен сильно, и знала, что работу крепостных искусниц можно облегчить. Но самолюбие мешало ей признаться в том, что Алексей прав, и она продолжала спорить:

– Она не оттого ослепла, что много работала, а оттого, что ей сор в глаза попал. Она это сама говорит. Притом же ведь наши хамы для нас и созданы. Ведь ее будут кормить всю жизнь, хоть бы она ничего не работала. Какой нам прирост от слепой?

– Человек создан Богом для иных, возвышенных целей, – сказал Алексей, – а не для наших пустых удовольствий.

– По вашему, я – пустая и жестокая, – сказала Лиза с огорчением. – Для вас Марфушка дороже меня.

Так мало-помалу наговорили они друг другу много неприятных и укоризненных слов. Наконец Лиза оставила Алексея и ушла в другую комнату. Расстались они в открытой ссоре, даже не простившись друг с другом. Когда Алексей стал прощаться со стариками, Надежда Сергеевна, не видя Лизы в гостиной, кликнула:

– Лизанька, где ты?

– Я здесь, маменька, – отозвалась Лиза из смежной комнаты.

– Лизанька, да что ж ты к жениху не выйдешь? – говорила Надежда Сергеевна, – Простилась бы, – Алексей Павлович собрался ехать.

Лиза ответила, не показываясь:

– Ему Марфушка меня дороже, пусть он с нею прощается.

– Елизавета Николаевна не уважает моими просьбами, – сказал Алексей. – Я не заслужил ее доверия.

Николай Степанович, посмеиваясь, говорил:

– Милые бранятся, только тешатся. То-то молодо – зелено.

Алексей сухо раскланялся и уехал домой. Родители стали было выговаривать Лизе, но, узнавши, в чем дело, приняли ее сторону. Алексей же, едуци домой, думал о Лизе: «Как я обманулся в этой девушке! Она казалась мне ангелом небесным, а на самом деле она – пустая девушка с холодным сердцем».

Долго думал он дома, что ему делать. В его сердце боролись любовь к Лизе, неспособная погаснуть, и пламенная ненависть к деспотизму. Наконец он решился подавить свою любовь и расстаться с Лизой. Дорого стоило ему это решение. Целую ночь он не мог заснуть и ходил по кабинету, обуреваемый борьбою разнообразных чувств и помышлений. Наконец уже утром, в состоянии, близком к отчаянию, он сел к столу и написал Лизе письмо, в котором изъяснил ей, что, вследствие разности их понятий, он не осмеливается принять на себя имя ее супруга и потому с душевным прискорбием возвращает ей обручальное кольцо, желая ей совершенного счастья с другим.

Отправив это письмо, Алексей почувствовал, что сердце его разбито, и что никого никогда уже он не полюбит. В глубине души еще лелеял он слабую надежду, что все как-нибудь обойдется, что Лиза сознает свою неправоту и кольца не примет. Но вскоре полученный им от Лизы холодный ответ с приложением ее кольца погрузил его в глубокое отчаяние. Алексей в тот же день быстро собрался и выехал в Петербург, чтобы там хлопотать о заграничном паспорте. Скоро дошли вести, что он уехал в Германию.

Лизины родители не знали меры своему гневу на Алексея. Спohватившись, что напрасно дали согласие человеку со свободными мыслями, понадеявшись на его позднее исправление, они говорили:

– Вот и упражнялся в науках! Вот и ездил по чужим краям! Науки-то эти да поездки чужедальние до добра не доведут.

Лиза была неутешна. Долго плакала она по ночам. Но днем крепилась, не показывала своей скорби, – из гордости. Даже притворялась веселою. На утешения матери она отвечала:

– Маменька, я о нем так же мало думаю, как о прошлогоднем снеге.

Николай Степанович говаривал дочери:

– Лизанька, не беспокойся об этом нимало, держись Панглосовой системы, – все, что ни делается, все к лучшему. Женишка мы тебе найдем на славу.

И отец, и мать сильно гневались на девок, невольных виновниц разрыва. Хотели было даже наказать Марфушку, зачем совалась, куда ее не звали, да Лиза на этот раз упростила не наказывать.

– Ее сам Бог наказал, маменька, – говорила она.

В памяти ее повторялись Алексеевы слова, и в сердце, хотя и гонимое непобедимым упрямством, таилось еще неясное сознание виновности. Надежда Сергеевна при этих словах дочери прослезилась и сказала:

– У нашей Лизаньки золотое сердечко.

Долю вышивальщиц и кружевниц Лиза решила облегчить, сколько можно. Она часто приходила в девичью и думала: «Чем же им здесь худо? Сидят в тепле и в покое, работа не тяжелая, не то, что жать в поле рожь. Что же еще надобно сделать для них, чтобы стать милостивою госпожою?»

Но не знала этого Лиза.

Один за другим являлись в Ворожбино женихи по-прежнему, потому что уж очень завидною невестою была Лиза. Но Лиза отвергала всех женихов. И не то, чтобы сразу, – не хотелось ей показать, что она все еще тужит об Алексее, и она думала, что если найдется человек, которого она полюбит, то она за него и



выйдет. При каждом новом предложении Лиза попросит дать ей время на размышление до завтрашнего дня, ночью поплачет, вспоминая Алексея, а утром скажет:

– Папенька и маменька, я не хочу идти за него замуж.

Родители примутся ее уговаривать, сначала с ласкою, потом постороже: женихи все сватались совершенно хорошие и подходящие по всему, – мелкопоместные или пожилые и соваться пока не смели. Лиза ударится в слезы, и тогда отец и мать отходят от нее, говоря:

– Полно, Лизанька, не плачь. Мы с тебя воли не снимаем. Только смотри, невеста разборчивая, засидишься в девках, придется тогда идти за первого, кто посватается, за какого-нибудь колченогого капитан-исправника.

Часто Лизины мысли обращались к Алексею. Она сравнивала его со всеми другими молодыми людьми в округности, и он представлялся ей всех умнее, добрее, благороднее, красивее. Родители два раза возили ее по зимам в Москву, где у них были родственники, питая надежду там выдать Лизу замуж. Но и московские блестящие женихи не снискали расположения Лизы, неутешной в своей тайной печали.

Так прошли два года. Любовь к Алексею не умирала в Лизином сердце, и Лиза все это время жила, как во сне. В начале третьего года, осенью, умер Николай Степанович, простудившись на охоте. Вскоре затем, потужив и поболев немного, умерла и Надежда Сергеевна. Бабушка Елизавета Павловна скончалась еще раньше, вскоре после ссоры Лизы с Алексеем. Лиза осталась одна, окруженная преданною дворнею и привыкшими к ней и к дому приживальщиками и приживалками.

#### Глава восьмая

Лизе шел уже двадцатый год, и она сама стала бодро, хотя пока и неумело, править всем хозяйством. Заботы ее направлены были к тому, чтобы стать госпожою благодетельною и милостивою, поддерживая, однако, порядок и благосостояние имения своего на пристойном уровне.

Приехал было назначенный дворянскою опекою к Лизе попечителем ее дядя по матери, отставной капитан Калаганов, и расположился управлять имением. Он тотчас взял начальственный тон и заговорил с Лизою как с субалтерном своей роты. Но не удалось бравому капитану здесь водвориться, и пробыл он здесь, воистину, калифом на час.

Капитан Калаганов был пьяница, кутила, картежник и мот. Его маленькая деревушка, очень запущенная, лежала в соседнем уезде. Крестьян своих Калаганов утеснял и разорял обременительными и вздорными распоряжениями своими. Отношения его с Лизиними родителями никогда не были близкими по причине непорядочного образа жизни, которому предавался бравый капитан по выходе в отставку. Согнав угрозою власти и увещеваниями изрядное количество пригожих девок в дворню, предавался он с ними пьянству и непотребству. Не однажды видели его катающимся по реке на лодке в обществе голых девушек, из которых многие сидели, из стыда опустив головы и отвращая лица от идущих по берегу. Ослушаться же Калаганова, однако, не смели, страшась жестокого наказания.

Приехав в Ворожбино и увидев много пригожих дворовых и сенных девушек, капитан исполнился радостью и уже предвкушал блаженство. Вечером, за обильным ужином, уже он заговорил с Лизою о том, что для рассеяния скорби надлежит ей поехать временно в какую-нибудь из двух других ее деревень и жить там. Он говорил:

– Здесь все напоминает тебе, Лизета, о твоих покойных родителях, а девушке в твоём возрасте не следует предаваться меланхолии. Я провожу тебя, друг мой, в Ремницы, и устрою там, а сам опять буду сюда, твое добро стеречь и прибитки тебе делать.

Лиза отвечала ему почтительно, но с твердостью:

– Простите меня, дяденька, но этого дома, где скончались мои дорогие родители, и того места, где почивают их священные для меня останки, я не оставляю.

Калаганов стукнул по столу стаканом и сказал грозным голосом, сердито глядя на перепуганную Лизу:

– Ты еще молода, сударыня, чтобы со старшими спорить. Я – твой дядя и попечитель, и ты будешь делать все то, что я тебе прикажу, без всяких разговоров.

Лиза, быстро оправясь от внезапного испуга, усмехнулась и сказала:

– Я, дяденька, буду оказывать вам должное повиновение, но только я и при покойнике папеньке делала то, что мне самой хотелось. Прикажите мне услужить вам в чем-нибудь, я это сделаю охотно, а из этого моего дому выехать ни за что не хочу.

Капитан побагровел от гнева и сказал еще более грозно:

– Больно ты бойка, Лизавета Николаевна, да мы и не таких норовистых объезжали. Иди-ка, сударыня, спать, да свечу не жечь понапрасну. У вас тут, сказывали мне, Вольтерами пахнет, а я Вольтерова духа недолюбиваю.

Лиза послушно встала из-за стола, и, пожелав дяде спокойной ночи, удалилась. Раздевшись, она тотчас погасила свечу и попыталась заснуть, дабы показать свое послушание в пределах должного. Но сон бежал от ее глаз, разнообразные мысли и чувствования волновали ее ум, и она долго ворочалась с боку на бок, пока необычайное смятение и крики в доме не заставили ее в испуге вскочить с постели. Кое-как накинув на себя утренний капот и попавшую под руку мантилью, выбежала трепещущая Лиза в прихожую, чтобы узнать, что случилось, и не горит ли, Боже упаси, где-нибудь в обширном ее доме. Случилось же вот что.

По уходе Лизы капитан еще долго сидел в столовой, сначала в обществе двух старичков, потом один, и осушил не одну бутылку вина, совещаясь и размышляя о том, какими мерами принудить Лизу к повиновению. Решив завтра же, добром или неволею, увезти Лизу, да и не в ее Ремницы, а в свою деревню, где за нею лучше присмотрят, он взял свечу и направился в кабинет Николая Степановича, где была приготовлена ему постель. По дороге заблагорассудил он взять с собою какую-нибудь девушку, чтобы осчастливить ее своим вниманием. Войдя в каморку под лестницу, где спала одна из девушек, он разбудил ее и, не столько словами, сколько знаками изъяснив ей свои намерения, стал понуждать ее оставить свою постель и следовать за ним. Но так как покойный Николай Степанович смотрел на своих подвластных только как на людей, дарованных ему судьбою для работы и службы, и непотребству с ними никогда, даже и в молодые свои годы, не предавался, то и не привыкли здешние девушки к такому вниманию со стороны господ. Потому и разбуженная капитаном девушка оказала решительное противодействие всем настояниям его. Когда же капитан перешел в настойчивое наступление, девушка отчаянно завизжала, укусила капитанову руку, выбежала с громкими криками в прихожую и таким образом всполошила весь дом. Капитан же, ослепленный вином и страстью, не догадываясь оставить ее и, уцепясь за ее сорочку, пытался зажать ей рот или унять ее грозными окриками.

Лиза, прибежав на этот шум, увидела прихожую, наполненную полуодетыми людьми, державшими свечи и фонари и в недоумении жавшимися к стенам, и посередине нападавшего капитана и отбивавшуюся от него с громкими криками девушку. Увидя вошедшую барышню, девушка бросилась к ее ногам и, обливая их слезами и осыпая поцелуями, молила о защите, причем Лиза имела случай вспомнить, что, выбежавши опроретью сюда, она даже туфель надеть не успела. Лиза обратилась к капитану Калаганову с вопросом:

– Что это значит, дяденька? От какого насилия ищет Палаша защиты у моих ног? Разве одно пребывание мое в этом доме уже не служит для всех достаточною защитой?

Капитан, приосанясь и покручивая длинные усы, хотя и с немалым трудом держась на ногах, сказал запинаясь:

– Эта тварь, того, покушалась, да, покушалась на мою жизнь, а я ее, того, за косы.

Палаша завопила с отчаянием:

– Напраслина, матушка барышня, звездочка наша ясная, напраслина. Я спала себе смиренхонько, ничего не знала, а барин пришли ко мне в каморку и стали

охальничать.

Но и без этих уверений ложь капитановых слов была столь очевидна, что некоторые смешливые девки едва удерживали веселость, зажимая рты и унимая друг дружку.

– Этого не могло быть, – сказала Лиза, – Палашка у меня девка смиренная и покушаться на вас ей не за что. Идите-ка лучше спать, а утром увидим. Утро вечера мудренее. Лушка, дай барину свечку, видишь, его-то погасла.

Капитан, ворча сердито и пожимая плечами, удалился, не имея уже того воинственного вида, который отличал сегодня все его слова и поступки.

Наутро Лиза, пригласив капитана в гостиную, объявила ему, что такого поведения в своем доме она не потерпит, что в попечителе она нимало не нуждается и управит своим имением сама, и заключила свою речь просьбою, чтобы капитан уехал в тот же день восвояси. Капитан принял грозный вид и стал ссылаться на свои права. Но Лиза сказала ему твердо:

– Жалуйтесь на меня, кому хотите, а я своего решения переменить не могу, да и не хочу. Я и сама имею основание к жалобам. Вечером вы приказывали мне ехать прочь из моего дома, ночью хотели обидеть мою крепостную, – обижайте меня, если хотите, а моих подданных я никому в обиду не дам.

Тогда капитан переменял обхождение и пытался извинить происшедшее ошибкою и тем, что, выпив вчера на новоселье много вина, ошибся дверью и, думая, что попал к себе, хотел удалить со своей постели дерзкую девку. Но Лиза не вняла его уверениям, повторила настойчиво свое решение и, давши на сборы сроку до после обеда, ушла к себе, оставив бравого капитана растерянным и недоумевающим. Приказав людям строго, чтобы капитану непременно готовы были тотчас после обеда лошади, Лиза заперлась в своей спальне и, под предлогом нездоровья, к обеду в столовую не выходила. Капитан так и принужден был уехать, не повидавшись со своею племянницею. Жаловаться на Лизу он не осмелился, чтобы не подвергать себя пущему конфузу.

И вот Лиза принялась сама управлять своим имением. Бодрая и деятельная, она была с раннего утра на ногах. Лиза скоро увидела, что имение изрядно запущено. В последние годы отец думал мало о хозяйстве, мать тоже не все могла доглядеть. Лизе пришлось немало употребить забот и трудов, пока имение не было приведено в должное устройство. Тогда, дав точные наставления бурмистру и вотчинной конторе, Лиза занялась преимущественно домашним и дворовым хозяйством и девичьею. Непрестанно думая о том, что надлежит делать и знать помещице, чтобы стать госпожою милостивою, она придумала сама работать с девками, в свободное же от работы время пела с ними песни, водила хороводы. Лиза хотела узнать, как живут, что чувствуют все эти хамы и хамки. Девки радовались ее ласковому обхождению, старые же мужики, покачивая головами, говорили:

– Непорядок.

Бурмистр Степан Титыч так осмелел, что в глаза Лизе говорил:

– Непорядок, барышня.

– Чем же непорядок, Титыч? – спрашивала Лиза, не думая сердиться на смелые слова.

– А тем и непорядок, – говорил Титыч, – что девка должна знать свое место, а Господа – свое.

Лиза только посмеялась его словам и продолжала свои чудачества, – так называли это соседние помещики, которым Лизино поведение сильно не нравилось. Ни на кого не обращала внимания Лиза, показала все свое своеволие. Мало-помалу Лиза и одеваться стала, как ее крепостные девушки. Казалось ей, что, перенявши их одежду, она лучше поймет их душу. Сидя с ними в девичьей, Лиза принялась вышивать большое покрывало, – цветы по белому шелку цветными шелками, очень сложный и красивый узор. Какая-то не вполне еще ясная ей самой мысль заставила ее начать эту работу.

Так прошло еще три года. Каждый день работа, в праздник молитва. Зимой за

Повести и рассказы. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru  
вышиваньем, а летом иногда и в поле с серпом в руках. Лиза говорила:

– Пусть мои дворовые девки жнут барское поле, – барщинным бабам будет легче.

Толку от работы непривычных дворовых девушек было мало, и девушкам это не очень-то нравилось, да с барышнею не заспоришь, – характерная барышня. Она же и сама пример подавала. Загорела Лиза и лицом на крестьянку стала похожа.

Опять сватались к ней многие, и опять всем отказывала Лиза. Как и прежде, отказывала не сразу. Всмотрится, подумает, всю ночь промечтает, сравнивая нового искателя ее руки с Алексеем, – и наутро откажет. А многим хотелось прибрать к рукам Лизино имение, теперь благоустроенное и дающее хороший доход.

Глава девятая

В околотке твердили, что Лиза дурит, что поведением своим внушает она вольные мысли крепостным и является таким образом противницею своей братии, дворян. Поговаривали о необходимости учредить над нею опеку. Капитан Калаганов приободрился, полагая, что опекуном назначат его. Сам предводитель дворянства приезжал к Лизе. Это был почтенный старик, служивший когда-то в войсках под командою Суворова и Кутузова. Лиза встретила его приветливо. После учтливой светской беседы предводитель заговорил о Лизиних поступках.

– Смущение производите, сударыня, – говорил он строго. – Крестьяне поощряются к самовольству, а дворяне ропщут.

Лиза отвечала спокойно:

– Я управляю моим имением, как умею, с Божией помощью и по силе принадлежащей мне, как наследственной помещице, власти.

– Нехорошо, сударыня, – говорил предводитель, – то, что вы с хамами обращаетесь за панибрата, как говорится.

– Эти хамы даны мне Богом, – отвечала Лиза. – Я за них перед Богом в ответе. Потому я хочу быть милостивою госпожою, тем более, что крестьяне разоренные и дворовые, непосильным трудом угнетенные, помещику прибýtка не дают.

Предводитель строго нахмурил брови и спросил:

– Да в низость-то зачем же вам, благородной госпоже, опускаться, милостивая государыня моя?

Хитрила Лиза, говорила смиренно:

– Помещику надобно в точности знать свое хозяйство. Я не хочу, чтобы меня бурмистр да приказчик обманывали, – хочу все в хозяйстве знать, во все сама вникаю. Какой же кому от этого вред? Разве обязана я разоряться, доверившись людям и ни во что не вникая?

Так и уехал ни с чем почтенный старичок. Он не знал, что делать ему с Лизою, доводы которой он никак не мог опровергнуть. Рассказывая друзьям своим об этом свидании, он говорил:

– Вот оно, нынешнее-то воспитание. Возил папенька ее в Москву, – то-то много хорошего набралась там девица. И не сговоришь с нею, – я ей слово, она мне десять.

Лизу оставили пока в покое. А Лиза томилась, ждала, искала чего-то. Она ходила по полям и по рошицам, вспоминая незабвенные встречи и беседы. Ждала чего-то, – уж не новой ли радостной встречи? Думала Лиза: «Ведь я теперь совсем не такая, как тогда, не та пустая и капризная девушка, какую знал меня Алексис».

Иногда Лиза думала с боязливою надеждою: «Неужели Алексис не вернется?»

И опять думала: «Я его недостойна».

Однажды в начале мая месяца посетил Лизу один из ее соседей по имени, полковник Андрей Петрович Приклонский, человек еще молодой, красивый и ловкий, приехавший

в свое имение в отпуск из Петербурга, где он служил в одном из гвардейских полков. Лиза взволновалась этим посещением чрезвычайно, и оттого показалась Приклонскому весьма провинциальною, но премилою барышнею.

«Он мог видеть Алексиса! Он мог разговаривать с Алексисом!» – думала Лиза, и от этой мысли кровь быстрее обращалась в ее сердце, и с тяжким биением восходила до лилейного чела.

Не решаясь завести речь с полковником об Алексее, чтобы внезапным изменением голоса не выдать невзначай своей сердечной тайны, с нетерпением ожидала Лиза, когда Приклонский сам заговорит об Алексее. Полковник, недавно овдовевший, – жена его умерла от неудачных родов, – непрочь был бы жениться вторично. Лиза, которую он помнил еще резвым ребенком, приглянулась ему, отменный порядок и убранство в доме показывали, что имение дает изрядный доход, и все это располагало его к мыслям приятным. Он бы решился даже, извиняя себя крайним недостатком времени, которое он может провести в отпуску, теперь же сделать Лизе предложение. Но молва о том, что Лиза всем искателям ее руки отказывает, удерживала его от излишней поспешности. Самолюбие столичного жителя слишком сильно пострадало бы от такого афронта, нанесенного ему деревенскою барышнею. И потому полковник искусными подходами старался расположить к себе молодую хозяйку, тщательно примечая, какое впечатление производит он над нею. Он долго и с большим чувством говорил о покойных Лизиных родителях, которых знал он, когда еще Лиза ходила в обшитых кружевами длинных панталончиках. Потом распространился он об удовольствиях и приятностях светской жизни в столице. Лиза неоднократно наводила его на разговор об том или ином уроженце их губернии, уехавшем в столицу искать счастья и чинов. Полковник же от картин жизни светской готов уже был уклониться к описанию разных случаев из недавно оконченной кампании. И тогда уже наконец Лиза прямо спросила его, не встречал ли он где-нибудь Алексея Львицына.

– Как же! – отвечал полковник, и мужественное лицо его озарилось выражением приятных воспоминаний. – Приводилось встречать прошлую зиму не однажды и вести беседы о всяких материях с немалою пользою для ума и для сердца.

Лиза, тщетно стараясь скрывать свое волнение, спросила, женат ли он и на ком. Полковник, зорко, хотя и неприметно для Лизы, всматриваясь в нее и оценивая опытным взором вдруг вспыхнувший на щеках ее румянец и влажное мерцание черных глаз, думал, что вопросы эти, может быть, и не спроста. Усмехаясь внутренне над простосердечием бедной девушки, он отвечал ей учтиво:

– Нет, Елизавета Николаевна, еще Алексей Павлович не женат, да, кажется, вряд ли и собирается жениться. Барышни на него засматриваются; многие девицы и дамы нашего круга восторгаются его умом и всею его особою и говорят, что ему равного не встречали во всю свою жизнь. Но он всегда погружен в меланхолию, как бы тая в душе нежную страсть к неведомой никому деве или мечтая о сказочной Царь-Деве.

При этих словах Лиза смутилась, покраснела, опустила глаза. Ей казалось, что тайна сердца ее известна всем. Собравшись наконец с духом и кое-как преодолев волнение свое, она спросила полковника:

– А вы, Андрей Петрович, скоро ли едете в Петербург?

Мелодичный голос ее при этом заметно дрожал и от этого казался еще более чувствительным.

– Уже на будущей неделе, – сказал полковник с неопределенным выражением не то удовольствия, не то сожаления.

Хотя и привыкший к своему полку, к своим товарищам, к светским отношениям и к утехам военного честолюбия, он находил большую приятность и в деревне, на родине своей. Сожаление его могло относиться и к тому, что приглянувшаяся ему девица, казалось, думает о другом более нежно, чем думают о знакомом, о деревенском соседе или даже о друге детства. Лиза спросила:

– Отчего же так скоро вы от нас уезжаете?

– Призывает служба царская, – отвечал полковник. – А по мне, я бы с превеликим удовольствием остался долго в этих местах, где протекало мое мирное детство, где

Повести и рассказы. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru  
безмятежно играл я с братьями и сверстниками моими.

Взор закаленного в боях вояки блеснул слезою, и уже готовился полковник предаться умиленным воспоминаниям, – но нежный голос Лизин прервал идиллическое течение его мыслей. Лиза говорила:

– Можете ли вы, Андрей Петрович, исполнить то, о чем я буду вас просить?

– Все, что в моих силах, исполню с превеликим удовольствием, – отвечал полковник.

Лиза помолчала немного и с сильно бьющимся сердцем сказала:

– Передайте, пожалуйста, как-нибудь при встрече господину Львицыну, что я вышиваю покрывало разноцветными шелками и что я надеюсь неволате окончить его.

Полковник молча и внимательно слушал ее. Лиза продолжала:

– Пожалуйста, не забудьте передать это ему от меня, – мне чрезвычайно надобно, чтобы он знал об этом. Очень красивый и трудный узор, – я сама его выбирала и сама вышиваю.

Лиза обратила к полковнику взор свой с нежно-молящим выражением. Полковник был немало удивлен настоятельностью просьбы о таком, казалось ему, незначительном предмете. Однако, тронутый умоляющим взором Лизы, и притом имея большую привычку не только к опасностям бранным, но и к неожиданным прихотям красавиц, он, не показывая своего удивления ничуть, сказал учтиво:

– Будьте уверены, Елизавета Николаевна, что я передам это непременно, точно и с отменным моим удовольствием.

Не спрашивая Лизу ни о чем, он тотчас встал и откланялся. Хотя и досадно было ему думать, что эта прелестная девица не будет его невестою, но он не показал нисколько своего неудовольствия и огорчения. Распространяться о предмете ее просьбы, – казалось ему, – было бы с его стороны нескромностью по отношению к молодой хозяйке, уже и без того смущенной.

Когда Приклонский уехал, Лиза вышла на дорогу, в блюденую рошу, поднялась в беседку миловидную, из которой открывался далекий вид, и долго смотрела вслед за уносящеюся быстро коляскою, пока облака пыли не сокрыли ее совершенно. Неопределенные думы и мечтания теснились в ее душе. Тонкий крик жаворонка в лазури ясной точно звал ее куда-то в высь, но, ах! где же вы, крылья, на которых мчатся бы высоко над землею!

Вечером в тот день Лиза с восковою свечкою, поставленною в жестяном коробке, пошла на речку в сопровождении девок, несших за нею огонь. На берегу реки Лиза своими руками затеплила свечку и, став на колени на мелкий песок берега, пустила коробок на воду. Поплыл огонек вниз по речке, мелькая и колыхаясь. Девки с не меньшим волнением следили за ним, как и их госпожа. Когда огонек, не погаснув, скрылся за поворотом реки, девки зарадовались и закричали все вместе. А Лиза пошатнулась, и в глазах у нее потемнело. Радостная возвращалась она домой, и даже то не тревожило ее, что перед глазами ее, – следствие усердной работы над вышиванием, – плывут фиолетовые и желтые пятна, заслоняя предметы.

Глава десятая

Еще усерднее с того дня стала Лиза вышивать свое покрывало, очень сложный и трудный рисунок которого доставлял ей много забот и требовал напряженного внимания, ни на минуту не ослабевающего. Чтобы соблюсти точность в частях и гармонию в целом, надобно было тщательно подбирать тончайшие оттенки шелков. Вот когда поняла Лиза, чего стоит подневольная работа вышивальщиц, как ноет спина, как бывают натружены глаза. Уже много-много недель прошло с того утра, когда Лиза начала эту работу, а еще весьма изрядный кусок оставался.

Однажды в июне месяце сказали ей девушки, что в Заозерье ждут барина. Они говорили:

– Сказывают, недолго пробудет.

– Говорят, опять в чужие края, на теплые воды собирается.

И не знали угодливые девки, как надобно говорить о соседнем барине, заозерском помещике, с почтением ли или так, как о господском враге.

Никто не мог бы описать того волнения, с которым выслушала Лиза эту весть. Одна мысль господствовала в ней над смятением чувств и дум разнообразных: «Он приедет, а моя работа еще не кончена. И уедет опять невесть куда и уже, может быть, навсегда, так и не увидав плодов моего великого усердия».

Лиза торопилась кончать свою работу. Она сидела ночи напролет, спала совсем мало. И вот теперь сама она узнала, как тает мир в натруженных глазах.

Кончила она вышивание однажды под утро. Никого не было при ней, все домашние спали, и только свечи, тускло мерцающие в мутно-палевых лучах рассвета, были свидетельницами тихой радости ее, когда она закрепила последнюю шелковинку. И эта шелковинка была вишнево-алого цвета, совсем такого же, как и маленькая капля крови, выступившая на нежном Лизином пальчике, уколотом на последнем стежке заторопившеюся иглою. Спина у Лизы болела, в глазах было багряно и туманно, голова кружилась. Спала Лиза тревожно и недолго и встала, когда еще солнце было невысоко. День казался ей темным, и все предметы плавали в лилово-багряном тумане. Она чувствовала большую слабость, и ей казалось, что она скоро умрет, но ей не жаль было жизни, потому что труд ее был кончен.

В этот день Лиза, первая из соседей, узнала о том, что Алексей приехал. Прибыл он в свою вотчину после полудня, и еще не успело солнце опуститься низко, как уже Лиза узнала об его приезде. Лушка, сердце которой в то время было покорено молодым заозерским садовником, прибежала к Лизе запыхавшись и сказала:

– Барышня, молодой барин Львицын, сказывают, сейчас приехал. Да как постарел! Да как подурнел!

Больно забилось Лизино сердце. Она села на стул, и растерянно глядя на изумленную Лушку, повторяла:

– Молчи, глупая, молчи!

Немного оправившись от первого приступа волнения, рожденного неожиданностью, поспешила Лиза к только что оконченному ею вышитому покрывалу. Она приказала развернуть его во всю длину, чтобы еще раз обозреть его перед отправлением к Алексею. Столпившиеся вокруг нее девушки ахали и восхищались вышивкою, приговаривая:

– Да и хорошо же вышиванье-то!

– Ну уж и искусница барышня-то наша!

– Вот-то уж золотые ручки у барышни нашей!

Сама же Лиза смотрела на работу, плохо различая отменно красивый узор. Очаровательные оттенки красок смешивались в ее глазах в одно пестрое, переливно-мелькающее пятно. Сложив при помощи девок покрывало по длине вдвое, Лиза бережно свернула его в несколько оборотов, завернула его в чистое, тонкое полотно и осторожно завязала шелковым шнуром, чтобы в сохранном виде отправить его к Алексею. К этому подарку присоединила она мед из своих ульев и своими руками срезанные ею цветы из сада и из теплиц. Кончив эти заботы, она села за маменькин стол красного дерева с бронзовыми полосками писать Алексею письмо.

Руки ее дрожали, когда она начертывала эти строки, колеблясь между желанием излить свои чувства и страхом показаться смешною или навязчивою. К душевному волнению и нерешительности присоединилось еще и то, что слезы текли из ее натруженных глаз, засты свет заходящего солнца, буквы прыгали, и строки мешались. При этом не одно из перьев, мастерски очиненных для барышни в конторе молодым грамотеем Тихоном, сломала она и не один лист аглицкой почтовой бумаги, испачканный чернилами, разорвала, прежде чем письмо было готово. Притом и на тонких пальчиках Лизиных осталось несколько чернильных пятен, от чего, впрочем, не стали они менее красивыми. Лиза писала:

«Милый Алексис!

Я услышала, что Вы приехали в Заозерье, и минувшие дни предстали вдруг предо мною, как смутный, но сладостный сон. Не сердитесь на то, что я пишу к Вам.

В память былой дружбы нашей примите от меня этот непышный дар, покрывало, над которым блуждали мои бедные руки, мои усталые глаза, мои печальные мечты. Примите и вспомните ту, которая Вас никогда не могла забыть. Также взгляните благосклонно на цветы, срезанные мною, и да будет Вам сладок мед, произведение скромного хозяйства моего.

Я буду очень рада, если Вы приедете пообедать со мною и взглянуть на то, как живу я, горестно осиротевшая, так внезапно потерявшая любимых родителей. О том, как мне это было больно, нечего и говорить.

Впрочем, если неприятны Вам воспоминания о днях, для меня незабвенных, то прошу я Вас не стеснять себя просьбою моею. Я же воспоминания о Вас навсегда замкну в сердце моем, не имеющем иных радостей, кроме воспоминаний.

От всего сердца желаящая Вам счастья

Лиза Ворожбинина».

С одним из наиболее расторопных и толковых слуг своих послала Лиза это письмо и дары соседу, как привет новоприезжему. Сама вышла на заднее крыльцо смотреть, как запрягали в тележку серую гладкую лошадку. Сама смотрела внимательно, хорошо ли уложены ее дары, не мнут ли, не сохнут ли цветы, не льется ли мед, не трет ли, не гнет ли покрывало. И так как глаза ее были как бы в тумане, то все дары свои тщательно перетрогала она руками, пальцы которых были исколоты ее прилежною иглою. Когда наконец тележка, гремя окованными железом колесами и подпрыгивая на камешках дороги, покатила со двора, Лиза побежала за ворота, как резвое дитя, и закричала вдогонку:

– Смотри, Дмитрий, доведи все в сохранности, да письма не потеряй.

На что черноусый Дмитрий, кумир всех деревенских девок, только покрутил головою и помахал кнутом, от чего лошадка побежала еще бойчее. В одну минуту в надвигающихся сумерках убегающие очертания тележки, седока и лошади слились в отуманенных Лизиних глазах в один серый мреющий ком. Лиза почувствовала, что глазам ее больно. Внезапно уставшая и плачущая, возвратилась она домой и стала ходить из комнаты в комнату, нигде не находя себе места и нетерпеливо поджидая возвращения Дмитрия. Нетерпение ее возрастало с каждою минутою, и при наступлении темноты ночной была уже она как сама не своя. Старая нянька пыталась утешить ее. Говорила:

– О чем слезы ронишь, Лизанька? Холост, не женат вернулся, – видно, тебя не забыл.

– Ах, забыл! Ах, забыл! – ломая руки, повторяла Лиза. – Вон из глаз, вон из памяти.

\* \* \*

Что же делал меж тем Алексей?

Прожив два года в Германии, он вернулся в Россию и поселился в Петербурге. Состояние позволяло ему не поступать на государственную службу, где пришлось бы ему, несомненно, действовать не всегда согласно с его убеждениями и склонностями. Он жил свободно, то предаваясь светскому рассеянию, то вдруг затворяясь от самых близких друзей и погружаясь в свои книги и бумаги. Знакомые считали его отчасти чудаком, но извиняли это за его отменную со всеми любезность, а также и по причине тех небольших одолжений и услуг, которые человек со средствами всегда может оказывать своим приятелям и которые Алексей оказывал им весьма охотно.

Во все эти годы образ Лизы всегда властвовал над душою Алексея. Порою доходили до него кое-какие вести о Лизе, – так, знал он, что она отказывает всем искателям ее руки. Много раз порывался Алексей поехать в свою деревню, чтобы иметь возможность еще раз взглянуть на милое лицо. Но что-то удерживало его.



Недавно Алексей на обеде у одних своих знакомых, проводящих лето на Каменном острове, встретил полковника Приклонского. Здесь от полковника Алексей услышал переданные ему со светскою легкостью слова Лизы о будто бы вышиваемом ею покрывале. В словах этих почудилась Алексею злая насмешка над ним. Казалось ему, что Лиза не без дурного намерения просила передать ему известие относительно предмета, подобного тому, из-за которого они рассорились: конечно, думал он, Лиза хочет показать ему, что словам его не придает значения, и что по-прежнему ее крепостные девушки тратят зрение над вышивками.

Потом, уже дома, размышляя об этом, он вспомнил, что полковник говорил ему, будто Лиза вышивает покрывало собственными руками. Но сообразив, что и сам он иногда заставлял Лизу за пяльцами, причем вышиваемый ею узор мало подвигался к окончанию, он объяснил себе эти слова тем, что Лиза, для рассеяния скуки, приходит иногда в девичью и делает несколько небрежных стежков, едва ли украшению общего способствующих, несравнимо же большую часть работы делают девушки. Таким образом укрепился он в дурном мнении о Лизе. Но – странная непоследовательность влюбленных! – именно это решило его намерение ехать в Заозерье. Впрочем надобно сказать, что Алексей не думал определенно о свидании с Лизой. Не только в разговорах с друзьями, но и перед самым собою поездку свою Алексей объяснял тем, что надобно же ему посмотреть свое имение и проверить, управляется ли оно хорошо, и не чинятся ли крестьянам и дворовым обиды и утеснения.

Дороги были то хороши, то плохи. Ямщики, поощряемые щедрыми подачками на чай, везли быстро. Станционные смотрители были по большей части внимательны к проезжему, изысканная одежда которого и тонкость манер заставляли предполагать в нем особу высшего общества. Дорожные встречи и беседы на местах ночлегов бывали нередко занятными. Словом, Алексей довольно быстро и не без приятности доехал до своего имения. Вид с детства знакомых мест оживил в Алексее все его прежние чувствования, мечтания, ожидания и надежды, и сердце его забилося, когда он с вершины ближнего холма увидел крест над сельским храмом в Ворожбинине, куда он ходил еще ребенком.

Все в доме застал Алексей в полном порядке, и потому не видел себя вынужденным немедленно вникать в дела хозяйства. А потому пришедших к нему с докладами отправил он, сказав:

– Позову на днях, когда отдохну с дороги.

#### Глава одиннадцатая

Лето стояло такое же очаровательное, как и в тот памятный год. Когда стемнело и над изумрудною зеленью лугов поднялся белый туман, в котором разливался неясный млечный свет только что взошедшей луны, Алексей, вышел из дому и долго ходил один над ручейком, отделяющим его владения от полей Ворожбининских. Взоры его обращены были в ту сторону, где пережил он столько разнообразных чувствований, радостных и печальных.

Во время этой его прогулки приехал в господскую усадьбу в Заозерье Дмитрий с дарами своей барышни. В приятельской беседе с дворовыми Заозерскими, не отходя, однако, от тележки с дарами, провел он более часа. Наконец, когда барин вернулся с прогулки, Дмитрий был допущен в барский дом, передал в собственные руки Алексея дары и письмо и, стоя почтительно, ждал, будет ли ответ. Приняв дары и подаривши Дмитрию серебряный рубль на водку, Алексей приказал ему ждать ответа и удалился в свой кабинет прочесть Лизино письмо и написать ответ.

Долго сидел Алексей, предаваясь грустным размышлениям. Наконец, решив, что полученное им письмо продиктовано притворством и тщеславным намерением увидеть у своих ног отвергнувшего ее некогда поклонника, он почувствовал в душе своей ожесточение, и написал:

«Милостивая Государыня,

Елизавета Николаевна!

Я глубоко признателен Вам за подарок Ваш, верное свидетельство отменного умения Вашего управлять вещами и людьми. Располагая уехать отсюда вскоре, не знаю, буду ли иметь возможность воспользоваться любезным приглашением Вашим, за которое приношу Вам мою нижайшую благодарность.

Впрочем имею честь быть с истинным почтением покорнейший слуга Ваш

А. Львицын».

С трудом, при свечах, прочитавши холодный ответ Алексея, Лиза долго плакала навзрыд. Сон не приходил к ней, и она бы так и не ложилась в постель, если бы Лушка и Степанида, по приказу старой няньки, не отвели ее в спальню, где, почти бесчувственную от жестокой печали, раздели и уложили ее. Но весь ночной отдых ее состоял лишь в том, что она в тягостном полузабытьи то одну, то другую сторону вверх переворачивала подушку, беспрестанно увлажняемую слезами.

Утром встала она рано и пошла к ручью, разделявшему ее владения от Заозерья. Теплилась в сердце ее слабая надежда на то, что, быть может, встретит она Алексея и скажет ему, хотя бы и в последний раз, про свою любовь. Утро взошло прохладное, росистое и многоцветное, но Лиза мало что различала, словно очертания и цвета предметов скрадывались от ее взора падением великого дождя. Лизе казалось, что мир зыблется в ее глазах. Лизины глаза краснели, – от ветра, веющего ей навстречу? от пролитых в изобилии слез? от усталости? Образ ослепшей Марфушки стал в ее воображении. Сердце ее сжалось. Лиза думала печально: «Ослепну и я. Ну что ж! Разве мы не видим лучше глазами души, чем глазами тела?»

Вот и мостик, перекинутый через пограничный ручеек, здесь столько раз встречались Лиза и Алексей! Не однажды, опираясь на тонкие перила моста, из молодых березок срубленные, прислушивались они к мелодичному журчанию водных струй, перебегающих с камешка на камешек по неровному, извилистому руслу, окруженному живописными холмами и осененному раскидистыми деревьями. Лиза быстро пробежала по мостику и ступила на землю, принадлежащую ее милому. Она стояла там, объятая неизъяснимым волнением, не смея идти вперед, не решаясь вернуться. Вдруг ее испугал раздавшийся где-то незнакомый мужской голос, выкрикивавший слова, разобрать которые за отдалением было невозможно. Лиза поспешно побежала обратно. На другой стороне она остановилась, чувствуя здесь себя спокойнее.

«Здесь я у себя, – подумала она, – но и там, глупая, чего же мне бояться!»

Лиза села на большой обомшелый камень, издавна лежавший невдалеке от входа на мост. Она думала: «Неужели Алексис не придет сюда в этот ранний час, в который некогда мы с ним на этом месте встречались?»

Долго сидела она в ожидании, наконец решила, что уже, видно, Алексей не придет. Она, вздохнув печально, уже собиралась уходить, туманным взором окинула она окрестность и уже оперлась о камень рукою, чтобы встать, как вдруг услышала она невнятный шорох в кустах и вслед за тем шага на спускающейся к ручью дорожке. Не смея ни на что надеяться, Лиза подняла глаза.

Через мост тихо шел, погруженный в глубокую задумчивость, Алексей. Он вспоминал минувшее и не думал в ту минуту, что переходит через границу владений своих и готовится ступить на землю, которой нога его не касалась уже пять лет. Взор его невнимательно скользнул по простому одеянию Лизы. Алексей принял ее почему-то за одну из поповен ближнего села. Поклонясь ей приветливо, он уже готовился пройти мимо, когда знакомый голос, проникший до глубины его души, внезапно остановил его и заставил всмотреться в сидевшую на камне девушку. Лиза узнала его, – ах! глазами души более, чем глазами тела. Разве не различила бы она и в глубокой ночи его походки!

Лиза встала и поспешно пошла навстречу Алексею. Сердце ее сильно билось. Перед нею плыл багряный туман, сквозь который только лицо Алексея различала она, только на одно это лицо хотела она смотреть. Алексей глядел на нее с изумлением и с невольною нежностью. Вместо легкомысленной, веселой шалуньи и своевольницы, какую помнил он Лизу и какую он еще вчера воображал ее, рассматривая ее подарки, стояла теперь перед ним с глазами, полными слез, стройная печальная девушка, лицо которой было неизъяснимо трогательно и прекрасно. Они стояли друг против друга и обменивались первыми словами принужденного разговора. Поблагодарив Лизу за вчерашние подарки, Алексей сказал печально:

– Вышивание превосходно, и весьма лестен, но не утешен мне сей ваш, Елизавета Николаевна, насмешливый подарок.

– Но неужели думаете вы, Алексис, – спросила Лиза, – что я в насмешку послала вам эту работу?

Она с трудом удерживала готовые уже пролиться слезы. Алексей говорил:

– Вышивали его, бессомненно, отменно искусные мастерицы, лучшие из тех, коими вотчина ваша на всю округу издавна славится.

Лиза, улыбнувшись сквозь слезы, от чего стала вдвое милее, отвечала:

– Вышивала одна, изрядно усердная, да уж не знаю, сколь искусная.

– И все так же несчастные девушки слепнут над работою? – внезапно вспыхнув, спросил Алексей.

Лиза воскликнула горестно:

– Я сама вышивала! Все покрывало своими руками вышила.

И она заплакала наконец. С удивлением воскликнул Алексей:

– Не может быть! Сколько же лет надобно было над ним сидеть! Лиза, что вы говорите!

Лиза плакала и говорила:

– Взгляните, Алексис, на мои пальцы, они исколоты иглою.

Прямо в глаза Алексея посмотрела Лиза и голосом ангельской кротости сказала:

– Взгляните на мои глаза, они красны от работы, и еще более от многих слез, от бессонных ночей, в труде и в печали проведенных мною.

Алексей всмотрелся. Слезы подступили к его глазам. Он осыпал Лизины руки поцелуями. Нежность, любовь, сожаление, раскаяние, радость, – все эти разнородные чувства одновременно возникали и сплетались в его душе. Обняв Лизу нежно, он говорил:

– Ангел Лиза! Ты страдаешь! Ты, мое бесценное сокровище!

Лиза, прижимаясь головою к его груди, отвечала ему:

– Меня тревожила только мысль быть вами окончательно позабытою. Я все слова, все речи ваши сложила в своем сердце и жила единственно только для того, чтобы стать достойною вас. Ныне уже я не та, что была прежде; тогда я глядела на все, как на вещи, созданные для того, чтобы угождать мне. Ныне свет меркнет в моих глазах, и я умереть готова, но глаза души моей открыты для невечернего света правды, и душа моя радостна, потому что я знаю, – вы простите мне мою детскую злость и все мое бедное неразумие.

Сердце ее трепетало от радости и от печали. Она так плакала, точно вся душа ее растворялась в слезах. И с ее слезами чувствительный Алексей смешал свои, столь же горестные, сколь и сладостные ему слезы. Примирение было равно радостно для обоих.

Через две недели в храме села Ворожбинина, перед тем самым алтарем, пред которым еще детские возносились их молитвы к престолу Всевышнего, перед которым молились, причащались, венчались и были отпеваемы родители их и предки, повенчались Алексей и Лиза, дав друг другу обет верности, неизменной до гроба. Так, претерпев испытания, как некогда Гризельда, достигла Лиза счастья, которым наслаждалась безмятежно до конца своих дней, имея утешение на склоне жизни рассказывать эту историю в назидание своим внукам и правнукам.

В первое время боялись, что Лиза ослепнет. Но не ложно говорится, что счастье есть наилучший врачеватель всех недугов телесных и душевных. Глаза Лизины скоро отдохнули, довольно ясное зрение вернулось к ним, хотя уже дальние предметы она различала не столь хорошо, как раньше.

Острые меча

I

Екатерина Сергеевна Старградская почему-то вспомнила в это безмятежно тихое утро, что меньше, чем через четыре месяца она будет праздновать свою серебряную свадьбу. Вспомнила всю свою жизнь и удивилась.

Стоя перед зеркалом, она долго смотрела на свое отражение. Ни одного седого волоска, ни одной морщинки, – лицо молодой женщины. И в душе своей чувствовала она то же дыхание молодости и надежд. Правда, она вышла замуж очень молодою, – но все-таки, – четверть века!

Как странно! Все эти годы казалось ей, что настоящая жизнь еще впереди. Все вокруг изменялось, – муж подвигался по служебной лестнице, отличился в японской войне, уж давно произведен в генерал-лейтенанты и командует большою воинскою частью вблизи западной границы. Дети, все четверо, сын и три дочери, строго и просто воспитанные, благополучно выросли, и сын уже два года офицер. Старшая дочь замужем, и у нее недавно родился славный мальчуган, весь в бабушку, как уверяли все в доме.

«Бабушка» – с улыбкою подумала про себя Екатерина Сергеевна.

Чувствуя себя молодою и сильною, сладко и робко прислушиваясь к трепетной боли сладких надежд, все тою же тоскою щемящих сердце, как и четверть века назад, она с обычною милою ласкою обошла весь дом, – заботливая хозяйка, жена и мать, – поговорила с мужем, чутко заметила, что он чем-то озабочен, нежно отметила в душе его ласковость, и вышла в сад. И в душе ее было тревожное ожидание.

Она знала, что сейчас придет Павел Дмитриевич Буравов, ее старый друг, и что разговор с ним опять обвеет ее грустью, мечтами и надеждами. Сидела в беседке над высоким берегом реки и смотрела на домики городской окраины, на реку, такую спокойную, точно и не текла в ней вода, и на поля за рекою.

Дом Старградских, купленный давно, еще когда дети были маленькими, стоял на краю города; перед домом – площадь, церковь, за домом – большой сад, где ярко освещенные солнцем лужайки чередовались с местами глубокой тени. В саду слышны были голоса молодежи, а здесь, в беседке, было тихо-тихо, как бывает только в тех уютных утолках, где мечты сплетаются с воспоминаниями и где, мечтая и вспоминая, не знаешь, окончена ли вся жизнь, или вот-вот сейчас начнется новая.

На песчаной дорожке послышались знакомые шаги, знакомый голос негромко назвал ее имя. Сердце Екатерины Сергеевны сильно забилося. Но голос ее был молодо звучен, когда она говорила первые слова приветия.

И вот он сидит перед нею. Беседа их тиха, и кажется, что тишина и печаль сторожат мир этого места. На его рукаве креп, – месяц назад умерла его жена. Густые волосы его слегка тронуты проседью. Он немного старше Екатерины Сергеевны, но, когда он смотрит на нее, кажется, что он также молод. Голос его, ясный и отчетливый, – славный голос опытного учителя, – звучит молодо и взволнованно.

Они сидят, смотрят нежно друг на друга и говорят, как вчера, как третьего дня, как почти каждый день в последние две недели. Говорят о себе, о своей странной жизни, о своей полузадушенной, но вечно живой любви, о своих робких надеждах.

II

Осторожно и нежно глядя на Буравова, Екатерина Сергеевна говорила:

– Я все думаю, Павел Дмитриевич, о вашей жене... покойной жене. Так странно звучит слово покойная, когда думаешь о Софье Даниловне. Она была такая живая, такая веселая, такая радующаяся земной жизни.

– Да, – сказал Буравов тихо и задумчиво, – это было так неожиданно!

– И так грустно! – сказала Екатерина Сергеевна.

В ее памяти встало лицо покойницы во время ее недолгой болезни и потом в гробу. Все то же легкомысленное, веселое лицо, и только черные, крутые брови слегка приподняты, и словно отблеск удивления лежал на застывшей улыбке. Екатерина

Сергеевна внимательно смотрела на Буравова. Ей хотелось разгадать, был ли он потрясен смертью жены, с которой и он, как она со своим мужем, прожил почти четверть века, – Буравов венчался ровно за месяц до ее свадьбы. Но светло, почти радостно было его лицо. Да, ведь он любил не жену, он любил другую.

Он говорил медленно, следя глазами бегущие по далеким полям тени туч:

– Смерть – дивный феномен. Великое чувство освобождения и печали.

Екатерина Сергеевна покачала головой.

– Освобождение, да, – сказала она, – но печаль! Для этого не надо смерти. Печаль здесь.

Буравов взял ее руку, пожал осторожно и сказал:

– Вы знаете, я ее не любил. Был увлечен короткое время. Но не любил. Не ее любил.

– Она это знала? – спросила Екатерина Сергеевна.

– Она так поспешно и жадно жила, – отвечал Буравов, – что едва ли замечала многое. А я все эти долгие годы..

Щеки Екатерины Сергеевны вспыхнули. Она торопливо сказала:

– Да, я знаю. Вы любили меня!

Так полнзвучны и многозвучны были эти слова! Боль воспоминаний, радость, упрек, надежда, – все слилось в этом взволнованном возгласе. И так зажглись глаза, как зажигаются они только у очень молодых, если не годами, то душою.

Буравов поднес ее руку к своим губам. Говорил:

– Все эти годы такое горькое сознание роковой ошибки! Я любил только вас.

– И однако, – с легким вздохом сказала Екатерина Сергеевна, – женою вашею была она, а не я. Вы скажете, что и я.. Да, я не осталась девою четверть века ждать жениха, который мне изменил, ждать и надеяться, что он ко мне вернется!

– Моя вина так велика! – сказал он. – Вина и ошибка! Это была какая-то угарная, мимолетная страсть, и она так быстро рассеялась, и я понял, что люблю только вас. Но уже было поздно. Вы уже были замужем. Если бы вы знали, как я страдал, вы бы меня простили.

– Друг мой, – говорила Екатерина Сергеевна, и слезы были в звуке ее голоса, – я вас давно простила. Но у меня уже взрослые дети! Я привыкла к моей печали, и мне так легко здесь.

– А я! – воскликнул Буравов. – Нет, я не мог привыкнуть. И теперь, когда я свободен, я с прежнею любовью, с прежнею страстью зову вас. Придите ко мне, верните свою свободу, будьте счастливы со мною.

– Вы свободны, – повторила Екатерина Сергеевна, – а я нет. И уж я как будто боюсь перемен. Мне здесь так покойно, как в последнем убежище. Мои цепи стали привычными условиями моего существования.

– Если бы вы не надели этих цепей, – сказал Буравов, – я вернулся бы к вам скоро. Ах, зачем вы тогда так поторопились!

Улыбаясь странно и нежно, Екатерина Сергеевна говорила:

– Простите меня, друг мой. Я была тогда так одинока, так несчастна. А он, мой муж, он – прямой, простой, честный человек. И за все эти годы он совсем не изменился душой и теперь, корпусный командир, он такой же славный и милый, как тогда, когда он был скромным субалтерн-офицером. И тогда он был так нежен со мною! Я думаю, он догадывался о том, что я переживала. Но никогда, никогда он меня ничем не обидел. Он всегда был истинным рыцарем. И как мне было горько,

Повести и рассказы. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru  
что, целуя его, я носила в душе иной образ!

Она плакала. Буравов целовал ее руки, заглядывал в ее опечаленные глаза и говорил:

– Но вы меня все еще любите?

– Вы это знаете, – тихо сказала Екатерина Сергеевна. – Да, я вас люблю. Теперь мне уже легко сказать это слово. Скажу вам откровенно, друг мой, я долго ждала и надеялась, и мне казалось, что на голове моей – венец надежды, милый, благоуханный, но перевитый терниями.

Очень взволнованный, Буравов заговорил страстно:

– Вы должны уйти со мною, потому что мы любим друг друга. Идите за мною, умоляю вас, милая Катя!

Чувствуя, как сладкою мукою болит ее сердце, Екатерина Сергеевна воскликнула:

– Отчего вы не говорили мне этого раньше?

– Вы правы, когда упрекаете меня в этом, – отвечал Буравов. – Я бесконечно виноват. Я знаю, – я был малодушен, я не умел разбить моих цепей, я колебался, боялся чего-то. Не за себя, – за вас.

Улыбаясь сквозь слезы, думала она: «Боялся за меня, – но чего же?»

Вспомнилась жена Буравова, бойкая, веселая, легкомысленная красавица. Она была ревнива? Может быть. Даже не то, что ревнива, а уж очень неожиданна во всех своих поступках, ни добрая, ни злая, взбалмошная, непоследовательная, избалованная своим богатством, женщина с душою ребенка. Да, она, пожалуй, способна была бы облить серною кислотой свою соперницу.

Неужели он этого боялся?

«Но и слепая, я любила бы его. Или он боялся моего безобразия?»

«Нет, – думала она опять, – он не разлюбил бы меня и обезображенную».

Буравов говорил:

– Любовь должна была торжествовать надо всем. Но может быть, для нашей любви нужны были долгие годы внешнего разъединения. Душа человека, подобно некоей Гризельде, должна быть покорною до конца. Но теперь, когда годы очистили мою душу, и когда ваша душа так много страдала, теперь мы будем сильны, будем счастливы! Неужели для нас невозможно счастье! Позднее, но тем более сладкое.

«Уйти от мужа! – со страхом думала Екатерина Сергеевна. – Так опечалить его! Быть счастливою для себя!»

Ей казалось, что если она уйдет от мужа, то дети осудят ее. Они так любят отца! С какими глазами скажет она им:

– Я ухожу от вашего отца!

Кошунственным казалось ей перед детьми порвать связь, завязавшуюся, когда их еще не было на свете, разрушить то, на чем построена вся их жизнь. Каким ударом это будет для них, каким крушением всего их мира!

Еще старшие дочери, может быть, поймут и не осудят. А младшая, Раиса, странная девушка, сотканная из противоположностей, такая веселая и такая молитвенная, такая кроткая и такая иногда вдруг гневная, нежная и откровенная, – как она взглянет на мать, что ей скажет?

Бесконечно слабою чувствовала себя Екатерина Сергеевна в эти минуты и только могла плакать.

Но неужели надо отказаться от своего счастья? Как это жестоко!

– Друг мой! – воскликнула она, – сердце мое разрывается. Но как я его оставлю?

– Вы ему уже не нужны, – хмуро сказал Буравов.

– Кто это может знать! – возражала она. – Кто знает, кому как бывает больно, когда рвутся эти нити! Ведь их сплетала вся наша с ним жизнь!

– Может быть, его утешит Мари Дюбуа, – сказал Буравов, насмешливо улыбаясь.

Екатерина Сергеевна улыбнулась. Молоденькая француженка Мари, сестра инженера, служащего на одной из здешних фабрик, несколько раз приносила цветы генералу Старградскому. Да, она смотрела на него влюбленными глазами. Генерал был очень красив и представительен в своем гусарском мундире. Но Екатерина Сергеевна твердо знала, что ни наивная Мари и никакая другая женщина на свете не займет ее места в верном, рыцарском сердце ее мужа. Ей опять вспомнились бесчисленные черты его ласковости, доброты, спокойной и уверенной любви.

Нет, Мари его не утешит.

### III

В доме и в саду всегда было шумно, весело и молодо. Старшая, замужняя дочь, Александра, со своим мужем, капитаном Ельцовым, жила здесь же: дом был просторен и поместителен. Около двух младших, Людмилы и Раисы, всегда толпилась молодежь или влюбленная, или просто веселая. И потому сад, дремотный и задумчивый в своих уютных убежищах, почти всегда звучал где-нибудь шумом, смехом, веселостью, беззаботностью и светил всеми озарениями молодости.

В последние дни Александра была несколько обеспокоена выражением какой-то сосредоточенной серьезности, которую она подмечала на лицах отца и мужа. Ее беспокойство усиливалось, когда она вспоминала, как неделю тому назад, за утренним чаем, младшая сестра, Раиса, сказала:

– А мне сегодня ночью снилось, что скоро будет война.

Все засмеялись: ничто в эти ясные летние дни не предвещало близости войны. Даже отец улыбнулся и сказал:

– Нет, Раисочка, все штатские предсказатели обещают европейскую войну только в 1915 году, а этот год, Бог даст, переживем спокойно.

Над Раисиными снами все в доме посмеивались. Одна Александра знала странное свойство этих снов, – они нередко сбывались.

И вот теперь Александра старалась почаще быть с мужем.

Они шли вдвоем по тенистой дорожке сада и говорили о второй сестре, Людмиле, и об инженере Шпруделе, который явно ухаживал за Людмилой.

Ельцов говорил:

– Нет, что ты там ни говори, а не нравится мне этот заграничный инженер, этот ваш благовоспитанный Шпрудель.

Александра, может быть, из сочувствия к роману сестры Людмилы, считала нужным заступаться за Шпруделя, хотя он и ей самой не нравился. Она говорила не совсем уверенно:

– Он очень милый. Такая возвышенная, нежная душа! Любит стихи, природу, музыку. Так хорошо знает Шиллера, даже в русских переводах! Так хорошо изучил русский язык!

– А мне он не нравился и не нравится, – говорил Ельцов. – Не могу тебе сказать, как мне досадно, что Людмила любит эту ходячую цитату, мне иногда хочется ударить его. Особенно, когда он из Шиллера декламирует.

Александра, сдержанно улыбаясь, сказала:

– Что ты говоришь, Володя! Как можно!

– И твой отец его не любит, – сказал Ельцов.

Это было очень значительным аргументом.

Отец редко высказывал свои мнения и не давил никого своею волею, но его слова, мнения, взгляды очень замечались и ценились детьми.

Как всегда бывает у замужней сестры по отношению к младшей, Александре хотелось, чтобы и Людмила устроила свою судьбу. Поэтому ее очень огорчала холодность отца к Шпруделю. Утешая себя и Людмилу, она думала, что отец еще мало знает Шпруделя и только потому так холоден к нему.

– Как бы то ни было, – говорил Ельцов, – советую тебе быть с ним осторожнее и не болтать лишнего.

Александра внимательно посмотрела на мужа. Хотела сказать что-то. Но в это время подошел к ним младший брат, веселый, простодушный подпоручик, Сережа. Он спросил:

– Это вы про кого? Про Шпруделя? Гейнрих – премилый малый, я его очень люблю. Ей-богу, хоть он и немчур.

Ельцов сказал сдержанно:

– Да, он умеет вкрадываться в доверие к людям. Но меня-то он не обманет.

#### IV

Гейнрих Шпрудель, запасной лейтенант германской армии, служил инженером на одном из здешних заводов. Жил он в этом городе уже года два. Он был молодой высокий голубоглазый немец. Легко знакомился с людьми. Особенно много знакомых было у него в военной среде. Так как он был иностранец, то его очень охотно принимали во всяком обществе. Никому не казались странными ни его расспросы о разных делах, военных и гражданских, ни его любовь к прогулкам.

Он был влюблен во вторую дочь генерала Старградского, Людмилу. Изю всех здешних барышень эта спокойная, уравновешенная девица казалась ему наиболее подходящею к идеалу той скромной и степенной женщины, которая, «дом украшая изяществом строя, не знает покоя». И хотя она была русская, но он думал, что в Германии она станет такою же хорошею женою, матерью и хозяйкою, словно в Германии и выросла.

Сидя с нею на скамейке перед цветочною куртиною, он говорил:

– Мне очень горько, что твой отец меня не любит.

Людмила отвечала со своим обычным спокойствием:

– Папа вообще очень сдержанный человек.

– Со мною он особенно холоден, – говорил Шпрудель. – Он слишком патриот. Хотя мы ему еще и не открыли нашей любви, но он догадывается. Ему досадно, что дочь боевого русского генерала любит немца.

– Папа узнает тебя поближе, – уверяла Людмила, – и поймет тебя.

– Я боюсь, – сказал Шпрудель, – что он будет настаивать...

Людмила слегка покраснела и сказала:

– Я люблю тебя, и никто мне не помешает. Я уверена, что папа не будет ставить мне препятствий. Но если бы даже... – нет, ничто на свете не разлучит меня с тобою.

Она прижалась к его плечу, и сквозная тень листвы покрыла ее разнеженное лицо веселыми солнышками.

#### V



Раиса и Уэллер, высокий, сильный и очень спокойный молодой красивый англичанин, вдвоем играли в теннис. Уэллер выиграл несколько раз подряд. Раиса бросила ракетку на песок.

– Довольно, – сказала она, – я устала.

Она села на скамью перед площадкою. Продолжая начатый еще до игры разговор, она сказала с выражением кроткого упрека:

– Вы ни во что, ни во что не верите.

– Это не совсем так, Раиса, – возразил Уэллер. – Я верую, как должно верить. Но в предвещательные сны..

– Мои сны всегда сбывались, – сказала Раиса.

В ее словах была такая кроткая уверенность, что Уэллер невольно улыбнулся. Он сказал:

– Сбывались, конечно, Раиса, но кроме тех, которые не сбывались.

Раиса тихо покачала головой и сказала:

– Мне ужасно досадно на себя, что я вам рассказала мой вчерашний сон. Еще хорошо, что я не сказала вам, на кого был похож светлый воин моего сна.

– А на кого? – спросил Уэллер. – Скажите, Раиса, прошу вас.

Раиса молчала и счастливыми глазами всматривалась в кусты жасмина за теннис-грундром. Уэллер улыбаясь сказал:

– Надеюсь, он не на меня был похож?

Раиса покраснела очень и отвернулась. Уэллер понял, что угадал. Ему стало радостно, но в то же время он упрекал себя, зачем он своими словами заставил Раису так покраснеть.

Раиса сказала тихо, и слезы слышались в ее голосе:

– Я рассказываю, а вы смеетесь.

Уэллер смутился.

– Простите, Раиса, – сказал он, – я улыбался не потому, что хотел смеяться над вами. Я улыбался своим мыслям и воспоминаниям. Смеяться над вами я не могу, потому что я люблю вас.

Он смотрел на нее разнеженными глазами. И правда, в эту минуту вспомнились ему милые и смелые девушки его далекой родины, вспомнились его ласковые сестры с такою же кроткою уверенностью таких же синих глаз. Он были так же набожны, как Раиса, и так же любили читать благочестивые книги. И были такие же веселые, кроткие, и порою неожиданно вспылчивые, как Раиса.

– Люблю, – повторил он тихо.

Раиса повернула к нему раскрасневшееся лицо. Посмотрела на него, счастливо улыбаясь, как смотрят на солнце, – радостно и трудно. Сказала застенчиво:

– Нет, нет, не говорите мне об этом. Вы все от рассудка. А я молюсь и знаю, что моя молитва услышана.

– Хорошо, Раиса, вы – счастливая, – говорил Уэллер. – И вы напрасно думаете, что я не верю правде ваших слов. Но ведь сон ваш можно растолковать как угодно. Ну скажите, что предвещает тот сон, который вы мне рассказали.

– Что-то страшное, – сказала Раиса.

– А что именно? – продолжал спрашивать Уэллер.

Раиса застенчиво улыбнулась и сказала:

– Не знаю. Я спрошу сегодня у Никандра, – он так все понимает.

Уэллер досадливо пожал плечами. Он уже видел несколько раз у Раисы странника Никандра и не мог понять, что милая и чуткая Раиса находила привлекательного в этом простом, полуграмотном мужике. Ему не хотелось спорить с Раисой, но все-таки он не мог удержаться от того, чтобы не сказать:

– Как всегда, Раиса, вы увлекаетесь. Ваш Никандр – лукавый, хитрый, но совершенно невежественный человек.

Раиса с упреком посмотрела на него. Что значит невежественный? Разве для святости нужны книжные знания и научения профессоров?

Разве Бог не открывается простым людям и детям? Какая гордость человеческого ума! В этом мире, где все сияет и радуется простодушно, и небеса разворачивают свой синеватый покров над широкою далью долин, всегда думать о бедной человеческой науке!

– Вы – рационалист, – сказала Раиса, – и я вас не люблю.

– Не ошибаетесь ли вы, Раиса? – улыбаясь, спросил Уэллер.

– Нет, не ошибаюсь.

И, увидев подходящих к ним Людмилу и Шпруделя, она сказала:

– Вот, спросите Людмилу или Шпруделя, они вам тоже скажут, что вы – рационалист.

Людмила, улыбаясь, спросила:

– Раиса, ты опять на него нападаешь?

А Шпрудель принял сторону Раисы. Он говорил:

– Конечно, Ричард, вы – рационалист. Вы слишком привязаны к земным ценностям, и для вас трудно следить за крылатыми мечтами и за высокими духовными устремлениями Раисы. Туда, «высоко над бездной пространств и времен», вы не последуете за Раисой.

– Не ошибаетесь ли вы, Гейнрих? – флегматично повторил Уэллер.

– Думаю, что нет, – говорил Шпрудель. – Вы способны дремать, когда Раиса играет или поет.

Но это уж показалось Раисе несправедливым. Она живо сказала:

– Нет, он слушает внимательно.

Шпрудель, увлекаясь своим красноречием, продолжал:

– На одно и то же явление вы и Раиса реагируете совершенно различно. Одни и те же ворота ведут вас к законам, Раису к вольной природе. Вы – отвлеченный мыслитель, и о таких, как вы, Шиллер справедливо сказал, что они весьма часто имеют холодное сердце.

Раиса засмеялась и сказала:

– Слышите, бедный Уэллер, у вас холодное сердце.

А Шпрудель, как поставленный на рельсы, катил дальше, и самый голос его приобретал все более машинный оттенок. Он говорил:

– Потому что они расчленяют впечатления, которые способны тронуть душу только в целом. Но вы на меня не сердитесь. Вы – славный малый и отличный товарищ.

Уэллер саркастически усмехнулся, поклонился и сказал:

– Благодарю. Прикажете ответить вам тем же?

В тоне его голоса было что-то неуловимо дерзкое, так что Шпрудель досадливо поморщился. Людмиле показалось, что молодые люди готовы поссориться. Она торопливо сказала:

– Юноши, не ссорьтесь! Шпрудель, не нападайте на Уэллера.

Шпрудель вспомнил соответствующую, как ему казалось, случаю цитату из Шиллера:

– «Даже из рук недостойных истина действует сильно».

Цветы позднего лета благоухали так нежно и тонко, и так безоблачна была безбрежная лазурь, только что омытая недавно прошедшим дождем, и так свежо и молодо зеленел весь сад, что Раисе и самые высокие слова казались грузными и неуклюжими, когда они падали из уст Шпруделя. Она вздохнула и подумала: «Бедная Людмила!»

Уэллер пожал плечами и холодно спросил:

– Уверены ли вы, Гейнрих, что устами вашими говорит истина?

Шпрудель продолжал цитировать:

– «Истины оба мы ищем, – сказал Шиллер, – ее ты ищешь в природе, я ищу в сердце, и верь, что мы оба ее найдем».

Сергей подошел и слушал с улыбкою.

– Опять из Шиллера? – тихо спросил он Раису.

Раиса молча кивнула головой. Сергей весело сказал Шпруделю:

– Он – ужасный колбасник, ваш Шиллер.

Шпрудель очень обиделся за Шиллера, но вспомнил из него же убийственную цитату:

– «Есть люди, которые потому бранят граций, что никогда не были ими обласканы».

Сергей засмеялся.

– Ну, это антимония на постном масле. Сестры, мама вас зовет зачем-то.

VI

Шпрудель и Уэллер остались вдвоем. Шпрудель чувствовал себя уязвленным. Ему хотелось сказать Уэллеру что-нибудь неприятное. Он сказал:

– Друг мой, мне жаль вас.

– Тронут, – отвечал Уэллер.

– Вы любите Раису, – говорил Шпрудель. – Но она ответит вам, как возлюбленная рыцаря Тогенбурга: «Сладко мне твоей сестрою, милый рыцарь, быть, но любовь иному не могу любить».

Уэллер сделал ледяно-холодное лицо и сказал:

– Друг мой, позвольте мне сказать вам пару дружеских слов.

– Пожалуйста, – сказал Шпрудель, зло усмехаясь.

– Я – очень спокойный человек, – говорил Уэллер. – Но есть вещи, которых я не люблю.

Шпрудель насмешливо засмеялся.

– Как и всякий. Вы не открыли мне ничего нового.

– И не собираюсь, – отвечал Уэллер. – Но видите ли, есть случаи, когда бокс вразумительнее слов.

– Ого! – воскликнул Шпрудель в недоумении.

Неизвестно, чем бы кончился разговор молодых людей, но, к счастью, в это время возвратились сестры.

Александра сказала:

– Ну что же, молодые люди, гулять? Идем или едем?

Раиса со счастливою улыбкою смотрела на небо. Бездонные просторы небес всегда манили к себе ее взоры. Все, что совершалось на небе, она замечала раньше других сестер. Даже ночью занавески в ее спальне не задергивались, чтобы она могла, и лежа в постели, видеть звезды, вечные, чистые, всегда утешающие.

И теперь она воскликнула:

– Смотрите, радуга!

Шпрудель решил, что ссориться не стоит и несвоевременно. Интереснее отправиться на прогулку. Он сказал:

– Дождя сегодня больше не будет. «Не человеческими руками жемчужный, разноцветный мост из вод построен над водами!»

Раиса взглянула на него и вздохнула. Жемчужный мост показался ей пошатнувшимся, когда говорил Шпрудель.

## VII

Стоя над высоким берегом реки и мечтательно глядя в далекие поля, Шпрудель говорил Людмиле:

– Мне хочется пройти к старой мельнице, к Орлицам. Здесь везде такие просторы, так много земли. У иного русского помещика больше земли, чем у баварского короля. У Орлиц – цветущие луга, и я «пойду, волнуемый мечтами, в луга, где зеркальный поток, чтоб для тебя, между цветами, сорвать прелестнейший цветок».

– Но ведь там болото? – сказала Людмила.

– Ну что ж! – сказал Шпрудель. – Не найдем дороги, вернемся. А может быть, найдется мост, где «катятся волны вниз, повозки вверх, и любезно мастер возможность дал также и мне перейти».

– Не знаю, – отвечала Людмила. – Мы только раз туда ездили, уже давно, и я не помню дороги.

Шпрудель вздохнул, нежно пожал руку Людмиле и патетически воскликнул:

– Ах, Людмила, мой нежный друг! Если бы я не любил тебя, я любил бы одну природу! «Если б в мире вдруг людей не стало, то считал бы я живыми скалы». Но недолго мне гулять в этих прекрасных местах.

– Почему, Гейнрих? – тревожно спросила Людмила.

Неопределенные выражения сменялись на лице Шпруделя. Он отвернулся от Людмилы и говорил тихо и отрывочно:

– Я получил печальное известие. Мой отец болен. Зовет домой. Торопит. Боится, что умрет, не успевши увидеть меня. И я должен спешить.

Людмила слегка побледнела. Спросила:

– Но ты вернешься, Гейнрих?

Шпрудель нежно обнял ее за плечи, привлек к себе и говорил:

– Если бы я был послан в пучину морскую за кубком золотым, и тогда бы я к тебе вернулся, Людмила. А ты, Людмила? «Людмила моя все еще меня любит? У меня то же сердце, что вчера: а у тебя?»

Он в самом деле любил Людмилу и был взволнован необходимостью разлуки. Но его постоянные цитаты из Шиллера и постоянно приподнятый тон делали звук его речей неверным. Людмила, очарованная голубоглазым тевтоном, не замечала этого. Слезы были у нее на глазах, когда она говорила:

– Ты знаешь, как я тебя люблю.

– «Любовь есть лестница, по которой мы восходим к богоподобию», – опять процитировал Шпрудель.

– Я боюсь этой разлуки, – говорила Людмила.

Шпрудель сейчас же вспомнил утешающую цитату:

– «Кто может разорвать союз двух сердец? разъединить тоны одного аккорда?» Для моей любви нет лет.

### VIII

Совершенно неожиданно для многих разворачивались грозные события. Австрия послала ультиматум Сербии, и стало известно, что Россия принимает живейшее участие в судьбе слабого славянского государства.

После обеда получены были газеты с очень тревожными известиями. Поднялись шумные, взволнованные разговоры. Генерал Старградский спокойно сказал:

– Мы заступимся за Сербию.

Молодой француз Дюбуа, брат той юной Мари, о которой утром говорил Буравов, восклицал с волнением:

– И будет великая война, и моя бедная Франция... Но мы исполним наш долг, чего бы нам это ни стоило!

Один только Шпрудель был совершенно спокоен. Он с насмешливой улыбкой спросил:

– Да разве Сербия – вассал России, чтобы вы за нее заступались? Германия этого не позволит.

Он сказал это таким высокомерным тоном, что все посмотрели на него с удивлением. Сергей засмеялся.

– Ну, – сказал он, – как же это вы не позволите?

Шпрудель очень высокомерно и красноречиво доказывал, что Германия имеет достаточно сил, чтобы заступиться за свою союзницу и вести победоносную войну на два фронта.

Ельцов тихо сказал Александре:

– Замечательный тон у этого господина!

Александра отвечала ему так же тихо:

– Я никогда еще не видела его таким запальчивым. Из-под оболочки скромного инженера выглядывает мундир прусского лейтенанта.

– Хорошо, если только лейтенанта, – сердито проворчал Ельцов.

Старградский спокойно отвечал Шпруделю:

– Нет, господин Шпрудель, мы не дадим Сербии в обиду. Мы не одни, и пришел час расплаты по старым счетам. На этот раз мы не уступим.

Екатерина Сергеевна тревожно спросила:

– Но если будет война, тебя пошлют?

Старградский улыбнулся.

– Надеюсь, Катя, что не оставят дома.

– Боже мой! Боже мой! – воскликнула Екатерина Сергеевна и заплакала.

IX

Людмила, очень взволнованная, тронула Шпруделя за плечо и тихо шепнула ему:

– Гейнрих, пойдем в сад, мне надо сказать тебе кое-что.

Она быстро вышла на балкон. Шпрудель пошел за нею. Людмила быстро шла в дальний угол сада, к пруду. Когда уже за деревьями не слышно было голосов и шума в доме, она остановилась на берегу пруда, положила обе руки на плечо Шпруделя и, глядя прямо в его глаза, спросила:

– Гейнрих, ты поступишь в армию, ты будешь воевать против России?

Шпрудель глянул в сторону и уклончиво отвечал:

– Будем надеяться, что до войны дело не дойдет.

Людмила заплакала.

– Гейнрих, – говорила она, – если ты меня любишь, останься. Подумай, – сердце мое, сердце мое!..

Шпрудель пожал плечами. Лицо его приняло высокомерное выражение. Он сказал холодно:

– Я – германец. Я должен.

Людмила плакала и говорила:

– Я ведь ничего у тебя не прошу, только останься. Не хочешь? Но ведь я тебя люблю. Люблю, но я все-таки русская. Моему народу, моей России не изменю, скорее любовь к тебе вырву из сердца, хотя бы и вместе с жизнью.

– Людмила, – торжественно сказал Шпрудель, – что бы ни случилось, в каком бы положении я ни был, я не сделаю ничего, что было бы недостойно твоей любви ко мне и моей чести.

X

Через несколько дней началась мобилизация, и вслед за тем Германия объявила нам войну. В доме стало суетливо и беспокойно. Ельцов и Сергей уехали со своим полком в первые же дни, а скоро после них и генерал собрался уезжать. Грозный смысл событий тонул в хлопотах о вещах, о чемоданах. Время от времени в комнаты входила няня, очень старая, останавливалась на пороге, подпирала голову рукою, смотрела на генерала с соболезнованием, вздыхала, покачивала головою и уходила. Разговоры велись по большей части в тревожном темпе, и многие слова и действия казались иногда беспричинными. Один генерал Старградский спокойно курил папиросу за папиросою, то задумывался, то спокойно говорил. Все распоряжения перед отъездом он быстро сделал и ждал назначенного для отправления часа.

Стоял ясный, солнечный день в конце лета. Из открытых окон по временам слышались звуки военной музыки, приветственные крики, пение. Чувствовалось, что на улице бодрое, спокойное и трезвое настроение.

Дочери старались быть чаще с отцом; в их глазах было тревожно-ласковое выражение.

Екатерина Сергеевна повторяла:

– Такой ужас эта война! Наш милый мальчик...

Привычным жестом она прикладывала платок к глазам. Видно было, что она плачет уже не первый раз, и на лицах ее дочерей уже появлялось каждый раз выражение очень сдержанное, похожее на выражение привычной скуки.

Раиса очень тихо сказала:

– Не надобно плакать, мама.

Старградский знал, что эти слезы – признак только внешней слабости, и что его жена – твердая, славная женщина. Мягко улыбаясь, он говорил:

– Наш мальчик уехал веселый. Да и он ли один? Молодежь вся так хорошо и бодро настроена. Не только студенты, даже мальчишки рвутся на войну. Даже девочки мечтают о том, чтобы поступить в сестры милосердия. У Марьи Петровны сыновья всюду бегают, просят, чтобы их взяли если не в солдаты, так хоть в санитары, а сколько им лет?

Людмила сказала:

– Все-таки они не так уж молоды. Старшему уже девятнадцать, Миша годом только моложе.

– А наш Сережа уже второй год офицером, – говорил Старградский. – Даже Уэллер и Дюбуа просят к нам в добровольцы.

– Их возьмут? – тревожно спросила Раиса.

– Возьмут, я думаю. Отчего же не взять! Союзники.

Раиса сказала, краснея:

– Вот сон в руку. Я так и знала.

– Здесь так беспокойно и тревожно, – говорила Екатерина Сергеевна. – Близка граница. Я думаю, Николай, что нам лучше уехать отсюда в Москву.

– Конечно, уезжайте, – сказал Старградский. – И чем скорее, тем лучше. Война как война. Ни за что нельзя поручиться.

Уже не первый раз поднимался разговор об отъезде. Екатерина Сергеевна думала, что в такой близости к театру войны не следует жить семейству, из которого уехали все мужчины. Но дочерям это ее решение не совсем нравилось. Особенно хотелось остаться Раисе. Она говорила:

– Когда мимо нашего дома будут проходить солдаты, я стану раздавать им цветы из нашего сада и табак.

Людмила, слегка усмехаясь, возражала:

– Твои цветочки, Раиса, солдатам не нужны.

Как и многим русским интеллигентным людям, Людмиле казалось, что простому русскому народу доступны только простые и грубые удовольствия. Она была очень удивлена, что запретили продажу водки, и говорила иногда:

– Вот подождите, бунт будет, мужики водки потребуют.

Цветы в руках мужика – это казалось ей одною из наглядных несообразностей. Но Раиса видела на станции воинские вагоны, украшенные зеленью и цветами. Цветики лазоревые в солдатских руках казались ей необычайно трогательными.

Иногда и Александра говорила:

– Я, мама, не уеду. Я останусь с Раисою.

– Ну и глупо, – возражала Екатерина Сергеевна. – Что здесь вам делать? Все

Повести и рассказы. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru  
говорят, что надо уезжать. И Павел Дмитриевич говорит то же. Поймите, близка граница. Впрочем, вы с Раисой всегда наперекор, и всегда у вас чудачества.

Раиса убеждающим голосом говорила:

– Мама, отец Григорий остается же. И здесь так много бедных, без работы.

– Тебе отец Григорий дороже матери. Ты бы еще на странника Никандра...

Напоминание о Никандре было неприятно Раисе. Как только начались тревожные дни в городе, Никандр ушел. Няня, никогда не любившая Никандра, говорила Раисе:

– Никандра твой говорит: «Я, говорит, немецкого духа не терплю». Живо собрался, пошел. Уж больше двух недель его здесь никто не видел. Лукавый он, твой Никандра.

– Зачем ты так, няня? Грешно, – с укором говорила Раиса.

– Спроси своего англичанина Личарду, он тебе тоже скажет.

– Так он – англичанин. Он не может понять. А ты, няня, русская, тебе грешно.

Няня досадливо махала рукою и отходила.

Повторяя свою любимую мечту, Александра говорила:

– В нашем доме можно устроить лазарет хоть на десять раненых. Хоть на легко раненых. Чем ближе к полю битвы, тем лучше. И здесь я все же ближе к моему Володе.

– А если сюда придут немцы? – говорила мать.

Александра спокойно отвечала:

– Будет то же, что в Бельгии. Страшно подумать. Но что же делать!

Раиса плакала и говорила:

– Немцы вытопчут мои цветники сапогами. Они любят разрушать. И Уэллер говорит, что они грубые. А Уэллер никогда ни о ком не говорит худо.

– Немцы не тронут твоих цветов, – отвечала Людмила. – Разве ты забыла, как Гейнрих любит цветы? Нет, я не верю рассказам о германских жестокостях. Радимова вернулась, ей ничего не сделали.

Александра сказала спокойно:

– По разному было, Людмила. Никто не думает, что все немцы сразу стали зверьми.

Разговоры о германских жестокостях были особенно тягостны для Людмилы. Ведь она же была влюблена в одного из германцев! К той общей влюбленности в германское, в их философию, науку, культуру, в весь строй их жизни, к этой влюбленности, владеющей многими из нас, в душе Людмилы присоединилось особое, личное, глубокое чувство, та роковая привязанность, которая сильнее не только голоса рассудка, но и темной силы расовых разделений.

Людмила говорила:

– Люди – братья. И если брат должен идти на брата, так зачем же ненужные жестокости?

Александра напоминала ей:

– Однако больных из больниц они выбрасывали. Разве ты не помнишь этого ужасного рассказа о женщине, у которой солдаты срывали при обыске повязки с лица? Ведь эта несчастная умерла. Она доверчиво поехала к ним лечиться, и они...

Людмила чувствовала в своем сердце острие меча. Неужели это все правда? Она



Повести и рассказы. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru  
плакала и говорила:

– Это ужасно, если правда! Такое злодейство.

Александра обнимала и тихо утешала ее. Раиса, больно и кротко негодуя на эту темную силу, зажегшую столько злобы в сердцах наших врагов, говорила:

– Нет, лучше я раздам мои цветы нашим солдатам.

Но матери страшно было и думать, что дочери останутся в том городе, куда могут прийти враги. Она говорила:

– Если ты думаешь, что немцы твои цветы вытопчут, так подумай, Раиса, что они с тобою сделают?

– О, я умею стрелять! – отвечала Раиса.

– Так ведь и тебя расстреляют!

– Пусть, но раньше я убью не одного врага.

А Александра говорила все о своем:

– Раненых, может быть, тогда и успеем вывезти. Ведь мы же устроим на легко раненых.

Раиса вторила ей:

– Мы с Сашею будем ходить за ними. Ты знаешь, папа, что мы этому учились.

Наконец Старградский решительно разочаровал ее.

– Раненых к вам не положат. Для этого есть полевые лазареты. Или отправят куда-нибудь подальше, из района действующей армии.

Но Александре все-таки не хотелось уезжать. Дети, жены запасных, – всем им надо помочь. «У нас не крепость, – думала она, – никому в тягость мы не будем, а помочь проходящим войскам чем-нибудь сможем. Зачем же делать так, чтобы наши войска шли точно в пустыне?» Но мать досадливо отмахивалась от всех ее рассуждений и говорила:

– Ну, с тобою не сговоришь. Не знаю, в кого ты такая спорщица. Как только ваш папа уедет, я начну укладываться. И тебе, Саша, я не позволю здесь оставаться. Ты должна подумать о своем ребенке. Остаться здесь с ним, это – чистое безумие.

Раиса спрашивала:

– А мне, мамочка, можно остаться? У отца Григория я бы могла...

– Ну а тебе, Раиса, и тем более, – строго отвечала Екатерина Сергеевна.

ХІ

Людмила пришла в кабинет к отцу, – поговорить. Сестры любили эти разговоры с отцом.

Старградский говорил:

– Ну вот, наконец, и нам пришла очередь выступить на дело. Я очень рад. Я так понимаю настроение Сережи. И я горжусь тем, что Сережа пошел на войну как на праздник. Мне только жаль, что ваша мама так печально настроена. Правда, матери всегда плачут, отпуская детей на войну. Но вы, дочки, поддерживайте в ней бодрость духа.

– Папа, когда брат идет на брата, нечему радоваться, – тихо сказала Людмила.

– Нет, Людмила, не брат на брата, – мирные народы защищаются от тевтонского насилия. Смотри, как спокойны Александра и Раиса. А ведь у Александры муж на

Повести и рассказы. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru  
передовых позициях, Раиса беспокоится за Уэллера.

Людмила посмотрела на отца с удивлением.

- Почему за Уэллера? Он влюблен в Раису, а она к нему совсем равнодушна.
- Ты ошибаешься, Людмила.
- Раиса и Уэллер такие разные. Они постоянно спорят и ссорятся.
- Даст Бог, всю жизнь проспорят, до старости будут ссориться и мириться. А с немцами у нас мира все равно не будет и не может быть. Не теперь, так после, воевать с немцами все равно пришлось бы.
- Их милитаризм – это одно, а их культура очень высокая, – сказала Людмила, повторяя нашу общую ошибку.

Ведь многим из нас казалось в эти дни, что милитаризм – явление, случайное для современной Германии.

Старградский спокойно возразил:

- Высокая культура отшлифовала их, но только шлифовка эта ничего не меняет в их духовной сущности, очень грубой.
- Папа, нам еще многому от них надобно учиться.
- Учиться никогда и никому не мешает. Еще Петр Великий сказал: «Аз есмь в чину учимых, и учащих мя требую». Только учиться нам не у немцев.

Людмиле, как и многим из нас, казалось, что учиться чему-нибудь можно только у западных европейцев. Она сказала:

- Не у странников же и не у старцев, как наша блажная Раиса!

Очень рассудительная, она всегда свысока относилась к простодушной и молитвенной Раисе.

Старградский отвечал:

- У народа многому можно учиться. А немцы... Вот они смотрят на нас, как на варваров, а детей своих бьют.
- Папа, ты несправедлив; ты не любишь немцев.
- И они нас не любят.

Людмила очень покраснела. Ей уже давно хотелось сказать отцу о своей любви к Шпруделю. Странная для нее самой нерешительность сковывала ее. Теперь, когда Шпрудель уехал, ей особенно тяжело было скрывать от отца. Сегодня она шла к отцу с тем, чтобы наконец сказать об этом. Смущаясь и робея, как девочка, она сказала:

- Ты, папа, не знаешь... Я тебе не говорила, не решалась, но ты, может быть...

Отец улыбнулся.

- Все знаю. Но что делать! Я даже знаю, что он называет тебя прекраснейшим экземпляром блондинки. Цитирует это прозвище из какой-то Шиллеровой пьесы.
- Мой Гейнрих, – начала было Людмила.

Отец говорил:

- Он – храбрый малый. Но слишком самоуверенный. Он знает, что ты его любишь, и уже смотрит на тебя как на свою. Чем бы ни кончилась война, он без всяких колебаний придет за тобою.

– Он такой умный, чувствительный, – говорила Людмила. – Так любит искусство, природу.

Старградский смотрел на нее с сожалением. Он думал, что эта любовь еще немало причинит Людмиле несчастий. Он сказал:

– Вот ты его любишь, а на поле битвы он может встретиться с твоим братом.

– Папа, это ужасно! – воскликнула Людмила, бледнея. – Если бы ты знал, как мне тяжело! Но что же мне делать! Я люблю его. Враг моей родины, – но мне он дороже воздуха, которым я дышу.

– И ты не можешь вырвать этой любви из своего сердца?

– Нет, отец. Я отдала ему свою любовь, и это навеки.

– А то, что он сражается против нас?

– Папа, это такой ужас! Я чувствую себя так, как будто у моей души глаза выжжены, и вокруг меня такой мрак! Но ведь кончится же эта война!

– Все на свете кончается.

– Когда будет мир, когда все это ужасное, жестокое забудется, ты не будешь противиться тому, чтобы я вышла за Гейнриха?

Старградский пожал плечами.

– Это уж твое дело. Если тебе так надо...

Людмила говорила страстно:

– Разве все люди – не один род, великий, царящий над землей? Разве все мы – не братья и не сестры? Разве мы должны разделяться и ненавидеть, как звери разных пород? Наши дети одинаково любили бы и Россию, и Германию.

– Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается, – отвечал Старградский.

– Перекуют же мечи на плуги, разве ты этому не веришь?

– Пока немцы будут искать новых рынков для своей промышленности, они нам мира не дадут.

– Разве наши лучшие ожидания – только праздные мечты? И разве наши учителя и поэты говорили нам неправду, повторяя высокие слова о человечестве, о братстве всех людей?

– «Небо ясно, под небом места много всем». Но только каждое место под солнцем должно быть освящено. Родина там, где мы молимся, любим и страдаем, а не там, где копят небо трубы наших фабрик.

### XII

Вошли Екатерина Сергеевна и Александра. Старградский внимательно посмотрел на жену.

– Катя, ты опять плакала?

Она смущенно улыбнулась. Все эти дни такая тоска томила ее, и такую преступною казалась ей ее любовь к Буравову! Она говорила:

– Николай, ради Бога, береги себя. У тебя уже есть все, чего может пожелать человек твоего возраста. В твоем чине нет никакой надобности стремиться под неприятельские выстрелы.

– Не беспокойся, Катя. Что Бог даст, то и будет. С моим чином и в кусты прятаться тоже не полагается. Каждый из моих подчиненных должен видеть во мне живой пример. Ну а ты, Саша, не боисься за мужа?

Повести и рассказы. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru  
Александра вспыхнула. Глаза ее заблестели.

– Боюсь, боюсь. Вся душа моя – страх и тревога. Но если его убьют... Нет, я не буду плакать.

И вдруг заплакала.

– Нет, нет, папа, не смотри, – это минутная слабость.

Заплакала и Людмила. Говорила:

– У нас у всех есть за кого бояться. И у Раисы есть за кого молиться, для кого ждать чуда. И хуже всех мне, – душа моя разрывается и томится смертельно.

Как это часто бывает, слезы успокоили Александру. Вытирая глаза платком и уже улыбаясь тому высокому чувству, которое трепетало в ее сердце, она говорила:

– Я знаю, наши победят. Да и как им не победить! Ведь мы все так верим, так надеемся! Россия отдала всю свою душу своей армии, – как же ей не победить! Но я знаю, – для победы нужны жертвы. Надо же кому-нибудь умирать и кому-нибудь носить траур.

– Не надо говорить о трауре! – вскрикнула Людмила. – Боже мой, Боже мой, брат на брата!

Томимая жутким беспокойством, Екатерина Сергеевна так же бесцельно вышла, как и вошла. Людмила поспешно ушла вслед за нею.

### XIII

На улице проходили солдаты. Слышны были звуки музыки, голоса мальчишек, широкий, веселый говор взрослых. Где-то хлопали двери. Чувствовалось, что все в доме приникли к окнам или вышли на улицу, – смотреть на солдат. Александра стояла у окна, прямая, неподвижная, как олицетворение строгой сосредоточенной печали и гордости, – истинная жена доблестного воина.

Старградский с тихой улыбкой смотрел на нее. Слова великого поэта напевно бились в его душе, и он говорил вполголоса:

Есть упоение в бою,  
И мрачной бездны на краю..  
Все, все, что гибелью грозит,  
Для сердца смертного таит  
Неизъяснимы наслажденья,  
Бессмертья, может быть, залог!  
И счастлив тот, кто средь волненья  
Их обретать и ведать мог.

Александра вслушалась в эти торжественные, мудрые и страшные слова.словно острие меча вонзилось в ее грудь, – такая мука смертная! Но вспомнила все заветы милого и сурового детства, – сердце, сердце мое, мужайся!

С неизъяснимым выражением высокой печали и высокого счастья она сказала, словам высокого поэта отвечая его же словами:

– Да, он, может быть, счастлив. А оставшиеся, – им «кудри наклонять и плакать».

– Не только плакать, но и гордиться, – сказал отец.

– Да, отец, я знаю. И рассказывать детям о доблести отцов. Слагать легенды.

Но она знала, что доблестная жизнь сама будет творить легенды.

### XIV

Музыка на короткое время смолкла. Далекий благовест звучал мирно и торжественно под этим ясным, вечным небом. Неотвратимый, как поступь грядущего, был слышен мерный солдатский шаг. На улице Раиса разговаривала с солдатами. Она в своем саду нарвала громадную охапку цветов и раздавала их солдатам. Заодно захватила и несколько коробок отцовских папирос, нагрузив ими смешливую горничную Дашу.

Солдатики на ходу украшали цветами свои зеленовато-серые рубахи, а иные втыкали стебли цветов в дула ружей. Раиса, раздав все цветы, принялась раздавать папиросы. Брали радостно, только иные говорили:

– Махорки бы нам, барышня. У нее вкус крепче.

– Махорка – всем табакам табак.

Раиса смущенно отвечала:

– А махорки-то у меня и нет. Только папиросы.

– Спасибо и за папироски. Выкурим за ваше здоровье, – говорили солдаты.

Проходили, переговариваясь:

– Генеральская дочка, нашего корпусного.

– Ладная барышня.

– Шустрая!

– Спасибо, милая.

Голоса их тонули в удаляющихся звуках музыки и пения. Александра отошла от окна и молча смотрела на отца.

XV

– Саша, – говорил Старградский, – пока мы одни, я хочу тебе сказать то, чего я еще никому не говорил. Именно тебе хочу сказать: ты не только самая старшая из сестер, но и самая разумная.

Александра опустила на колени у его ног и прижалась головой к его коленям. Он говорил:

– Саша, твоя мать меня не любит. Не любит потому, что любит другого.

Он говорил это спокойно и просто, но Александра поняла, что ему очень трудно было это сказать.

– Я слишком поздно узнал это. Еще когда она была моею невестою, она уже любила другого. Их любовь была взаимная, – с тяжелым спокойствием говорил отец.

– А вышла за тебя?

– Да, вышла за меня. В вас, женщинах, много непонятного, странного. Впрочем, еще раньше нашего замужества он женился на другой. Может быть, потому...

Александра подняла раскрасневшееся лицо.

– Папа, ты говоришь про Буравова?

– Да, Александра, про Буравова, – отвечал отец.

По тону его слов и по выражению его лица было ясно, что ему трудно назвать это имя. В голосе слышалась едва уловимая нотка презрительности. Александра сказала:

– Папа, я сама догадывалась. Но как же это могло случиться? Если он ее любил, зачем же он женился на другой?

Отец отвечал, глядя спокойно и печально перед собою:

– Для меня это и до сих пор не совсем понятно. Какая-то странная история.

Александра прошла взад и вперед по кабинету, думая о том, что сказал ей отец, и что для нее уже давно было подозреваемой и страшною тайною родного дома. Хмуря брови, она сказала:

– Его жена богатая?

– Да, – отвечал отец. – Но не думаю, что он женился на покойной Софье Даниловне только из-за денег. Не думаю, чтобы он был способен действовать по недостойным мотивам.

Александра сказала задумчиво:

– Да, его все уважают. Но почему же он это сделал?

– Не тем будь помянута покойница, – говорил Старградский, – она умела вскружить голову всякому, а ваша мать всегда была тихая и сдержанная. Может быть, мстя ему, она вышла за меня. Но она всегда была верна мне. Она всеми силами души заставляла себя жить и чувствовать, как любящая нежно и преданно. Она сумела сделать мою жизнь очень счастливою.

Александра вспоминала, год за годом, всю жизнь свою в родном доме. Им, детям, всегда казалось, что в их доме – счастье и радость. И так были странны иногда тихие дуновения печали! Бог весть, откуда они приходили. Теперь Александра понимала, что мать радовала всех, но душа ее была обвеена печалью. Она всегда знала, что по-настоящему Буравов любит только ее, и он знал, что она его не разлюбила.

Александра вспоминала те мелкие признаки, по которым она угадывала эту любовь. Она сказала:

– Да, когда Буравов к нам приходит, я никогда не могу отделаться от какого-то странного чувства неловкости.

– А твои сестры замечали? – спросил отец.

– Людмила нет, – отвечала Александра. – Она слишком рассудительна для того, чтобы догадываться. А Раиса еще давно сказала мне: «Мама любит Буравова». Так прямо, без предисловий. Как всегда, со своею обычною манерою. Тогда я еще не поверила этому. Подумала, что опять дурит наша блаженная Раиса. Потом-то я поняла, что она очень чуткая, наша странная Раисочка.

– Ее странники и старцы иногда меня беспокоят, – сказал отец. – Но я уверен, что это пройдет. Останется только правда исканий, правда веры. Все минется, одна правда останется. Так во всем, Саша. И в эту войну мы идем добывать правду. Потому я и рад этой войне. Она развяжет многие узлы. И в нашей жизни. Теперь у него умерла жена. Если меня убьют...

Александра сказала со страхом:

– Нет, папа, так развязывать никакие узлы не надобно. Ты должен для нас...

– Ты не думай, Саша, – говорил отец, – что я буду искать смерти. Не о себе думать в бою приходится. Да и было бы смешно, если бы я, как запальчивый мальчик... Но ведь и война будет такая, какой еще не видел мир. Война на истребление.

– Нет, этому нельзя поверить. Неужели Гейнрих Шпрудель, который так долго жил в России, захочет истреблять русских?

– Да ведь и Шпрудель придет к нам не с букетом фиалок. Может быть, томик Шиллера и будет в его походной сумке, рядом с фляжкою коньяку. А ты знаешь, как был похоронен Шиллер? В общем склепе положили его. А потом, когда захотели положить его рядом с Гете, взяли чьи-то кости, может быть, и не Шиллера.

XVI

Тихо вошла Людмила и остановилась около дверей, вслушиваясь в разговор.

– Нельзя же за безумие немногих винить весь народ, – сказала она.

Отец отвечал:

– Весь народ это терпит и одобряет. И во время войны они будут все вместе.

– Вот ты увидишь, папа, их писатели, художники, ученые будут протестовать против ЭТОЙ ВОЙНЫ.

Александра сурово спросила:

– Ты сказала отцу, что любишь Шпруделя?

– Отец это знает, – робко сказала Людмила.

Александра смотрела на нее с удивлением и страхом. В эти дни всеобщего единодушия быть не вместе со своим народом, любить врага своей родины, – это казалось прямодушной Александре чудовищным. Щеки ее ярко зардели, когда она говорила сестре слова гневного упрека:

– И в эти дни ты можешь любить человека, который сражается против твоего брата?

– Саша, не упрекай меня, – плача, говорила Людмила. – Спроси свое сердце, – если любишь, то ведь это навеки, этого нельзя победить.

Но сердце Александры говорило ей совсем другое. Она гневно спрашивала:

– Если ты будешь знать, что он убивает русских, ты будешь его любить?

– Его послали, его отечество требует, чтобы он воевал, он обязан, – смущенно говорила Людмила.

– На его руках будет русская кровь, – и ты будешь его целовать? – воскликнула Александра.

– Милая сестра моя, ты терзаешь меня. Что я могу? Разве я счастья для себя хочу? Его могут убить. Но если он останется жив, то ведь будет же мир, забудется же это!

– Не знаю, Людмила, что будет. Но теперь, когда мы знаем о них...

– Да мы ничего верного не знаем. Но клянусь тебе, никто здесь не услышит о моей любви к нему, и если когда-нибудь мне придется сделать выбор между любовью к милому моему и любовью к родине, я буду помнить, что я – русская, я не опозорю имени моего отца, и хотя бы сердце мое разорвалось от горя, я буду верна, верна моей милой России.

Рыдая, она стала на колени перед отцом. Старградский обнял ее и говорил, глядя ее волосы:

– Людмила, я был уверен, что ты это скажешь. Дай Бог, чтобы тебе не пришлось делать этого выбора, и чтобы все мы после войны могли со спокойною душою протянуть руку бывшему врагу. Успокойся же, Людмила, не плачь.

Александра все-таки не понимала того, как может Людмила не разлюбить. Но кроткая жалость проникла в ее сердце. Она подняла Людмилу, обняла ее и, утешая, говорила:

– Милая, бедная сестра! Мы будем вместе в эти тяжелые дни, как-нибудь перетерпим нашу маленькую личную скорбь. Не будем думать о себе, о своих огорчениях, – только о том станем заботиться, чтобы и свои силы приложить к общему делу, слиться с народом в его великом подвиге, – и нам будет легко и радостно.

## XVII

В гостиной у Екатерины Сергеевны сидела начальница местной женской гимназии, Берта Францевна Нахтигаль, ужас и кошмар простодушной Раисы. Обрусевшая немка, она была хорошо принята во многих здешних семействах, но непонятно было, что находили приятного в ее беседах: они сплошь состояли из неумеренного восхваления всего германского и самого резкого порицания всего русского. Впрочем, многие из нас именно это и любят.

Нахтигаль говорила генералу, только что вошедшему в гостиную вместе со старшими дочерьми:

– Я слышала, и вы, генерал, тоже едете на войну?

– Да, Берта Францевна, еду.

– Ай, ай, как нехорошо, такая война! Я говорила вчера с пастором Фрейланд, и он мне тоже говорил: «Ай, ай, как нехорошо, такая война!» И еще он мне говорил: «Берта Францевна, я вам скажу по секрету, – у нас в Берлине сошли с ума!» Он так говорил потому, что немцы – очень культурный народ и не хотят воевать.

Тоскливо предчувствуя хвalebную Германии речь, Раиса быстро, почти мимовольно, сказала:

– Я каждый день молю Бога, чтобы сербы взяли Вену, а русские – Берлин. Но неужели немцы возьмут Париж?

Поджав сухие губы, Нахтигаль строго взглянула совиными глазами на Раису и затынула жалобным голосом:

– Если Берлин возьмут, и такой хороший город пострадает и будет разрушен бомбами, это будет очень жаль.

И Александре, обычно сдержанной, на этот раз захотелось спорить с самодовольною немкою. Злое чувство закипело в ней, когда она сказала голосом, более резким, чем бы она сама хотела:

– Никто не станет разрушать Берлина, хотя это и очень неприятный город, тяжелый, безвкусный.

Екатерина Сергеевна укоризненно посмотрела на дочь.

– О, Берлин – лучший город в свете! – уверенно сказала Нахтигаль.

– Ну, можно ли его сравнить с милым Парижем! – воскликнула Александра.

Екатерина Сергеевна хотела было унять дочерей, но имя Парижа навеяло на нее много сладостных воспоминаний. Она сказала:

– Ах, кто же сравнивает! Париж, конечно, единственный город. Вы меня извините, Берта Францевна, но Париж вне всяких сравнений.

Щеки Нахтигаль покрылись кирпично-красными пятнами. Она заговорила, волнуясь:

– Я не могу с вами согласиться, Екатерина Сергеевна. Париж – неопрятный город. Там по улицам везде бумажки валяются. Там везде ужасный разврат. Берлин гораздо лучше, чище, наряднее. Если вы хотите за границей купить на ваши деньги что-нибудь дешево, модно и хорошо, то вы можете сделать это только в Берлине, где вы найдете такой магазин, как Вертгейм? (Она сказала по-берлински Вертайм).

– У меня такое впечатление, – сказала Раиса, – что в Берлине дома довольно хорошие, а одеты берлинки очень странно, совсем безвкусно.

Нахтигаль говорила сердито:

– Я не понимаю, как можно не восхищаться таким городом, как Берлин! После этого вы можете сказать, что и Бисмарк не был очень великий человек!

Раиса, вся раскрасневшись, сказала запальчиво:

– Бисмарк был грубый и жестокий. Только в нем хоть то хорошо было, что он России боялся.

Екатерина Сергеевна посмотрела на нее с укором. Нахтигаль пришла в ярость и закричала:

– О, пфуй, пфуй! Так говорить о таком великом человек, как Бисмарк! Бисмарк не мог бояться, он никого не боялся, это был железный человек, но он делал политику и не хотел ссориться со всеми.



XVIII

Нахтигаль так увлеклась своим яростным криком, что только тогда заметила вошедшего Буравова, когда хозяйка обратилась к нему со словами приветия. Нахтигаль смущенно замолчала. Бураков был один из немногих русских, к которым она чувствовала уважение, может быть, за то, что он довольно долго жил, в свои учебные годы, в Германии и имел там немало друзей среди ученых и литераторов. Нахтигаль старалась теперь говорить особенно любезно с Буравовым. Но все же видно было, что она очень рассержена.

Александра внимательно смотрела на родителей и на Буравова. Ей хотелось проверить кое-что. Да, как всегда, при виде Буравова мать стала особенно оживленно и словно помолодевшею, а у отца стали грустными глаза, правда только на одну минуту; потом они опять приняли обычное спокойное и мужественное выражение.

Нахтигаль, любезно улыбаясь Буравову, говорила:

– Павел Дмитриевич, вы – такой умный человек, скажите ваше мнение об этой ужасной войне.

Бураков поглядел на нее с сочувствием, пожал ее руку и сказал утешающим голосом:

– Берта Францевна, вы взволнованы? Я так понимаю, – надеюсь, здесь все понимают ваши чувства. Но Россия воюет не с германским народом, а с тем милитаризмом, который так вреден для самой Германии.

Нахтигаль казалось, что можно было бы в более определенной форме выразить сочувствие Германии. Но она не решалась спорить с Буравовым и повторяла нерешительно:

– О да, такая война, такая ужасная война!

– Вот, Павел Дмитриевич, мама хочет уехать, а мы не хотим, – сказала Раиса.

Екатерина Сергеевна поглядела на него вопросительно, и он, отвечая на ее взгляд, сказал:

– Конечно, уезжайте. И я непременно уеду при первой же возможности. Если я еще здесь, так только потому, что не достал билета. На вокзале ужас что творится! Все торопятся уехать во внутренние губернии. Но уж я решил ехать на автомобиле.

– Счастливцев! – с завистливым вздохом сказала Екатерина Сергеевна.

Она уже знала, что за автомобиль берут очень дорого, и не хотела тратить таких денег: содержание семьи и так стоило много, и от генеральского жалованья мало что оставалось.

– Если хотите, – сказал Бураков, – я и вас возьму с собою.

Екатерина Сергеевна нерешительно взглянула на мужа.

– Спасибо, Павел Дмитриевич, – просто и спокойно сказал Старградский.

Александра почувствовала, что ей хочется плакать. Она поспешно подошла к окну.

Екатерина Сергеевна, глядя на Буравова вдруг заблестевшими глазами, говорила:

– Ах, я так буду вам благодарна!

Раиса грустно подумала, что опустеет этот милый город и в саду не слышно будет милых голосов. И что же будет? Придут враги – разрушать и жечь.

Нахтигаль неприятным голосом старой, придирчивой гувернантки говорила:

– Я не понимаю, зачем уезжать! Немцы – такой культурный народ, они ничего худого никому не сделают.

– Однако на Бельгию напали и ведут себя там, как гунны, – сказала Раиса.

Нахтигаль глядела на нее со злостью, и глаза ее горели по-змеиному, когда она говорила:

– Это есть политика, и мы тут ничего не можем понимать. И особенно молоденькие девушки ничего не могут понимать в политике. Это не дело женщин – заниматься политикой. Женщина должна знать только церковь, кухню и детей, – и этого с нее довольно во всю ее жизнь!

Расходилась сердитая немка и стучала по столу кулаком.

– Так думают в Германии, – отвечала Раиса. – У нас, в России, думают иначе.

– Раиса, не спорь, – строго сказала мать.

Раиса замолчала. Меж тем Буравов рассказывал генералу про свой автомобиль.

– Конечно, плохенький, но до Москвы как-нибудь доберемся. Просили полторы тысячи, чтобы только довести до Москвы. Я предпочел купить его. Заплатил семь тысяч. Зато он мне и в Москве будет служить.

– Мама, – тоскливо спросила Раиса, – так ты непременно хочешь ехать?

– Конечно, поеду.

Буравов подробно и красиво, с настоящим ораторским подъемом, стал доказывать, что в такое время надо объединиться, и что для этого надо быть ближе к центру.

– Здесь, – говорил он, – мы никому не можем принести никакой пользы в этой сумятице. Здесь совершенно достаточно местных сил. Мы будем гораздо полезнее во внутренних губерниях, где можно организовать помощь семействам запасных. Вообще в эти тяжелые дни общество должно сплотиться.

Старградский слушал его со спокойным, слегка грустным вниманием.

– О да, вы, конечно, совершенно правы, – говорила Екатерина Сергеевна. – И я с вами совершенно согласна.

«Как всегда!» – печально подумала Александра.

## ХІХ

Стали собираться городские знакомые проводить генерала на поезд. Были здесь Уэллер и Дюбуа с сестрою. В гостиной стало шумно, здесь и там вспыхивали разговоры, как всегда в таких случаях, отрывочные и беспокойные.

За окном опять слышны были музыка и пение.

Мари, с цветами в руках, подошла к генералу и смотрела на него влюбленными глазами.

Старградский, улыбаясь ей ласково, как дочери, смотрел на ее раскрасневшееся лицо и говорил:

– Милая Мари, вы опять балуете меня...

С трепетною ласковостью Мари говорила:

– О, пусть эти цветы будут с вами в вагоне. Я донесу их до вагона. Можно?

– Спасибо, милая Мари!

Раиса откровенно-влюбленными глазами глядела на Уэллера и спрашивала:

– Отчего же вы и Дюбуа не на службе? Ведь сегодня не праздник.

У нее еще была надежда, что слух не верен, и что Уэллер не идет в добровольцы. И в то же время она знала, что ей будет очень горько, если окажется, что Уэллер и

Повести и рассказы. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru  
не думал поступать в русскую армию.

Ужасом и счастьем затрепетало ее сердце, когда она услышала радостные слова Уэллера:

– Я пришел проститься. Сегодня уезжаю, в одном поезде с вашим отцом.

Улыбаясь сквозь слезы, Раиса говорила:

– Вот уж этого я от вас не ожидала! Вы – такой рационалист, и вдруг поступаете, как экспансивный русский студент.

– Так это правда? – спросила, подойдя к ним, Александра.

– Да, – сказал Уэллер, – меня и Дюбуа взяли добровольцами. Я так счастлив! Не все считать чужие деньги.

– Я думала, вы – такой спокойный и расчетливый, – улыбаясь, говорила Александра.

– Расчетливый потому, что коммерсант? – спросил Уэллер. – Да, я – коммерсант по призванию, стало быть, любитель риска. А война – наивысший риск. И, прежде всего, я – англичанин, и потому люблю спорт, борьбу и не бегу опасностей.

Мимолетная тень пробежала по лицу Раисы. Александра поняла, что смутило ее в словах молодого англичанина, и спросила нарочно, чтобы дать ему возможность объяснить свою мысль:

– Только потому и пошли на войну?

Уэллер усмехнулся.

– Потому я решился. А захотел я потому, что это – война за правое дело, великая, святая война. А вы, Раиса, что мне скажете сегодня?

Раиса положила руку на его рукав и говорила ему нежно:

– Пойдемте, милый Ричард, помолимтесь вместе, и я вас благословлю. Если вы не захотите меня огорчить, вы будете носить образок, который я вам дам.

Вслушавшись в разговор молодежи, Буравов сказал с укором:

– Раиса, зачем эта экзальтация? Вы даже забываете, что он иного племени и иных взглядов.

Он был уверен, что Уэллер чувствует себя неловко и не захочет молиться вместе с Раисой, и ему хотелось спасти молодого англичанина от этой неловкости. Но Екатерина Сергеевна сказала ему тихо:

– Оставьте ее, Павел Дмитриевич.

– Я рад, что Раиса хочет за меня помолиться, – сказал Уэллер. – И ваш образок, Раиса, будет всегда со мною.

– И я всегда буду душой с вами, Ричард, – радостно говорила Раиса, уводя Уэллера к себе наверх.

XX

Людмила тихо спросила Александру:

– Неужели она его любит?

– Да, любит, – сказала Александра.

Дюбуа весело, ни к кому особенно не обращаясь, говорил:

– Мы с Уэллером в один полк. Я очень рад. Ричард – славный товарищ.

– Мне страшно за моего брата, но я горжусь им, – говорила Мари. – И я так рада,  
Страница 171

Повести и рассказы. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru  
что он будет служить под начальством генерала!

Как всегда при упоминании о генерале, глаза ее заблестели.

– А вы, Мари, куда отправляетесь? – спросила Александра.

– Я поеду в Москву, мне там обещали взять меня в сестры милосердия. Генерал был так добр, похлопотал за меня. Может быть, меня отправят в полевой лазарет.

Людмила тихо сказала Александре:

– Бедная! Она даже не может скрыть, что влюблена в папу.

XXI

Старградский, взглянув на часы, тихо сказал жене:

– Катя, на минутку пойдем ко мне.

Когда дверь его кабинета затворилась за ними, Екатерина Сергеевна порывисто бросилась к мужу.

– Храни тебя Господь! Сохрани тебя Бог! – повторяла она.

Она крестила его дрожащими руками, обнимала, плакала.

Старградский спокойно сказал:

– Послушай, Катя, мы с тобою не дети. Все может случиться на войне.

Екатерина Сергеевна, прижимаясь к нему, чувствовала, как больно острие меча пронзает ее душу. Мечта любви казалась ей преступною мечтою, когда она обнимала этого человека, которого никогда не любила, и который идет туда, откуда не все возвращаются. Она повторяла в смертной истоме и тоске:

– Бог тебя спасет, сохранит!

– Если я не вернусь... – начал Старградский.

– Не надо, не надо! Ты вернешься! – восклицала она.

– Дай Бог. Ну а все-таки, на всякий случай скажу тебе, – прости за солдатскую откровенность, – долго траура не носи. Ты еще молода, живи для себя, для того, кого полюбишь. Кого любишь.

– Зачем ты это говоришь? – тоскливо спрашивала Екатерина Сергеевна.

Старградский спокойно говорил:

– Разве ты не хочешь слышать слово правды? Вот в этом несчастье нашей жизни, что мы таим что-то друг от друга.

«Он все знает!» – думала Екатерина Сергеевна и плакала, плакала горько.

Тихо сказала она:

– Иногда счастье в этом.

Так, точно она хотела оправдать перед ним молчание всей своей жизни, то, что не сказала ему о своей любви к другому.

– Для меня, не для тебя счастье, – отвечал он.

Екатерина Сергеевна горестно воскликнула:

– Да в чем же правда? В мечте бездейственной или в деятельной жизни?

И больно, и сладко ей было думать, что в эту минуту она отрекается от мечты всей своей жизни.

Старградский спокойно сказал:

– Правда в том, чего хочет сердце.

Он приоткрыл дверь и сказал не громко, но так, что звучный голос его покрыл всю сумятицу разговоров и движений в гостиной:

– Девочки, пойдите ко мне.

Вошли Александра и Людмила.

– А где же Раиса? – спросил генерал.

– Она сейчас придет, – отвечала Александра. – Она молится с Уэллером. Дюбуа пошел за нею. Он очень милый и услужливый.

Старградский посмотрел на дочерей внимательно и сказал:

– Не оставляйте мать, девочки.

– Папа, будь спокоен, мы будем с нею, – сказала Людмила.

– Поддерживайте ее, – говорил отец.

– Папа, ради Бога, береги себя, – отвечала Людмила.

Старградский сказал, улыбаясь:

– Помнишь, кто писал: «Я к пулям не хожу, а ты запрети им ко мне летать»?

В это время, поспешная и легкая, в кабинет вбежала Раиса.

– Папа, береги мой образок, – он спасет тебя.

Спасибо, Раиса, твой образок всегда со мною. Ну а ты, самая умная, что скажешь мне?

Александра покраснела, стала перед отцом на колени, поцеловала его руку и сказала:

– Что смею сказать? Ты сам знаешь. Я буду за тебя молиться.

– И я, папа, – сказала Раиса.

По ее лицу текли радостные слезы, и когда она рядом с Александрой склонила свои колени перед отцом, она казалась легкой, белой и почти бестелесной. И такую светлую, что невольная зависть вошла в сердце Людмилы.

Старградский говорил Раисе:

– Знаю, милая, что ты будешь за всех за нас молиться.

XXII

Вечером в тот же день Буравов сидел в гостиной у Екатерины Сергеевны. Сестер не было дома. Они ненадолго ушли куда-то.

Слова незначительного разговора перемежались минутами взволнованного молчания. В большом волнении они смотрели друг на друга. Наконец Буравов тихо сказал:

– Катя, наконец я буду с тобою долгие дни. Прости, но я рад.

Екатерина Сергеевна смотрела на него испуганными глазами. Шептала:

– Сердце мое, сердце мое! как оно бьется!

Буравов целовал ее руки и говорил:

– Оно хочет счастья, оно ждет радости.

– Счастья, радости! – повторяла Екатерина Сергеевна.

Какие слова! Точно из старой, забытой сказки! Теперь, в эти великие грозные дни, слова о личном счастье, о маленькой, уютной радости! Какая боль! Неужели он не знает, что теперь не надо говорить об этом? Или он, такой умный, такой мудрый, знает лучше?

Он повторял:

– Мы будем вместе, мы будем счастливы.

Как можно этому поверить? словно испытывая свою душу, Екатерина Сергеевна тихо говорила:

– Нет, нет! Он будет сражаться, он будет в смертельной опасности, – как я могу в эти дни думать о счастье!

Буравов тихо покачал головой. О, эти женщины! Он всегда умеет создавать неожиданные препятствия. Он с ласковым укором говорил:

– Разве мужу твоему надо, чтобы мы сами отбросили от себя сладкие минуты счастья?

Звякнул в передней колокольчик. Послышались голоса девушек. Екатерина Сергеевна пугливо смотрела на дверь. Буравов встал и задумчиво ходил по комнате.

#### XXIII

Вошла Раиса. Она была в беспокойном, нервном настроении и казалась слишком веселой. Шаловливо сказала она Буравову:

– Не думайте, что я поеду с вами.

– А как же? – спросил Буравов.

– Спрячусь в погреб, и вы меня не найдете.

– Как же не найду, если вы сами сказали, что спрячетесь в погреб?

– Да, но я ведь не сказала, в какой погреб. А потом – к отцу Григорию.

Мать смотрела на Раису, укоризненно покачивая головой. Буравов сказал досадливо и наставительно:

– Блаженная Раиса! Не разберешь, шутите вы или говорите серьезно. А разве можно шутить в такие значительные дни? Теперь надо работать.

– И молиться, – тихо сказала Раиса.

#### XXIV

Через день выехали. Автомобиль, купленный Буравовым, оказался поместительным и сильным. Но ехали не так скоро, как бы хотелось. Дороги были очень плохи. Недаром потом немцы жаловались, что русские пять лет, готовясь к войне, портили дороги. Не раз приходилось останавливаться для починок. Трудно было доставать бензин. Быстрой езде мешало и то, что дороги были загромождены обочинами и людьми. С пограничных местностей бежали обыватели, напуганные разговорами о германских жестокостях, а немало было и таких, которые и сами испытали все ужасы тевтонского нашествия. Бедные люди, среди которых было много евреев, тащили кое-какой, спешно захваченный скарб, кто на телегах, кто на тележках, тачках, кто на своих собственных спинах. Шли и ехали испуганные, плачущие люди, кое-как одетые, и плачущим гвалтом их стонали и теснота дорог, и околоторожные просторы необработанных полей.

Сколько рассказов наслушались! Самых невероятных и ужасных. Сколько разных людей видели!

Останавливались то в харчевнях, то в гостиницах, то на вокзалах, то просто в

Повести и рассказы. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru  
чьем-нибудь гостеприимном доме. На каждой остановке приходилось раздавать деньги и пищу голодным детям с ужасными, жалкими и жадными глазами.

Везде, где проезжали, было тревожное настроение. Граница была близка, и везде ходили слухи, что русская армия, повторяя двенадцатый год, отступит в глубину страны, чтобы приготовить врагу гибель. Счастливыми считались те, кто мог бежать далеко-далеко, дальше черты оседлости. Но не всем было дано и это жалкое счастье.

Наконец в маленьком уездном городке застряли основательно, дня на три: автомобиль надо было чинить. А отъехали едва верст шестьдесят. Поместились, очень тесно, в гостинице, но почти все время проводили то на улицах города, то в буфете вокзала.

Иногда расспрашивали, иногда пассивно слушали отрывки тревожных разговоров. На вокзале говорили про разрушение немцами пограничного русского города.

- Провокаторский выстрел!
- Просто с перепугу сами своих жарили, за русских приняли.
- И разрушили почти весь город.
- Ну на это только немцы способны.

События уже сделали людей доверчивыми к страшным слухам.

Буравов озабоченно повторял:

- Что вы поделаете с этим народом! Этот ужасный, угрюмый человек говорит, что раньше, как завтра, автомобиль не будет готов.

Екатерина Сергеевна кротко улыбалась и говорила:

- Ну что ж делать, подождем!

Какая-то старуха, по виду торговка, утешала плачущую девушку, очень красивую и очень испуганную:

- Не плачь, не плачь, милая. Отца не вернешь, конечно. Горе, конечно, Господи, да уж что убиваться-то! Бог их накажет, немцев проклятых.

Сестры смотрели на нее и на молодую красавицу испуганными глазами. Она исчезла с дочерью в каком-то темном углу.

Передавались страшные рассказы. Не разобрать иногда было, наяву ли это или кошмарный сон. Но, несмотря на усталость, сестры чувствовали себя очень бодрыми. Их поддерживало нервное возбуждение, да и сказывалось суровое, спартанское воспитание, которое получили они в родительском доме.

Екатерине Сергеевне иногда казалось, что целые годы прошли с тех пор, как ее Сережа ушел на войну. А посчитает дни, – и месяца еще нет. Особенно удручало то, что со времени отъезда нельзя было получить никакой вести ни от Сережи, ни от Ельцова. Утешали себя мыслью, что письма будут в Москве.

XXV

Обедали в буфете вокзала. За соседним столиком сидел плотный господин германской наружности. У него был очень веселый и гордый вид. Буравов встречал его, – это был технолог Мюлендорф; он уже давно жил в России, работая на каком-то заводе.

Вслушавшись в разговор Буравова со Старградскими, он сказал очень уверенно:

- Наши скоро придут в Москву.

Все поглядели на него с удивлением. Он не казался пьяным.

Александра спросила:

– Кто это ваши?

– Германская армия, – отвечал Мюллендорф. – Я говорю, что очень скоро наши войска войдут в Москву.

Раиса засмеялась.

– Пленными? Так их и дальше Москвы отправят.

– Раиса, не дразни его, – тихо сказала Людмила.

Ей казалось вполне естественным, что в начавшейся войне германцы победят. Слова этого господина поэтому не казались ей ни смешными, ни дерзкими.

Екатерина Сергеевна тихо спросила Буравова:

– Кто этот странный господин?

Буравов рассказал ей, что знал о Мюллендорфе. А тот, отвечая Раисе, говорил:

– Нет, не пленными, а победителями. Наши уже пришли в Брюссель. Сначала возьмут Париж, усмирят французов, и потом сюда.

– Париж! О, милый город! – воскликнула Раиса. – Нет человека на земле, который не заплачет о Париже. Москва, Париж, Лондон – вот настоящие великие города.

– У нас очень хорошее войско, – хвастался Мюллендорф, – и пушки очень хорошие. Наши цеппелины летят вверху и несут с собою смерть и разрушение.

– Пушки у вас, может быть, и не хуже наших, а только солдаты у вас поплоче, – отвечала Раиса.

Мюллендорф покраснел и надулся.

– Немцы никого не боятся, – сказал он.

– Кроме казаков, – со смехом сказала Раиса.

Мюллендорф смутился.

– О, ваши казаки!

Подумав немного, он продолжал уже не так уверенно:

– Нет, немцы и казаков не боятся. Наш кайзер Вильгельм – великий человек.

Раиса, всплеснув руками, обратилась к Буравову:

– Неужели они все такие? Фрау Нахтигаль, этот господин, – все поют одно и то же и петушатся нестерпимо.

Буравов сухим тоном начал говорить ей что-то весьма несомненное о превосходстве германской культуры. Екатерина Сергеевна говорила Мюллендорфу:

– Россия и с Наполеоном справилась, справится, Бог даст, и с Вильгельмом.

Мюллендорф презрительно засмеялся.

– Наш Вильгельм выше Наполеона.

Раиса, не дослушав Буравова, вскрикнула:

– О, что он говорит! Вильгельм выше Наполеона? Разве только ростом. А вы слышали, какие варварства были совершены германцами в Бельгии! Ваши солдаты истязали женщин и детей, воевали с безоружными...

Мюллендорф кивал головою, словно слышал что-то очень приятное и верное.



– Да, – сказал он внушительно, – это – проявление силы, себя сознающей. Никто не смеет становиться поперек дороги нашей армии.

Взволнованная и раскрасневшаяся, Раиса говорила:

– Нет, ваши войска совершают нечестивое дело. Недаром великодушные англичане вооружились против Германии.

– Наши их разобьют, – хвастливо сказал Мюллендорф.

– Не рано ли хвалиться? – сказала Александра. – Предсказаний таких вы бы лучше не делали.

– Почему же, позволю себе вас спросить?

– Потому что вы в русском городе и говорите с русскими людьми.

Раиса, краснея и волнуясь, говорила:

– Жребий войны в руках Божьих. Мы – русские, верим, что не в силе Бог, а в правде. Только благочестивые владеют миром. Дело наше правое, мы сильны, мы хотим победить и победим.

Голос ее звенел, и глаза блестели.

Мюллендорф сердито отошел. Буравов принялся упрекать Раису, зачем было оскорблять немецкие чувства этого человека.

Раиса не знала, чувствовать ли себя виноватою. Она робко сказала:

– Он наши русские чувства оскорблял.

Но к Буравову присоединилась, как всегда в таких случаях, Людмила. Она доказывала, что Мюллендорф – иностранец, и что к нему надо быть снисходительным. Посыпались на Раисину голову неумные речи умных людей.

Раиса наивно спрашивала:

– А они, культурные немцы, отчего же были так жестоки с русскими путешественниками и больными?

Буравов наставительно объяснял, что, если кто-нибудь делает худо, то это не значит, что и мы должны поступать худо. И вдруг, к его удивлению, Екатерина Сергеевна заступилась за Раису. Она сказала:

– Вы, Павел Дмитриевич, правы, как всегда. Но иногда мне хочется поступать худо. И теперь, когда у меня муж и сын на войне, я не хочу слушать дерзкие речи зазнавшегося германца.

Буравов хотел было развить свой принципиальный взгляд на дело, но в зале поднялась сумятица. Кому-то показалось, что где-то стреляют. Слышны были взволнованные крики:

– Смотрите, дым, – горит что-то?

– Уж не наш ли город?

– Нет, это далеко.

Все бросились посмотреть, что там делается. Как всегда, когда еще не было очевидной опасности, любопытство в толпе брало верх над страхом.

XXVI

Как только Буравов и Екатерина Сергеевна оставались вдвоем, где бы это ни было, в гостинице, в буфете вокзала, на городских улицах, они опять начинали говорить о том же. И теперь, когда в опустелом буфете только анемичная девица дремала за буфетною стойкою, Буравов тихо говорил, ласково сжимая руки Екатерины Сергеевны:

– Катя, в эти трудные минуты не мучь меня больше. Я знаю, ты меня любишь.

Она отвечала:

– Люблю! Милый, люблю! Всю жизнь любила только тебя. Но подумай, – он, мой муж, где-нибудь, может быть, близко, может быть, далеко, стоит под угрозой смерти, и в эти минуты как же я стану стремиться к счастью, думать о любви! Да ведь это было бы кощунством! Довольно и того, что я послушалась вас, друг мой, и уехала.

– Но ведь что же иное? – спросил Буравов. – Не оставаться же в городе, ждать неведомо чего!

– Теперь только о том и думаю, – говорила она, – добраться до Москвы и работать, работать. И ждать вестей о муже, о сыне. И не будем говорить об этом, прошу вас, друг мой, очень прошу!

Отчаяние и мольба были в ее голосе.

Буравов говорил:

– Мы будем работать вместе. Я не буду вам говорить о том, что вас раздражает.

– Не раздражает, – мучит, – с отчаянием говорила Екатерина Сергеевна. – Подумайте, мой Сережа, а здесь я, – ах Боже мой, Боже мой!

– Я буду надеяться, буду ждать, – сказал он.

Екатерина Сергеевна, плача, говорила:

– Может быть, нам лучше было бы в Москве расстаться, не видеться.

– Ради Бога, – в ужасе восклицал Буравов, – умоляю вас, не лишайте меня последнего утешения хотя иногда видеть вас! Клянусь вам, я не буду мучить вас.

– Да, друг мой, не будем говорить об этом.

Прошли долгие две-три минуты тягостного для обоих молчания. Обоим казалось, что жизнь разбита навсегда.

Наконец Буравов овладел собою. Он заговорил почти спокойным голосом:

– Пусть будет так, как вы хотите. Но теперь я бы хотел обратить ваше внимание на Раису. Ее шовинизм, ее возбудимость, – все это для нее самой очень вредно. Вы должны были бы повлиять на нее в этом отношении.

– Напрасно, друг мой, вы так часто ее останавливаете, – с кротким упрямством отвечала Екатерина Сергеевна. – Она откровенная, но вовсе не злая.

Буравов сказал с удивлением:

– Это ново! Вы за нее заступаетесь!

– Оставьте ее, – говорила Екатерина Сергеевна, – она ничего дурного никому не скажет и не сделает. Она простая и прямодушная, и изо всех наших детей она больше всех похожа на отца. Оставьте ее.

– Как вам угодно, – холодно сказал Буравов.

Он не привык к тому, чтобы его советы отклонялись.

## XXVII

Вернулись сестры, взволнованные и тревожные. Александра чутко взгляделась в лицо матери и Буравова. Острою жалостью наполнилось ее сердце. Она подошла к Буравову и сказала тихо:

– Мама очень беспокоится о Сереже. Я знаю, о чем вы говорили с нею.

Буравов посмотрел на нее холодно и недовольно.

– Саша, я вас не понимаю.

Но, не смущаясь его холодным тоном, Александра говорила:

– Простите, Павел Дмитриевич, мешаться в это мне не следует, но все же, прошу вас, не волнуйте ее.

– Право, это меня удивляет, – пожимая плечами, говорил Буравов.

– Простите, – сказала Александра, поспешно отходя.

Екатерина Сергеевна, целуя Раису, тихо говорила ей:

– Милая Раиса, если бы ты знала, какая пустота в душе моей!

– Мама, молись и надейся, – отвечала Раиса. – Так жутко ждать! – жаловалась Екатерина Сергеевна.

Сестры в городе наслушались новых рассказов. Людмиле казались эти рассказы совершенно невероятными. Другие две с нею не спорили, но рассказам верили.

Привезли в город по железной дороге от позиций вместе с ранеными убитого русского полковника. В городе рассказывали, что пленный офицер выхватил из кармана револьвер, когда на него не смотрели, и выстрелил в спину русскому полковнику. Убил наповал, и солдаты за это подняли его на штыки.

Не верила Людмила этим рассказам, но они заставляли ее горько плакать.

#### XXVIII

В эту ночь Раисе снились тревожные, страшные сны. Они казались ей вещими. Ведь и прежде, перед всеми значительными событиями ее жизни, ее навещали сны, которые потом странно сбывались, иногда со всеми мелкими подробностями. И даже это были не совсем сны, – в жуткие, томные минуты полубодрствования, полубреда, когда душа бывала взволнована каким-нибудь впечатлением, и когда эта взволнованность в долгой и страстной молитве объединяла всю Раисину душу в одно страстное устремление, перед нею вставали отчетливо далекие, иногда невиданные ею раньше места, проходили знаемые и неведомые люди, звучала их речь. И долго потом эти видения и слова жили в душе Раисы. Иногда она рассказывала их домашним, – не всегда. Заметив, что эти видения сбываются, она со страхом и слезами записывала их. Этот странный дневник хранила она бережно. Сначала сбываемость этих видений пугала ее, – не от врага ли рода человеческого они? Но отец Григорий и странник Никандр успокоили ее.

И вот, среди других видений, три особенно запомнились ей. Предстал пред нею ясный день на поле битвы. Место казалось знакомым, – поля и холмы северо-восточной Франции. На одном из холмов – несколько тяжелых орудий. Вдали виднелся нерусский город. Кто-то тихо, но внятно сказал Раисе:

– Это – Реймс.

Высокий прусский генерал смотрел в бинокль и говорил:

– Я вижу там что-то высокое. Оттуда они могут наблюдать за передвижением наших войск.

Толстый полковник, по-видимому баварец, отвечал:

– Это – собор, ваше превосходительство.

У генерала было надменное, сухое и злое лицо, и когда он, опустив бинокль, смотрел на баварца, его глаза казались острыми и неподвижными глазами хищной птицы. Лицо толстого баварца было красное и добродушное.

Генерал сухо кинул приказ:

– Расстрелять.

В полковнике заговорили католические чувства. Он почтительно сказал генералу:

– Древний католический собор, знаменитый своею архитектурой и очень почитаемый. Его начали строить семьсот два года тому назад. С ним связано много исторических воспоминаний.

– Вздор! Сентиментальность! – злобно закричал тощий генерал. – Я вам говорю, это что-то высокое опасно для нас. Снести.

– Будет исполнено, – отвечал полковник.

Загрохотали пушки. Все потемнело в Раисиных глазах. Опять перед нею явился тесный номер гостиницы и тихо спящая на поставленной рядом кровати Александра. В полумгле исходящей ночи видна была открытая дверь в комнату, где спали мать и Людмила. Раиса тихо встала с постели и опустилась на колени перед образом, перед зажженной ею с вечера лампадою. Вдруг сердце ее забилося и замерло, в глазах потемнело. Она закрыла лицо руками, приникла к полу, и опять иное видение предстало перед нею.

Над полем битвы низко неслись облака. Грохотали вдали пушки. Лежали раненые и убитые, русские и германцы. Слышались стоны раненых, бред умирающих. Через поле пробегали пруссаки. Их голоса звучали глухо, как закутанные дымом. Молодой, высокий лейтенант, лица которого сквозь застилавший поле легкий туман еще не видела Раиса, говорил:

– Тут много раненых русских.

Голос его звучал знакомо, и от этого стало страшно Раисе.

Другой лейтенант, с точными и отчетливыми движениями, отчетливо и картаво говорил, щеголеватыми движениями крутя усы:

– В плен не надо брать! Возиться с ними некогда.

Вытянувшись в струнку перед офицерами, толстый солдат с тупым лицом произнес так громко, точно говорил с глухими:

– Господин лейтенант, вон лежит раненый русский офицер.

Опять раздался знакомый голос первого лейтенанта:

– Докончить!

И еще страшнее был этот знакомый голос потому, что он кричал на солдата каким-то звериным зыком, и этим утяжелял и без того страшный смысл приказания. Солдат отчетливо, как неживой, повернулся к раненому русскому офицеру и с тупым и радостным лицом вонзил штык в его грудь. Раненый русский офицер со стоном умер.

Раиса почувствовала в сердце своем острие меча и застонала. Она узнала убитого, – близко, близко перед ее глазами было мертвое лицо ее брата Сергея. И убийцу узнала, – лейтенант этот был Гейнрих Шпрудель. Он подошел к убитому, нагнулся над ним, – и сердце Раисы замерло от страха и отвращения. И уже она знала, что услышит сейчас кощунственную цитату из Шиллера.

Шпрудель говорил:

– Ах, черт возьми! Не всякому дается счастье прикончить брата своей невесты.

Отвратительно вульгарно и грубо звучал его голос. Его товарищ картаво говорил:

– Да, это редкая удача.

– К счастью, – сказал Шпрудель, – русская девушка об этом не узнает. Да, «теперь святого нет уж боле». Холодный долг господствует над пламенной любовью.

Туман сгустился и рассеялся. Другое поле было перед глазами Раисы. Близ опушки темного леса, на кочковатой земле, заросшей спутанною, примятою травой, лежало несколько убитых и раненых. Среди них Раиса узнала Ельцова.

Ельцов приподнялся на локте, осмотрелся и окликнул по-немецки лежащего недалеко пруссака:

– Господин лейтенант!

Раненый немец проворчал сердито:

– О, черт возьми! Моя нога!

– Мы с вами товарищи по несчастью, – сказал Ельцов.

Пруссак скосил на него злые глаза и ворчал сквозь зубы:

– Не товарищи, а враги.

– Покурить бы, – сказал Ельцов. – Какая уж там вражда!

Пруссак с бешенством крикнул:

– Проклятый русский, вот тебе! Заткни свою глотку!

Он с трудом приподнялся на локте и выстрелил из револьвера в Ельцова. Выстрел был меток. Ельцов успел только вскрикнуть:

– О Господи! Господи!

И умер. Злой пруссак, падая в усталости, шептал:

– Вот это – настоящая война: когда уходят здоровые, сражаются раненые.

Стало темно, и холодное острие меча горело в Раисином сердце.

Александра услышала тихий стон. Она подошла тихонько к лежавшей на полу Раисе и тронула ее за плечо.

– Что, Раиса? – тихо шепнула она.

Раиса медленно поднялась. Сердце ее, пронзенное острием меча, трепетало. Раиса знала, что не заснет. Этот сон, думала она, только Александре сказать.

– Выйдем в коридор, – тихо сказала она.

Надела юбку и блузу и вышла из номера. Горел ночник, в окне в конце коридора мглистый был полусвет. Заспанная баба стояла над лестницей, собираясь мыть пол. Ряд белых дверей молчал тревожно. Раиса повернулась к вышедшей за нею Александре и почувствовала вдруг, что тревожная тишина коридора душит ее слова.

– Выйдем отсюда, – сказала она.

Прямо перед их дверью была дверь на лестницу, ведущую во двор. Александра и Раиса вышли во двор и на улицу.

Предутренний ветер свежо и влажно обвеивал их непокрытые головы. Предутренняя резкая прохлада и влажные от ранней росы камни мостовой сурово и нежно ласкали их ноги.

Сестры сели на скамью бульвара. И Раиса рассказала Александре свой сон, – про Реймс, про Сергея. Но про Ельцова еще не посмела сказать ей теперь.

XXIX

И утром автомобиль все еще не был готов. Опять тоскливо ходили по городу, встречая толпы беглецов из разоренных мест, раздавая голодным кое-какие деньги и хлеб. Несколько раз приходили на станцию, завтракать, обедать и, главное, узнавать новости.

Уже привычным становился этот буфетный зал со столиками, чемоданами, узлами, весь этот шум, смятение, множество незнакомых лиц, то радостные, то тревожные

голоса.

Разнесся слух, что подходит поезд с пленными. Говорили, что целая дивизия сдалась. Другие говорили, что батальон или что два полка. Уже знали, что среди солдат славян много, и что они совсем, как наши, а офицеры сидят злые-презлые. Говорили, что один офицер в санитаря стрелял и убил. Тот, будто бы, подошел к нему на поле после битвы, нагнулся, а пруссак в него прямо в упор выстрелил.

– Вот звери! – восклицали простодушные слушатели.

Спрашивали:

– что ему будет?

Другие, с видом знающих, отвечали:

– Известно что, – расстреляют.

XXX

Поезд пришел, и в самом деле привезли пленных пруссаков, пять офицеров и сотни полторы рядовых. Зоркая Александра, идя по платформе, увидела в окне одного вагона надменное лицо пленного офицера. Он быстро отвернулся, но она была уверена, что это – Шпрудель. Вернулась в зал. Лицо Раисы было бледное и испуганное, словно и она знала об этом. Александра отвела ее в сторону и зашептала:

– Можешь представить, я видела Гейнриха. Думаю, что не ошиблась. Он взят в плен.

– Саша, милая, не говори об этом Людмиле, – просила Раиса. – Пойми, Саша, им лучше не встречаться. Если я даже говорю неправду, то все же теперь, после всех этих ужасов...

Александра сразу поверила в Раисин сон, и тоже думала, что было бы лучше, если бы Людмила не видела Шпруделя. Она быстро глянула туда, где осталась за столиком Людмила, – хотела под каким-нибудь предлогом увести ее в город. Но Людмилы там уже не было. Сестры тревожно переглянулись.

– Надо ее поискать, – сказала Александра.

Обежали всю станцию, – нигде Людмилы не нашли. Вдруг Раиса вскрикнула:

– Саша, смотри, они уже встретились!

В кабинет начальника станции входил Шпрудель, сопровождаемый двумя солдатами с ружьями. За ним шла Людмила, и с нею молодой поручик, сопровождавший пленных. Он говорил Людмиле:

– Только на пять минут. Я беру на себя большую ответственность. Только имя вашего доблестного отца заставляет меня исполнить ваше желание.

Людмила и Александра вошли за ними. Дверь захлопнулась. Шпрудель холодно поклонился им. С выражением необычайной надменности он сказал поручику:

– Напрасно вы берете на себя эту ответственность. Заметьте, что я не давал вам слова.

Поручик спокойно ответил:

– Ну, убежать вам не удастся. Здесь солдаты.

И отошел к окну. Людмила обнимала Шпруделя и говорила:

– Гейнрих, как я рада, что ты не ранен!

– Я в отчаянии, – сухим, неприятным тоном говорил Шпрудель, – что мне пришлось встретиться с тобой в такой обстановке. Но, когда я тебе расскажу, ты увидишь, что у нас не было никакой возможности пробиться. Мы все же исполнили свой долг и сделали то, что нам было поручено.

Этот тон и эти слова раздражали Раису. Она подошла к Шпруделю и спросила:

– Шпрудель, что вы сделали с Сережей?

Людмила вздрогнула и с испугом глядела на Раису. Александра тянула ее за рукав и шептала:

– Раиса, молчи!

Шпрудель холодно и надменно глянул на Раису и сказал:

– Я не видел вашего брата, Раиса.

– Вы его убили! – кричала Раиса.

– Странное обвинение! – пожимая плечами, говорил Шпрудель. – Я сам готов был отдать свою жизнь. Дочь воина, вы имеете странное представление о войне.

Людмила заплакала. Говорила:

– Милый, не слушай ее. Эта война – такое несчастье! Мы все потеряли головы.

Шпрудель отворачивался от горящего взора Раисы. Он вспоминал рассказы о Раисиних снах, – в России он привык на все обращать внимание, – и теперь его самоуверенность колебалась холодным ужасом. Он думал, что эта взбалмошная девушка, пожалуй, и в самом деле ясновидящая. Ведь никто же не мог рассказать ей того, что случилось с ним третьего дня. Даже и его совесть была смущена воспоминанием о смерти Сергея, того славного юноши, который любил его, как любил всех, с кем встречался. Он бормотал, пожимая плечами:

– Но все же, – такие слова! «Голова должна воспитать сердце».

XXXI

На платформе слышались чьи-то крики и рыдания. Поручик подошел к двери и пропустил Екатерину Сергеевну и старуху с плачущей дочерью, которых сестры заметили еще вчера. Девушка, рыдая, кричала:

– Он! Это он!

– Кто он? – спросила Александра.

– Он, этот прусский офицер, приказал расстрелять моего отца!

– Сумасшедшая! – презрительно сказал Шпрудель.

Старуха старалась успокоить девушку.

– Пойдем, пойдем, милая! – говорила она.

Заметив, что Александра и Раиса смотрят на них с участием, она говорила им полупшепотом:

– Немцы обижали ее, ну, конечно, старик заступился, ударил немца, ну, конечно, его и расстреляли. Что делать, война, мы это понимаем, ну, а она все плачет.

– Этот самый офицер? – спросила Александра.

Старуха плача говорила:

– Этот, не этот, что тут, – старика убили, не вернешь. Торговлишка была, все сожгли, разграбили, как сами живы остались, не знаю. Что на нас, только то и осталось. И уж как только выбраться удалось, не пойму. Конечно, здесь отдохнули немного, ну, а вот девушка все плачет. Пойдем, пойдем, милая, – говорила она девушке.

Раиса спросила Шпруделя:

– Отчего же вы не скажете, правду ли говорит эта девушка?

– Я не обязан отвечать на нелепые вопросы, – со злостью сказал Шпрудель.

Людмила с ужасом смотрела на девушку, которая в отчаянии ломала руки и выкрикивала бессвязные слова. Раиса подошла к поручику.

– Уведите его. На нем слишком много русской крови, – сказала она.

Шпрудель задрожал от злости и закричал:

– О, баранья голова! Только русские могут быть так бестолковы. «Дух мужчины – разрушенье, дышит силой роковой». Прощай, Людмила, – до лучших времен.

Людмила с ужасом смотрела на него. Он поцеловал ее руку, она коснулась губами его лба. Поручик подошел к ним.

– Простите, – сказал он Раисе.

Шпруделя увели. Людмила подошла к Раисе и глядела на нее глазами, полными слез.

– Раиса, безумная Раиса, что ты ему говорила? Неужели все это правда? Что же мне, умереть?

Раиса обнимала и утешала ее нежными словами.

### XXXII

Меж тем Екатерина Сергеевна разговорилась с молодым поручиком. Оказалось, что он бывал прошлой зимой в их доме. Он с восторгом говорил о военной деятельности генерала Старградского и о той популярности, которую уже окружено его имя. Екатерина Сергеевна молодо краснела от гордости. Она спросила:

– Вам с пленными, должно быть, много хлопот? Неприятная обязанность.

Поручик махнул рукою и сказал:

– Да уж и не говорите! Жалуются, что их посадили в вагон третьего класса! Так шумели. А во второй или первый класс посадить не было никакой возможности! Вагонов нет, надо раненых офицеров поместить. Так теперь они требуют себе шампанского! Мы, говорят, офицеры, нам полагается. Можете представить!

– Дайте им пива, – улыбаясь сказала Екатерина Сергеевна.

– Нет, им подали чай. Вина и пива они не получают.

Видно было, что молодой человек очень раздражен заносчивостью пруссаков. Раиса, вслушавшись в разговор, спросила:

– Вы слышали, что здесь говорила эта девушка? Ее отца убили за то, что он за нее заступился. Это ужасно! И если преступник в ваших руках...

– Да, ее спросят, – сказал поручик. – Только ее мать едва ли признает офицера. Вы знаете, русские слишком мягкосердечны. Они предпочитают прощать.

Раиса склонила голову. Вдруг ей стало стыдно, что она с такою нетерпимостью говорила со Шпруделем. Она подумала: «Да, может быть, так и надо. Бог рассудит».

### XXXIII

Кое-как добрались наконец до Москвы. Москва была полна заботами о раненых, – и Старградские, все четверо, и Буравов пристроились немедленно в попечительства и лазареты. Дни их были наполнены тяжелой, хлопотливой деятельностью.

Скоро пришло известие о том, что Ельцов и Сережа убиты в одном и том же сражении. Как описать чувства матери, жены, сестер? Их высокую скорбь, их святые слезы почтим благоговейным молчанием. В скорби своей и в слезах он были не одиноки. Труд развлекал и почти утешал их.

И еще было им утешение, – быстро возраставшая воинская слава генерала



Повести и рассказы. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru  
Старградского. Он был неутомим и бесстрашен. Вражеские авиаторы не однажды выслеживали его, не раз были пробиты осколками снарядов стенки его вездe успевавшего автомобиля, но Бог хранил его во всех опасностях. Солдаты почитали его за храбрость и любили за его простоту, доступность и неустанное попечение о их нуждах. Они слепо верили ему и знали, что имя его неразлучно с победою.

Александр утешал ее сын. Он был еще очень мал, но она думала, что вырастит его сильным и мужественным человеком. Раиса, видя, что она довольно спокойна, решила рассказать ей конец своего сна.

Тяжелее всех было Людмиле. Она узнала, где Шпрудель, писала ему, получила несколько писем. Письма его были напыщенно-нежны и почему-то больно ранили ее душу.

С сестрами и с матерью Людмила никогда не говорила о Шпруделе. Когда мать заговаривала о нем, Людмила багряно краснела, молчала или заговаривала о другом, или под каким-нибудь предлогом выходила из комнаты.

Мать думала, что Людмиле тяжело говорить о Шпруделе. Он сражался против нашего войска, и Людмила все-таки любила его. Какую печалью должно было томиться ее сердце!

Потом она стала внимательнее присматриваться к Людмиле. Какая-то значительная перемена совершилась в этой девушке. Ее суждения уже не были так уверенны и решительны. Совершенно несвойственная ей раньше мягкость была разлита в ее словах и движениях. И особенно две черты удивляли и радовали мать: Людмила сдружилась с Раисою, с которою прежде обращалась несколько свысока; и, может быть, в связи с этою дружбою, Людмила начала читать книги о религиозных вопросах и стала почти так же набожна, как и молитвенная Раиса. И уже не улыбалась ее заботам о лампадках перед образами.

XXXIV

Однажды вечером мать и Александра остались дома одни. Александра сидела у себя, смотрела на портрет мужа и плакала.

Мать стукнула в ее дверь.

– Саша, можно посидеть с тобою?

– Пожалуйста, милая мама.

Мать села рядом с нею и гладила ее по голове. Александра тихо говорила:

– Милого моего убили. Но, впрочем, зачем же я это говорю! Я хочу быть со всеми, радоваться и печалиться с моим народом вместе. В душе моей не только печаль, но и гордость.

– Саша, у тебя есть ребенок, – сказала мать.

Александра улыбнулась сквозь слезы, и лицо у нее просветлело. Она сказала:

– Я буду говорить ему об его отце. И когда он спросит, как отец был убит, неужели слова ненависти будут в этом рассказе!

– Он убит в бою. Кого же ненавидеть? – со строгою ласковостью спросила мать. – Или ты веришь Раисиним снам?

– Вещий сон, – говорила Александра. – Знаю, что нелепо верить снам, но Раисину сну верю. И подумай, мама, какой ужас в том, что это сделал Гейнрих Шпрудель! Какая тяжесть на сердце у бедной Людмилы!

Екатерина Сергеевна сказала со страхом:

– Ужасно! Но это – неправда.

– Спросить бы его самого, – говорила Александра, – да не ответит. Слушай, мама, я тебе признаюсь. Может быть, это глупо, но я писала Шпруделю, спрашивала его, что он знает о смерти нашего Сергея. Он мне ничего не ответил.

– Может быть, письмо не дошло? – сказала мать.

– Не знаю. Нет, спросить бы его лицом к лицу. И знаешь, мама, мы его скоро увидим. Раиса сказала мне.

– Опять вещей сон?

– Она предчувствует, что мы увидим скоро и Шпрудея, и Уэллера. Но ты подумай, мама, Людмила стала так нежна с Раисой! Подумай, Людмила и Раиса, – «огонь и лед, вода и пламень не столь различны меж собой!» Значит, есть какая-то внутренняя убедительность в Раисином сне.

– Нет, нет, Александра, не говори так. Этого не может быть, – со страхом сказала мать.

– Мама, ты могла бы сказать, что этого не было. Но что этого не могло быть, – о, нет! Мы знаем, что они добивали раненых, даже своих тяжело раненых.

Екатерина Сергеевна печально говорила:

– О Боже мой, что делает война! Неужели еще долго не заживут эти раны, не успокоится эта злость? Неужели опять вспыхнет вражда между племенами?

– Не думай, мама, – сказала Александра, – что в душе моей ненависть. Верь, что в отчаянии моем есть великий свет. Во мне – душа простой русской женщины, и я чувствую в себе силу прощать. Нас много осиротелых, во многих семьях носят траур, но я верю, что эти безмерные жертвы не напрасны. В душе моей отчаяние, но и светлая надежда.

– Милая, милая! Благослови тебя Господь! – плача говорила мать.

XXXV

И этот вещий Раисин сон начал сбываться. Однажды утром, когда мать и три дочери сидели за завтраком, они были удивлены неожиданным посещением Шпруделя.

Он был худ и зелен. Глаза его горели беспокойно. Былая самоуверенность сменилась суетливостью и беспокойною говорливостью.

Он рассказывал о том, как ему удалось добиться отпуска в Москву.

– Этот ужасный захолустный город, где нас держали, доводил меня до бешенства. Я долго добивался, чтобы мне разрешили сюда приехать, – наконец позволили. Дали в провожатые славного русского пехотинца и разрешили пробыть здесь четыре дня для устройства своих дел. «О, как прекрасен день, когда солдат вновь наконец вернуться может к жизни, в среду людей!» Надеюсь, Людмила, ты сказала твоим родителям, что я тебя люблю? Я затем и приехал, чтобы выяснить наконец отношение твоей семьи к нашей любви.

Людмила опустила глаза. Лицо ее было холодно и печально. Словно думая о чем-то другом, она спросила:

– После войны ты опять будешь служить в России?

– Нет, с меня довольно, – высокомерно отвечал Шпрудель. – Ты поедешь со мною в Германию. «Если боги счастливы любовью, то и мы любовью равны богам. Счастлив тот, чей дом украшен скромной верностью жены».

Людмила, очень бледная, подняла глаза на Шпруделя и сказала тихо:

– Гейнрих, я не могу ехать с тобою в Германию.

– Почему ты не можешь? – с удивлением спросил Шпрудель.

Людмила опять опустила глаза. Едва слышен был ее голос:

– Гейнрих, разве ты думаешь, что между нами ничто не стоит?

Повести и рассказы. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru  
С раздражающе механичностью Шпрудель бросил свою очередную цитату:

– «Быть на земле сопутницей супруга есть жребий женщины».

Не было такого случая в жизни, на который Шпрудель не нашел бы подходящей цитаты у Шиллера.

Раиса, вдруг зардевшись багряно, спросила высокочвещающим голосом:

– Гейнрих, вы нам еще не рассказали о смерти Сергея. В ваших письмах не было об этом ни слова.

Шпрудель пожал плечами. Глаза его забегали по сторонам, словно избегая Раисиних глаз. Он опустил голову и сказал притворно-печальным голосом:

– Не могу сказать вам, как мне его было жаль. «Ах, он слишком молод для могилы!»

– При вас его убили? – спрашивала Раиса.

Шпрудель глухим голосом отвечал:

– Солдат штыком. Да, я видел. Я не мог остановить.

– Но он уже лежал? – спросила Раиса, пристально глядя на Шпруделя.

Шпрудель сам себе дивился, не понимая, какая сила заставляет его говорить. Ведь гораздо спокойнее было бы сказать, что он ничего не знает о смерти Сергея. Но уж раз проговорился, трудно было остановиться. Он говорил, словно против воли:

– Да, он уже был ранен.

Людмила сказала упавшим голосом:

– Оставь, Раиса. Что же он мог? Жестокости войны не от него. Он только исполнял свой долг.

– Но и у тебя есть долг, – настойчиво сказала Раиса.

Людмила бросила на нее быстрый взгляд и улыбнулась.

– Я это знаю. Я этого не забуду.

– «Сердцу высокому и самый тяжелый долг покажется нетрудным», – процитировал Шпрудель.

Раиса гневно говорила:

– О, не это – долг воина, чтобы добивать раненых.

Шпрудель смотрел на нее угрюмо и злобно. Александра заговорила осторожно:

– Простите, Гейнрих, но ведь вы можете успокоить нас одним словом. Можете ли вы сказать, что не по вашему приказу убит Сережа? Вы не ответили мне на этот вопрос, когда я вам писала. Но ведь мое письмо вы получили?

Шпрудель угрюмо молчал. Александра продолжала спрашивать:

– Был ли хоть один случай, что вы приказывали добить раненых?

– Станный вопрос! – угрюмо и презрительно говорил Шпрудель. – Я исполнял мой воинский долг. «Нравственный долг должен быть нарушен, чтобы уступить место долгу более высокому и более широкому». Дружба склоняется перед любовью к родине.

Людмила поднялась с места и в ужасе, вся дрожа, смотрела на Шпруделя.

– Так это – правда? Вы убили? – воскликнула она.

Шпрудель говорил напыщенным тоном:

– Иногда убивают из милосердия, чтобы прекратить страдания. «Смерть страшна для тебя? Ты хочешь быть вечно бессмертным? В целом живи: ты умрешь, целое ж все будет жить».

– Гейнрих! – плача и ломая руки, говорила Людмила. – Ты говоришь так холодно. И то, что ты говоришь, так ужасно! Подумай, Гейнрих, мы говорим с тобою о том, что очень значительно в нашей жизни. Ты сражался против моей родины, но за это никто из нас тебя не упрекнет, – тебя послали. Но вот мы спрашиваем тебя о том, как умер Сергей, – и вместо простого и ясного ответа мы слышим от тебя уклончивые речи. Подумай, о чем мы тебя спрашиваем? Кто ты, – воин или убийца? Ты должен отвечать! Ты мог встретиться на поле битвы с нашим братом и убить его, – это было бы для нас большое горе, но в этом не было бы твоей вины. Но правда ли, что Сергей был убит после боя?

– Не я его убил, – угрюмо сказал Шпрудель.

– Ты не должен, ты не смеешь так говорить! – закричала Людмила. – Зачем ты сюда пришел? Ты пришел за мною, – и ты должен мне отвечать, когда я тебя спрашиваю о смерти моего брата.

– Я его не убивал, – был холодный ответ.

– Ты не говоришь, ты не смеешь говорить правды. Кровь брата моего на твоей совести.

– Людмила, твой брат убит не мною.

– Довольно. Я – русская. Я останусь здесь. Я не буду вашей женою.

Мать порывисто обняла ее.

– Так, Людмила, хорошо! Отец будет рад.

Шпрудель встал со своего кресла и надменно выпрямился.

– Вы отказываете побежденному? И в такой резкой форме? А я верил, что «женские души отзывчиво юны», и «светлая надежда у меня цвела в душе!»

Людмила смотрела на него мрачно горящими глазами и говорила:

– Я думала, что вы – рыцарь. Я ошиблась. Прощайте.

Надменное лицо Шпруделя побагровело и стало злым. Теряя самообладание, он закричал:

– Нет, я так не уйду! Никто не смеет сказать, что германец – не рыцарь. Вы должны взять ваши слова назад. Я вас заставлю!

Словно зараженная его бешенством, Раиса почувствовала в себе один из тех припадков раздражения, за которые потом так осуждала себя и в которых так горько каялась, простаивая часами на коленях перед образом. Она закричала, наступая на Шпруделя и топая ногами:

– Вы могли бы вызвать на дуэль нашего брата или Ельцова, – но они убиты. Они убиты, но если хотите, я умею стрелять.

Александра обняла Раису и отвела ее в сторону. Невольно улыбаясь забавному выражению гнева на кротком Раисином лице, она сказала ей:

– Раиса, что скажет старец Никандр?

Шпрудель говорил презрительно:

– Если бы передо мною был мужчина, то я и жизни не пожалел бы, чтобы выиграть ставку. Но это было бы смешно – драться с женщинами!

Раиса, не помня себя, вырывалась из рук Александры и кричала:

– Если бы вы меня убили, я была бы не первая женщина, убитая германскими войсками.

– Оставь, Раиса, – строго сказала Людмила. – Это – мое дело. Господин Шпрудель, вы сказали, что заставите меня взять мои слова обратно. Как же вы это сделаете? Я их обратно не беру, мне жаль, что я ошиблась, но я все же скажу, – вы, может быть, очень храбры, сильны, воинственны, но вы не доблестны, вы не рыцарь. Вы разрушали соборы и библиотеки, вы убивали женщин и детей, мне жаль, что я говорю это вам, безоружному. Но вот рядом с вами в ящике стола два револьвера...

Мать вскрикнула в ужасе:

– Людмила, ради Бога!

Раиса неистовым движением оттолкнула Александру и бросилась к столу.

– Нет, Людмила, – кричала она, – один из этих револьверов – мне, ты его слишком любила, ты промахнешься.

Она порывисто выдвинула ящик стола, достала два револьвера и один из них протянула Шпруделю. Шпрудель презрительно засмеялся.

– Благочестивая Раиса, ни в вас, ни в себя я не буду стрелять. Я должен жить для Германии. Прощайте.

Он поспешно ушел. Раиса заплакала и упала на колени перед матерью.

XXXVI

Людмила плакала. Александра подошла к ней и тихо утешала ее. Она говорила:

– Мы можем плакать. Наши слезы нас не обессилят. Наше горе превратится в радость. Мы будем жить, работать, надеяться. Если не для себя, то для других, для многих.

– Милые дочери, – сказала мать, – я завидую вашему горю. Мой избыток счастья...

Она не кончила и заплакала. Раиса подняла голову и, все еще стоя на коленях, смотрела на мать. Ее голос звучал нежно и повелительно, когда она говорила:

– Мама, ты будешь верна.

Екатерина Сергеевна грустно улыбнулась.

– Дитя мое, ты хочешь, чтобы я повторила слова пушкинской Татьяны: «Но я другому отдана, и буду век ему верна». Да уж не знаю, буду ли я хорошою актрисой для этой роли?

Все с тою же настоятельностью говорила Раиса:

– Отец скоро придет к нам. Что же тогда ты, мама? Развяжешь или свяжешь?

Мать повторила тихо и задумчиво:

– «И буду век ему верна!»

Тоскуя и плача, говорила она:

– Сердце мое! Сердце мое! Воскресни, печаль моя светлая!

Раиса утешала ее:

– Сердце твое бьется в надежде воскресения! В эти дни над нашими головами зажигаются венцы великих надежд.

XXXVII

В этот день утром Екатерина Сергеевна получила письмо от Буравого. Знакомый

Повести и рассказы. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru  
почерк на конверте взволновал ее необычайно: ведь они встречались каждый день или где-нибудь на работе, или он приходил к обеду, или вечером, – зачем же письмо? Значит, что-то необычное.

Он писал, что ему необходимо поговорить с нею окончательно, что неопределенное положение тяготит его. С трогательным красноречием он напоминал ей первые дни их юной любви, умолял вернуться к нему и покончить навсегда с уже ни на что ненужною ложью жизни. Он просил назначить ему время, когда они могли бы поговорить наедине.

И вот вечером они сидели вдвоем и говорили, – все о том же, о безнадежном. Свет электрической лампочки под малиновым колпаком оставлял гостиную в полумраке, озаряя только узкий круг у дивана и их бледные, трепетные руки. Угли в камине слабо тлели, вея легким жаром на их лица.

– Нет, – сказала она, – как же я оставлю тот дом, который мы с ним вместе создавали? Война окончится победою, он вернется гордый и радостный, – и что же его встретит? Нанести ему такой удар в его торжественный день! Отравить радость победителя!

– Но ты его не любишь! – сказал он.

Самые сокровенные глубины своей души пыталась она, – что в ней? Любовь? Отвращение? Привычка? Равнодушие? И верное сердце говорило ей, что ее с мужем соединила не мечта любви, а непобедимая любовь к жизни. Эту жизнь они создали, как умели, она ли ее разрушит? Мечта любви, что же она? Им, соединенным жизнью, надо быть вместе, до гроба быть вместе!

Томя и тревожа, но не побеждая, звучали в ее душе слова ее старого друга. Любовь, любовь, подавленная когда-то, отчего же ты теперь не восстанешь и не победишь?

Он говорил настойчиво и трогательно:

– Катя, я спрашиваю тебя в последний раз. Подумай, в последний раз в нашей жизни. С кем ты хочешь быть, с ним или со мною?

И уже как будто «то в высшем решено совете, то воля Неба», – не думая, почти не слыша себя, не зная, что скажет, как покорная иной воле, она сказала:

– С ним.

И так решителен был звук ее голоса, что Буравов почувствовал вдруг все бессилие свое. Любовь, любовь, как можешь ты перейти в такое жалкое бессилие?

Но все еще не веря печальной правде, он спросил:

– Ты твердо решила?

И она отвечала:

– Твердо решила. Прости, милый, милый, – иначе я не могу.

Буравов молча сжал ее руку и смотрел ей в глаза. Она заплакала. Он тихо поцеловал ее, – в последний раз, поцелуем нежным, но холодным и безрадостным, – и ушел.

XXXVIII

Раиса была обрадована, – и второе ее предчувствие сбылось. Уэллер, легко раненый в руку, был привезен в Москву. Старградские решили взять его из лазарета к себе, и Раиса поехала за ним.

Уэллер был все такой же спокойный и сдержанный. Но блеск его глаз выдавал Раисе, что он рад и счастлив. Они сидели в быстро мчавшемся автомобиле, говорили о чем попало и улыбались друг другу. Когда уже автомобиль останавливался перед подъездом, Уэллер тихо и быстро спросил:

– Что вы теперь мне скажете, Раиса?

Раиса вспыхнула и ответила так же тихо и торопливо:

– Теперь да. Теперь вы нам не чужой.

Уэллер крепко сжал ее руку.

– И я смею сказать: ты – моя?

– Твоя, завоеванная тобою.

– Мы пойдем помолимся вместе?

– Да, помолимся, – улыбаясь, отвечала Раиса.

XXXIX

Через два дня после первого посещения Шпруделя он появился вторично. Кончая обед, сидели в столовой, когда горничная сказала, что пришел господин Шпрудель. Людмила побледнела, Раиса вскрикнула:

– Опять!

Уэллер начал было:

– Позвольте мне...

Но Екатерина Сергеевна сказала горничной:

– Просите в гостиную.

Когда горничная вышла, Александра спокойно сказала:

– Конечно, надо его принять. Но это будет последний раз.

Шпрудель, еще более худой и зеленый, вошел в гостиную. Там никого еще не было. За закрытой дверью слышны были голоса. Шпрудель подошел к столу, стоявшему у окна, тихо выдвинул ящик, вынул револьвер и спрятал его в карман. Потом он стал ходить по комнате. Ждать ему пришлось недолго, – дверь открылась, вышли сестры и мать, и Шпрудель был очень удивлен, когда увидел за ними высокую и флегматичную фигуру Уэллера с левою рукою на черной перевязке.

Шпрудель церемонно поклонился всем и, не садясь на указанное ему кресло, заговорил:

– Понимаю всю неловкость моего возвращения после того, что здесь было. Но я люблю вас, Людмила, и мне тяжело расстаться с вами так. Вы меня спрашивали, я пытался уклониться от ответа. Я подумал и решил рассказать вам. Слушайте и судите сами. Вечером после битвы я проходил, исполняя возложенное на меня поручение, по проселочной дороге. Со мною было несколько соадат. По сторонам дороги было много убитых. Наши санитары убирали раненых. Вдруг мы услышали револьверный выстрел и мимо уха моего прожужжала пуля.

Все это Шпрудель рассказывал сухим и монотонным голосом, словно отвечая заученный урок. Впечатление неправды и неискренности его слов было так велико, что Людмила чувствовала, как ее щеки горят от стыда.

Меж тем Раиса тихо подошла к столу, выдвинула ящик, – так, одного из двух револьверов нет. Она шепнула Уэллеру:

– Ричард, не спускай с него глаз, – у него в кармане револьвер.

Уэллер молча кивнул головою.

Шпрудель продолжал свой лживый рассказ:

– Стрелял раненый русский. Мои солдаты были возмущены предательским выстрелом. Один из них бросился к стрелявшему. Я крикнул: «Стой!» Но усердный солдат уже окончил свое дело, и когда я подошел, он вынимал свой штык из тела убитого. Я

Повести и рассказы. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru  
наклонился и к великому ужасу моему узнал вашего брата. Я был потрясен до глубины моей души. Все это совершилось так быстро.

– И это был Сергей? – спросила Людмила. – И он стрелял в вас? Раненый, лежа на земле, он выстрелил вам в спину?

– Да, – отвечал Шпрудель, – я же вам говорю.

– Вы лжете! – закричала Александра.

Людмила подошла к Шпруделю. Глаза ее горели ненавистью и презрением, когда она говорила:

– О нашем брате, с которым мы вместе выросли, чистую душу которого мы так знаем, вы говорите нам эту ложь! О, господин лейтенант, до этой минуты в моем сердце было еще сожаление о невозвратном, теперь я вас презираю. Вы – подлый и жестокий!

Лицо Шпруделя исказилось отвратительной гримасой злости. Он закричал неистовым голосом:

– Так умри же, мечтательная дура!

Выхватил из кармана револьвер и выстрелил в Людмилу, целя ей в грудь. Но Раиса и Уэллер во время бросились к нему. Уэллер ударил его здоровой рукой по руке, и пуля ударила в пол. Револьвер выпал из рук Шпруделя. Раиса быстро нагнулась и подняла револьвер. Уэллер крепко держал Шпруделя за руку, но Шпрудель и не думал сопротивляться. Он стоял, опустив голову, и мрачно озирался исподлобья. Уэллер сказал:

– Екатерина Сергеевна, надо послать девушку за людьми.

Горничная прибежала на звук выстрела и с испуганным лицом стояла в дверях.

Раиса сказала решительно:

– Нет, мама, никого не надо звать. Этот человек сделал все злое, что мог. Теперь он, как змея, лишённая жала.

– Да, отпустите его, – презрительно сказала Людмила.

Уэллер выпустил руку Шпруделя. Шпрудель поднял голову и смотрел на всех злобно и недоверчиво.

– Какое странное великодушие! – хриплым голосом бормотал он. – Я хотел вас убить, отчего же вы не тащите меня в суд?

Екатерина Сергеевна подошла к нему и сказала:

– Моя дочь вас прощает. Прощайте, господин Шпрудель.

Шпрудель злобно усмехнулся, тяжелым взором окинул всех и медленно вышел.

– Ну вот и кончилось! Ну вот и кончилось! – повторяла бледная Людмила, смеясь и плача.

Лазурь  
Фантазия

В небе много, бесконечно много чистой лазури, ясной синевы, бездонной голубизны, нежной, глубокой, переливной, сияющей многотонным богатством оттенков от самого глубокого синего, таинственного, бархатно-темного, до самого легкого, светлого, прозрачного, пронизанного всеми сияниями дня, почти впадающего в белый, в молочную или опаловую синеву. Вся бирюза мира растворена в безгранном великолепии небосвода, все милые голубые незабудки всех земных низин, покорно умирая, возносят к небесам свою наивную синь, все фиалки, страстно и благоуханно увядая, вливают в этот высокий, безбрежный океан свои фиолетовые души. Не потому ли так майская сирень спешит цвести, изливает аромат и вянуть, чтобы свою окраску перелить в небеса. Еще только голубоватые в апреле и уже так усилившие



свою синеву к дням зенитного солнца? Если есть в глазах человека синева и голубое, то это лишь потому, что в душе его есть мечта и радость о нашем земном небе, которое раскрыло над нами свою безмерную чашу, полную тихими призраками скромных синих лобелий, за свою малость на земле и за неутомимость своих цветений, прославленных высокими сферами небес. Когда взор купается в голубиной чистоте небес, только непорочные мечтания скользят в душе, одетые голубыми пламенами, веемыми эдемским сладким ветром, ангелы, летящие в торжественном храме небес на аквамариновых и сапфировых крыльях. Тверже лазоревой эмали, пламеннее синих огней угара, прозрачнее голубых речных струй и волн морских просторы небосклона. Когда умрут багровые огни заката и погаснут зеленовато-синие дыхания вечерней зари, приходит ночь в лиловом плаще, и на лиловом звезды, и от их яркости еще глубже и торжественнее глубокая синева. Смотрите, смотрите чаще в небеса, и днем, и ночью, и в обе зари, всматривайтесь в бесчисленные оттенки голубого, в эти тона простодушной голубики, махровой дельфинии, голубой сеслерии, агератума, лазоревой котинги, и ликены, и полевых васильков, и колокольчиков, и гелиотропа, и синеньких цветочков льна, голубиной шейки, перышек колибри, варакушки и лазоревки, крыльев тяжелого ворона и легкой ванессы, темно-синего магнитного железняка, синей руды свинцовой, синего кобальта и кармина, смальтовых камешков, синих гончарных глин, обожженных шестью огнями по небу, смотрите, как и самые тучи пронизаны небесною голубизною. Смотрите, какую голубую хвалу поют небеса Сидящему на многопламенном престоле славы в венке из голубых лилий!

#### Гневный лик

Небольшой дом на лесистом холме над быстрою речкою Стремою, за которую красивы были широко развернутые дали, стоял поодаль от главных зданий монастырских, и виден был только из окон настоятельских покоев. В этом доме жил недавно из мира пришедший строгоокий живописец Аркадий Алексеевич Полочанин. С ним вместе, служка и ученик, жил вихрасто-рыжий огнеглазый мальчишка. Звали его Дмитрием. Пришел он издалека, почти в одно время с Полочаниным, и прижился к монастырю. О своем прошлом он не любил говорить. Бывает, – короткое, но тяжелое.

Полочанин, еще здесь, у нас в миру, одно время обратил на себя внимание знатоков и любителей искусства буйно-радостною яркостью колорита и строгою отчетливостью и верностью дерзкого рисунка. Да не сумел влюбиться до конца в одно только искусство, – полюбил женщину, очаровательную, как все любимые и влюбленные.

Но пришел его черный день, – снежно-белая, карминногубая, семиамбровую смесью благоухающая подруга изменила ему. Она предала свои уста и свое тело, уста пылающие и тело из белого пламени свитое, другому.

Что ж измена! Не думать, забыть, отойти подальше.

«Откачнись, тоска, косматое чудовище!»

Он и сам откачнулся, откачнулся от той жизни с ее сладостями, бежал далеко, за высокие монастырские стены, простер свое отчаяние почти до пострига. Но почему-то удержался, пострига не принял, и даже стал жить не вместе с монахами, поодаль от их келий. Длинными ночами осенними, сквозь брызги заунывно лепечущего дождя только и видел он в монастыре поздний огонь у игумена, когда старого человека томила бессонница.

Полочанин и там живописи не бросил, но соблазнительную яркость красок притушил, – писал лики благостные и очи ясные, иконы для монастыря и для других церквей.

Дмитрий помогал ему и сам учился. Рисовал углем и карандашом, краски тер и смешивал, холст подмалевывал. Был он способен, но тороплив и суетлив. Порою убегал куда-то, правда, ненадолго. И потому в искусстве живописи он еще далеко не двинулся.

Шел Дмитрию четырнадцатый год, а Полочанину сороковой, – роковой.

Сердце живописца билось, как будто и успокоено, – что ж, ведь все забыто! Но все же билось оно иногда с перебоями. И так билось оно порою, словно кто-то осторожно возьмет это сердце в руку и вдруг сожмет. Сжимает и смеется.

Да все же это ничего, скоро проходило. Тишина и молитва сторожили покой души. Жизнь текла мирная и спокойная, хотя и долетали тревожные вести о житейских

Повести и рассказы. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru  
бурях, о боях кровопролитных.

Лики изображаемых Полочаниным святых были всегда ясны и благостны. И последняя икона, написанная Полочаниным, была такою же: Христос, перед которым молились и плакали вдовы убитых и жены живых воинов, глядел неизменно благостными очами на их безмерную скорбь.

Не обещал он с милым встреч, но утешал восторгом слез.

Однажды под вечер позднею осенью позван был Аркадий Полочанин к игумену и вернулся от него смущенный и очень озабоченный чем-то. Понурился, долго ходил он взад и вперед по белоберезовым половицам комнаты, что была ему и за мастерскую, и за столовую. Напевал тихо:

– О тебе радуется, Благодатная, всякая тварь.

Дмитрий долго смотрел на него и наконец спросил с грубоватым участием:

– Или что неладно, Аркадий Алексеевич!

Полочанин удивленно посмотрел на Дмитрия. Лицо мальчика было в тени, и только космы его волос золотились светом стоявшей за его спиною лампы. Дмитрий сказал:

– Что-то вы больно задумчивы пришли от отца игумена.

Полочанин подумал, усмехнулся невесело.

– Да вот не знаю, – сказал он, – смогу ли я это сделать. Благословил меня отец игумен икону написать Божией Матери Нечаянной Радости.

– Что ж, и напишите, – тихо сказал Дмитрий.

Какое-то злорадство почудилось Полочанину в звуке тихих и рассудительных слов. Мальчик стоял совсем прямо и недвижно, лица его не было видно, и только волосы пламенели, просвечивая скрытый свет.

Словно отвечая искушающему, говорил Полочанин:

– Кровь льется, войне конца не видать, – какая же нам радость! И как же я напишу светлый лик Приснодевы обрадованной?

Дмитрий повернулся, прибрать что-то на столе. Его слишком румяные губы улыбались, и в глазах перебежали красные искорки.

Не лежало сердце Полочанина к тому, чтобы писать лик Обрадованной, но нельзя было отказаться от этого заказа, – уже очень настоятельно просил старый игумен, и Полочанин обещал исполнить это. Ах, ведь и ее сердце было пронзено мечами лютой печали, – но восторгает и радуется прибегающих к ней усердно!

На следующее же утро Полочанин прилежно принялся за работу. Рука его была робка, и мысли рассеянны. Лик Богоматери он едва наметил, и пока еще больше работал над околичностями. Теплые тона алой одежды веселили Полочанина.

Понемногу Полочанин становился увереннее и сильнее духом. Лик Девы обрадованной и радующей все явственнее и тверже выступал на полотне. И скоро благостно улыбнулась художнику с холста обрадованная Дева, и сердце его возликовало.

– О, непорочная, злочестивый Иуда предал Твоего Сына, и к высокому древу пригвождено пречистое тело, – чему же Ты радуешься?

– В третий день воскреснет и восстанет из темного гроба. Вся печаль моя растворена в слезах, и муки сердца моего занялись пламенем восторга.

– О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь!

И льются из глаз счастливые слезы. На устах молитва.

Но подошел рыжий мальчишка, улыбается, и улыбка его недобрая.

– Что скажешь, Дмитрий?

Дмитрий отвечал:

– Хотели Владычицу небесную написать, а написали земную радость.

Полочанин испугался, всмотрелся в икону. Да, радость была на снежно-белом и ало-зарном девственном лице с карминно-алыми устами, но не было возносящего над землей восторга. Только радость, не сплетенная с высокою печалью, не разоженная ею, не сораспята с мукою крестною.

Полочанин отошел от иконы.

– Да, – сказал он Дмитрию, – ты говоришь правду. Еще не кончена икона, еще много надо поработать.

И он молился и работал.

Иногда опять казалось ему, что уже окончена работа, и радуется благодный лик восторгами, пронесенными сквозь муки. Но опять приходил рыжий мальчишка, говорил недобрые слова, – и снова омрачалось изображение Девы грубым румянцем земной радости. И с ужасом думал Полочанин, что лик Девы сходен с лицом земной красавицы, с образом той, от которой он бежал.

Допела осень все свои заунывные песни, выплакала все свои холодные слезы. Выпал снег, побежали по двору вновь протоптанные дорожки, застыли стекла окон. В морозном воздухе зимних ночей часто видел живописец, подходя к окну, огонь в окне настоятельских покоев.

Долги зимние ночи, коротки зимние дни. В свете вечерней лампы светел и радостен был лик Девственницы. Ты ли это, светлый, утешающий лик?

А игумен торопил. Он хотел, чтобы художник кончил свою работу к празднику Божией Матери Нечаянной Радости, к 9 декабря. Что дольше время шло, то все больше беспокоился игумен. Наконец в декабре, когда уже оставалось до срока всего дня два, он сам пришел к Полочанину.

– Покажи, что у тебя сделано.

Сел перед неоконченною иконою, смотрел очень внимательно. Покачивал головою. Видно было, что приводит его нечто в недоумение, но не умел сказать, в чем дело.

Наконец промолвил:

– Дал Господь тебе большой талант.

Кто-то сказал тихо:

– Где талант, там и искуситель.

Игумен нахмурился, оглянулся. Рыжий мальчишка стоял у дверей. Глаза его на миг пламенно сверкнули и опять спрятались за густую сень длинных ресниц, и голова была смиренно опущена.

Игумен опять обратился к иконе.

– Уже и не знаю, что сказать, – тихо говорил он. – По-моему, ничего ни прибавить, ни убавить нельзя. Только вот бы здесь.

И он осторожным движением руки указал на пречистые уста, но не нашел слова. И увидел Полочанин, что уста улыбаются слишком сладостно. Земная сладость, которую надобно погасить.

– Понимаю, отец игумен, – сказал Полочанин.

Игумен ушел.

– Друг мой, – сказал художник Дмитрию, – иногда и помолчать не мешает.

Дмитрий угрюмо молчал.

Полочанин омокнул кисть в киноварь и наверху иконы четкою, тонкою вязью вывел утешные слова:

«О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь».

Знал теперь отчетливо, что следует сделать с изображенным ликом, – успокоить улыбку чистых уст, углубить взор ясных очей. Но уже было поздно, темно.

«Докончу завтра», – подумал Полочанин.

Темна и сурова зимняя ночь. Воет вьюга за окном, наводит тоску, сны тяжелые нагоняет.

В эту ночь не раз просыпался Полочанин. Чьи-то тяжелые вздохи слышались ему в ночной тишине и чей-то укоризненный шепот.

Только под утро заснул он крепко. Перед тем, как проснуться, почудилось ему, что коварный искуситель проник к пречистому образу и окутал его дымным пламенем. Пламенные кудри взвеялись, тихие шаги послышались, заслонилось чьим-то прохождением мерцание догорающей ночной лампы.

Полочанин испуганно вскочил с постели. Он чувствовал, как больно бьется его сердце.

Подходя к иконе, он шептал молитвенно и трепетно:

– О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь.

Молитвенно склонился он перед нею. И вдруг услышал лукавые слова, тихим сказанным голосом:

– Что же ей молиться, – еще не освящена! Простая картина.

Полочанин оглянулся. Дмитрий стоял за его спиной и улыбался.

Полочанин поднялся. Тусклый свет раннего утра лениво и скупно вливался в зальдившееся всеми своими стеклами окно. При этом неясном свете Полочанин тревожно всматривался в изображение Девы. Но что же это? Голова его кружилась. Ему стало страшно.

Там, где вчера были начертаны им слова, шла от края до края красная, кроя кровью рудую начертание слов, полоса. И что же уста Приснодевы? Сурово сжаты, не хотят молвить благостного слова. И что же ясные очи? Пламенем пылают, гневные, и словно затаились в их глубине бездонной багровые огни неугасимого гнева.

Полочанин схватился руками за голову. Лихорадочные огни пробежали по его телу. Он отшатнулся от изображения и повернулся к Дмитрию.

Под пристальным, тяжелым взором художника рыжий мальчишка опустил глаза.

– Что же это такое? – гневно спросил Полочанин.

Дмитрий угрюмо сказал:

– Где святое, там и бесы многие спуют. Губы его странно кривились бледною усталостью улыбки.

– Это ты сделал? – спросил Полочанин. Дмитрий быстро глянул на художника и опять опустил голову.

– Разве я так умею? – сказал он угрюмо. Лицо его было бледнее обыкновенного, словно измученное. Темные тени лежали под глазами. Резок был очерк упрямо сжатых губ.

Полочанин хотел сказать ему еще что-то, но устало махнул рукою и ушел в каморку, где стояла его кровать. Он вдруг заметил, что не одет и что ему холодно.

Он натянул на себя одеяло, и озноб пробежал по всему телу. Полусон, полудрема, – тело дрожит, на душе смута и равнодушие. Лежал, пока ледяные кристаллы на стеклах окна не зажглись переливами изумрудов, яхонтов и алмазов.

Когда Полочанин одевался, пришел служка звать его к отцу Игумену.

– Кончил? – спросил игумен. Полочанин отвечал:

– Простите, отец игумен, не удался труд мой. Видно, Богу не угоден.

Игумен посмотрел на него внимательно и спросил:

– Ночью работал?

– Спал, отец игумен, – отвечал Полочанин.

– А мне не спалось ночью, – говорил игумен усталым голосом. – И как ни пойду к окну, так вижу, краснеется огонек в твоём доме. Думаю, – что это он ночью делает?

– Я спал, – повторил Полочанин.

Игумен с удивлением смотрел на художника.

Все пронизательнее становились глаза старика.

– Принеси икону, – наконец сказал он.

Полочанин нерешительно говорил:

– Простите, отец игумен, она не кончена.

Игумен строго сказал:

– Ты, друг мой, делай, что сказано. Если ты спал, то некто за тебя бодрствовал. Вот мы и посмотрим, как помог тебе неведомый посетитель.

Такая уверенность и власть звучали в словах старого игумена, что Полочанин уже не сказал ни слова.

Дома, прежде, чем вставить икону в приготовленную для нее раму, он долго смотрел на лик. Гневны и пламенны были очи Небесной Царицы, и грозю пылали разгневанные уста Пречистой.

«Неужели Дмитрий?» – дивясь, думал художник.

Всматривался. Нежно пылающие ланиты Приснодевы еще хранили алость прежней радости. Но кто же зажег эти багровые огни гнева в очах, когда-то столь благостных?

Когда Полочанин раскрыл икону перед игуменом, старик сурово сдвинул брови, но, – странно, – удивления не было на его лице.

– Разгневана Владычица Небесная, – тихо сказал он.

Спросил:

– А это что?

И показал на алую полосу вверху иконы.

Полочанин отвечал:

– Была надпись: «О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь».

Игумен помолчал. Полочанин сказал тихо:

– Думается мне, что ученик мой Дмитрий этою ночью...

Но игумен не дал ему кончить.

– О ночном сотруди́нике твоём умолчим, – тихо сказал он. – Утаил от премудрых и явил отрокам. Помолчим, друг мой. Икону оставь у меня, – Господь укажет, освятить ее или оставить до времени.

И отпустил Полочанина.

Шли дни. Уже вторая началась неделя. Тихо было в доме художника. Молчал учитель, молчал ученик, оба работали усердно. И уже не было в труде Дмитрия прежней небрежности, и все увереннее подбирал он тона.

– Хорошо, – иногда говорил ему учитель.

Рыжий мальчик молча вскидывал на него глаза, но не улыбки были его губы, и в глазах его таился страх. Но вот однажды утром стукнула в дверь, стала на пороге белолицая, алогубая. Тихо опустилась на колени, свирельным, златозвучным голосом сказала:

– Милый, любимый, прости мою измену.

Полочанин и Дмитрий молча смотрели на нее. Она повторила:

– Прости мою измену.

И приникла лбом к белому, ласковому полу. Тогда Полочанин встал и поднял ее. И ничего не спросил. Она плакала и рассказывала ему горькую повесть измены и обмана. И говорила:

– Опять люблю одного тебя.

В тот же день призвал к себе художника игумен. Сказал ему:

– Друг мой, молился я, чтобы вразумил меня Господь. И знамение дано нам ныне. Сегодня освятил я написанную тобою икону. Благ Господь в милости и праведен во гневе. Заступница наша небесная, и разгневанная, молит за нас Господа нашего, ее Пречистого Сына. Прибегаем к покрову благодати Госпожи нашей, прибегаем и к покрову ее гнева.

Помолчал. Спросил:

– Жена к тебе вернулась?

– Вернулась, отец игумен, – отвечал Полочанин.

– Ты прости ее, – говорил игумен. – Вернись к ней. Иди в мир. Дал тебе Господь великую милость, открыл тебе лик разгневанной Богоматери, а ныне, вернув тебе жену, этим указывает, что иного лика небесного ты уже не напишешь. В миру живи, земные лики изображай, и да благословит тебя Господь.

И в душевном мире вернулся Полочанин в мир, чтобы изображать многообразные лики земные, за которыми сквозь смятение явлений преходящих тайно сквозит единый лик.

Его ученик остался ему верным другом. Но о событиях завершительной ночи никогда не говорили они.

Золотой диск (Доброй зиме о злом лете)

«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человецех благоволение».

(Ев. Луки, 2, 14)

В семье фабриканта Горелова старались проводить лето весело. В знойный воскресный день с утра поехали в лесок на берегу Волги. Выпили, позавтракали. Потом разбрелись. Жена фабриканта с двумя дамами ушли на опушку любоваться видами Заволжья. Дети Горелова, племянницы и гости затеяли игру на прогалине.

Остались на месте Иван Андреевич Горелов, плотный сангвиник, его дочь, молоденькая Милочка, да его младший брат, худощавый, желчный господин лет сорока, корчивший европейца. Братья пили вино. Милочка принесла на блюде ломтики ананаса, посыпанные сахаром. Ананасы были из теплиц Горелова; он ими гордился. Тратил на фруктовый сад и теплицы тысяч пятнадцать в год, зато подавалось всякой сладкой всячины тысяч на пять.

Горелов посмотрел на ананасы, на Милочку и громко захохотал. Милочка покраснела. Горелов говорил:

– Милочка уверяет, что ананасы фабричным принадлежат!

Его брат, Павел Андреевич, пренебрежительно усмехнулся и сказал:

– Ты знаешь, Иван, что я не восторгаюсь твоими оранжерейными затеями. Но все-таки, причем тут фабричные?

– Сад убыток дает, – хохоча, объяснил фабрикант. – Милочка сообразила, что не на десять тысяч в год мы фруктов съедаем. Убыток покрывает фабрика, значит, и ананасы им принадлежат. Так, Милочка?

Милочка улыбалась и молчала. Стали слышны девичьи голоса, пели что-то. Горелов всмотрелся в лесную даль. Сказал насмешливо:

– Легки на помине, три девицы, кажись, из моих фабричных. Милочка, не угостить ли их ананасами? А, что?

– Почему же нет, папочка? – ответила Милочка.

– Ну, что ж, позови их, угости, – смеющимся голосом говорил Горелов и сам закричал. – Эй вы, красавицы, подойдите-ка сюда!

– А зачем? – донесся издали звонкий, веселый девичий голос.

– Подойдете, так узнаете, – кричал Горелов.

Павел Андреевич хмуро ворчал:

– Не понимаю, к чему. Что за балаган!

Из-за деревьев показались три девушки. Одна, с гордой осанкой царицы, впереди, за нею подруги. На них были светленькие юбки и блузки. Загорелые лица были веселы. Ноги ступали легко и свободно, загорелые, запыленные. В руках у каждой было по небольшой корзине. Гордая красавица шла уверенно, спокойно. Ее сияющие бессмертной радостью глаза смотрели прямо на Горелова и на Милочку. Подруги пугливо и любопытно озирались, иногда фыркали от сдержанного смеха или прятались одна за другую. Милочка узнала их. Сказала радостно:

– Вера, здравствуйте. Иглуша, Улитайка, идите сюда!

Влюбчивый Горелов во все глаза смотрел на Веру. Тяжелое вожеление уже начинало томить его. Слегка задышающимся голосом он сказал:

– Ты, королева, подвинься поближе. Как зовут тебя?

Вера подошла уверенными шагами и остановилась перед Гореловым. Ему казалось, что лесной мох теплеет под ее голыми ногами. Вера сказала:

– Я – Вера Карпунина, с вашей фабрики работница.

– Знаю, знаю, – оживленно говорил Горелов. – Твою мать знаю, тебя никогда не видал. Красавица выросла. Надо быть, писариха? На чашках розы малюешь?

– Что придется, – говорила Вера, – цветы, фрукты, пестрых бабочек и пчел, божьих работниц.

Видно было, что работа ей нравилась, она вспоминала ее с удовольствием, и звук ее голоса стал певучим и ласковым. Горелов, беспокойно и суетливо двигаясь,

Повести и рассказы. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru  
ужаленный тайным желанием, говорил:

– Ну что ж, пришли, будьте гостями. Милочка, угощай их ананасами.

Распрашивал девушек, как их зовут. Мудреные имена позабавили его. Павел Андреевич сердито ворчал. Это «кормление зверей» его раздражало. Он согласен был сливаться с народом на национальном празднике в Париже или плясать с дебелию баваркою на октоберфесте в Мюнхене, или обнимать одетую в лохмотья, пахнущую морскою солью и рыбою девушку в сицилийской деревне, – все это было в Европе, и потому для него было покрыто лаком почтения. Но эти босые девчонки казались ему первобытным зверьем. А если бы он знал, какие книги читает Вера и о чем и с кем она разговаривает, то его пренебрежение только осложнилось бы злобою ограниченного рантьеера. Теперь он ждал, как девушки набросятся на лакомство.

Был уверен, что будет грубо и смешно. Конечно, схватят ломти ананаса прямо в лапы и сжуют вместе с чешуйками. Глаза его насмешливо загорелись. Вера заметила его настроение. Багряно покраснела и досадливо сказала:

– Затем-то вы нас сюда и позвали!

А ее простодушные подруги обрадовались. Смущенно подталкивая одна другую, подошли к Милочке. Но Павлу Андреевичу не быложданного развлечения, – девушки не жевали звериным обычаем, а ели как полагается. Горелов смотрел на них и хохотал. Он был уверен, что им больше понравилась бы морковь или репа. Потом он заметил, что Вера отошла в сторону. Спросил, неприятно удивленный:

– Ну а ты, королева, что не подходишь?

Вера спокойно поблагодарила и сказала, что не любит ананасов. Горелову стало не по себе. Он вдруг подумал, что гордая красавица одевается бедно и ест грубую пищу. Он знал, что его рабочие питаются не так, как он, и живут иначе, и это казалось ему естественным. Он раньше не догадывался, что эти люди не так грубы и просты, как ему казалось. Теперь он смутно чувствовал, что в надменной строгости этой босоногой красавицы есть большая правда. Захотелось сбить с нее спесь, что-то доказать ей. Сказал сурово:

– Подойди, краля босоногая.

Вера неторопливо подошла. Прежняя надменность как бы покинула ее. Она улыбалась доверчиво и ласково, и от этого Горелову казалось, что его сердце теплеет. Его голова слегка закружилась. Спросил:

– Что это у тебя в корзине?

Вера показала корзину. Там лежали крупные белые грибы. Горелов сказал:

– Продай. Сколько хочешь?

– Не продаю, – сказала Вера, – для себя сбирала.

Горелов впился в Веру неотступным взглядом. Ощущение вскипающей крови охватило его. Сказал хриплым голосом:

– В моем лесу сбирала, мои грибы.

Вера презрительно усмехнулась. Поставила корзину у ног Горелова. Сказала негромко и спокойно:

– Ваши, так и возьмите.

– За труд заплачу, – смущенно бормотал Горелов.

Протянул ей рубль. Вера покачала головою, сказала:

– Я свой труд дороже ценю. Говорят, золото – хорошие деньги.

Горелов закричал в диком восторге:



– Королева, не работница! Золота захотела! Это я понимаю! Что ты на мое золото купишь? Купи башмаки. А то змея ужалит в пятку, умрешь в одночасье.

– Меня змея не укусит, – говорила Вера дразнящим голосом, – я слово знаю.

Улыбалась, и не понять было, шутит она или сама верит своим словам. Горелов, все более приходя в восторг и влюбляясь, спрашивал:

– Что ж ты – заклинательница змей, что ли?

– Так оно и есть, – спокойно отвечала Вера, – змея меня не тронет.

Павел Андреевич злобно вслушивался. С перекосившимся от бешенства лицом он закричал:

– Она над тобой издевается, а ты ее слушаешь! Гони ее вон!

Милочка наклонилась к нему и что-то оживленно шептала. Он выслушал угрюмо. Поднялся и сказал:

– Ну, я пройдусь немного.

Горелов рылся в кошельке. Хотел дать пятирублевую монету. Но были бумажки и один золотой в десять рублей. Горелов отдал Вере монету и, громко хохоча, говорил:

– Каждый день приноси мне на дом грибы, будешь получать столько же. Но уж коли ты – заклинательница, так смотри, чтобы здесь ни одной змеи не осталось.

– Папа, – сказала Милочка, – у нас в лесу нет змей.

Вера быстро глянула на нее, покраснела, опустила глаза и сказала тихо:

– Змеи везде есть. Около каждой фабрики и каждого жилья, – змеиное гнездо.

– Как же вы их заклинаете, Вера? – спросила Милочка, заметно волнуясь. – Ведь, они все равно жалят. Не пришлось бы вам с этими змеиными гнездами начать войну?

Вера еще больше потупилась и еще тише сказала:

– Война дворцам, мир хижинам.

Горелов вдруг нахмурился и сурово сказал:

– Ну, будет зубы скалить. Девки, поели, да и айда! Прощайте, будьте здоровы.

Девушки торопливо попрощались и ушли. Отойдя немного, они запели любимую на Волге песню:

Из-за острова, на стрежень,  
На простор речной волны,  
Выплывали расписные  
Атамановы челны.

Когда вышли из рощи и высоким берегом приближались к поселку, Вера положила золотой на ладонь и смотрела на него смеющимися глазами. Иглуша и Улитайка смеялись, и в глазах их таилась простодушная зависть. Иглуша спросила:

– Опять ему грибы понесешь?

– Что носить! – сказала Вера, подкидывая золотой на ладони. – Все равно этих денег домой не понесешь. Глеб узнает, голову мне оторвет.

Вера закрыла глаза. Ее милый, как въявь, стал перед нею в темном мире замкнутых глаз, озаренный светом влюбленной памяти, тонкий, высокий рабочий, с острым блеском пронзительных глаз, с насмешливою улыбкою на упрямых губах, с торчащими во все стороны вихрами непослушных волос. «Шершавенький мой!» – шепнула она. На лице ее было умиленное выражение, похожее на молитвенное. Постояла минутку, всматриваясь в милый образ. Голова закружилась. Вера, вдруг, встрепенулась, лицо ее приняло стремительное выражение, глаза стали внешне зоркими и обратились на

Повести и рассказы. Фёдор Сологуб sologubfyodor.ru  
синеющую внизу за узкою полоскою песка Волгу. Вера порывисто схватила золотой диск тремя пальцами правой руки, точно хотела перекреститься золотой иконкой, широко размахнулась и швырнула монету в реку. Иглушка и Улетайка завизжали от ужаса, жалости, зависти и от пламенно опалившего их восторга.

Невеста Иуды

Это – старая история, одна из тех, которые, по меткому выражению Гейне, повторяются вечно. Наибольшею популярностью пользуется самый наивный вариант этой истории, созданный в те далекие времена, когда еще в силе были разные буржуазные предрассудки, и господствовала старая мораль. Предательство считалось предосудительным. Думали, что раскаяние гложет сердце злодея. Вообще, сантименты. И потому рассказывалось, что гражданин Искарриот даже не воспользовался своими тридцатью сребренниками, – бросил их к ногам первосвященников, пошел и удавился. Если речь идет о том самом Иуде Искарриоте, который в наши дни и т. д. (всем понятно, о ком я говорю), то дело было не совсем так. Никакой трагедии!

Деньги пошли на дело, – гражданин Искарриот собирался жениться, а это всегда требует расходов.

Дело было раннею весною. По городу пошли нехорошие слухи. Дошли и до его невесты. Днем в ее гостиной сидели две ее подруги и злословили на счет гражданина Искарриота.

– Вообрази, Маруся, – говорила одна из них, – он взял за это всего только тридцать сребренников!

Всех трех девушек звали Мариями, а в дружеском кругу, для различия, Иудину невесту называли Марусею, а двух других Манею и Машею.

– Какое идиотство! – воскликнула экспансивная Маша. – Как можно так продешевить? Стоило немного поторговаться, и ему дали бы гораздо больше.

Маня осторожно посмотрела на опечаленное лицо Маруси и сказала:

– Прости, Маруся, что мы так говорим о твоём женихе.

– Жених! – с негодованием воскликнула Маруся. – Неужели вы думаете, что я могла бы выйти замуж за такого болвана?

Вошла четвертая девица, нарядная веселая Мери. По ее радостно возбужденному лицу сразу было видно, что она принесла злую новость. Едва успевши поздороваться, она заговорила притворно печально:

– Маруся, я должна приготовить тебя к ужасному известию. С Искарриотом случилось большое несчастье.

Маруся пожала плечами. Сказала:

– Да, я слышала, он говорил, что повесится. Но это – просто бравада с его стороны.

Мери покраснела от досады. Неприятно приносить вести, которым не верят. Надо поскорее сбить спесь с этой холодной гордычки. Она сказала:

– Мне очень жаль, Маруся, что приходится тебя огорчить, но, к сожалению, это – правда. Мне говорили верные люди, которые своими глазами видели, как он качался на осине.

Марусино лицо оставалось холодным и спокойным.

– Вот-то уж нисколько не жаль, – сказала она, – сам виноват, и жалеть таких субъектов не приходится.

Но в это время в прихожей послышался звонок, потом раздался знакомый голос, и к общему удивлению в гостиную вошел сам Искарриот. Со своею обычною развязностью заговорил:

– Ба, знакомые все лица! Целый цветник!

И разные приличные случаю любезности.

А потом прямо хватал быка за рога:

– По городу распускают обо мне самые чудовищные слухи. Кажется, они и до вас дошли. Но, как вы видите, известие о том, что я повесился, пока еще преждевременно.

И он засмеялся так весело и громко, как смеются очень уверенные в себе люди.

Маруся сказала все еще холодно:

– Говорят, что вы возвратили тридцать сребреников.

Гражданин Искарriot громко захохотал.

– Что за вздор! Ничего подобного! – восклицал он среди приступов заразительного смеха.

Смех был заразителен потому, что и девушки начали смеяться.

– Неужели вы думаете, – заговорил Искарriot, немного успокоившись, – что я способен швырнуть такую сумму денег? Право же, я совсем не так глуп!

– Ну, что же это за сумма! – презрительно сказала Маруся. – Жалкие тридцать сребреников!

Искарriot опять засмеялся.

– Тридцать сребреников! – сказал он снисходительно. – Но ведь это же фигуральное выражение. На самом деле речь шла о десятках тысяч. Правда, я кое-что уступил, скинул, как говорится, десять процентов, но ведь вы понимаете, надо же и с ними поделиться. Скинул с общей суммы, а не швырнул все. Вот как пишется история! А я приехал пригласить вас позавтракать в моем новом доме вместе с вашими уважаемыми родителями. И кстати, еще кое о чем поговорить.

Марусины глаза стали очень нежными. Девушки догадались, что сейчас они лишние. Попрощались, ушли. Ну, а там уж пошли дела семейные.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://sologubfyodor.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!